ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

И. Муравьева

АНДЕРСЕН

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Книга посвящена жизни и творчеству известного датского писателя Ганса-Христиана Андерсена. Основой для данной книги послужили дневники и письма Андерсена, работы русских и датских исследователей и собственные изыскания И. Муравьевой.

- И. МУРАВЬЕВА
  -
  - ГЛАВА I
  - ГЛАВА II
  - ГЛАВА III
  - ГЛАВА IV
  - ГЛАВА V
  - ГЛАВА VI
  - ГЛАВА VII
  - ГЛАВА VIII
  - ГЛАВА IX
  - ПОСЛЕСЛОВИЕ
  - ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА АНДЕРСЕНА
  - КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
  - Иллюстрации

И. МУРАВЬЕВА
АНДЕРСЕН

Все мы читали историю маленькой Дюймовочки, гадкого утенка, смеялись над голым королем, спесиво выступающим по улицам в своем несуществующем наряде, гордой штопальной иглой, хвастливым щеголем-воротничком.

Вот уже сто лет, как сказки Андерсена странствуют по миру, не теряя своей остроты, свежести и обаяния.

Но далеко не все знают интересную историю их автора, которую он сам называл «сказка моей жизни». В этой сказке было немало горьких страниц. Книга И. И. Муравьевой рассказывает о том, как сын полунищего сапожника и прачки с невероятным трудом пробивал себе дорогу и завоевывал признание, а став знаменитым писателем, никогда не забывал о жизни чердаков и подвалов, обитатели которых стали положительными героями его сказок.

Письма и дневники Андерсена, его сказки и романы, в которых много автобиографических черт, труды датских исследователей о его жизни помогли автору этой книги увидеть образ знаменитого сказочника. И перед нами рисуется человек чуткий, правдивый и впечатлительный, страстно влюбленный в природу, в поэзию. Он борется за простоту и жизненность в искусстве, он мечтает о счастье для всех людей. Иногда ему случается унывать, путаться в противоречиях, но горячая любовь к жизни, к людям помогает ему пережить тяжелые минуты, снова и снова отдаваться творчеству.

ГЛАВА I
В ХВОСТЕ КРОВАВОЙ КОМЕТЫ

По вечернему небу раскинула свой пышный хвост комета. Звезды бледнели в ее красноватом свете. В городах и деревнях, на борту кораблей и на проселочных дорогах собирались кучки взволнованных людей и смотрели на небесную гостью, считавшуюся вестницей бед.

Это было в 1811 году.

Волны наполеоновских войн захлестывали Европу, и кровавая слава «маленького капрала» Бонапарта словно воплотилась в зловещем сиянии кометы.

Тяжелое бремя императорских побед нес народ Франции и покоренных ею стран. Огромная армия пожирала деньги и провизию, требовала все нового оружия, еще и еще солдат. Крестьяне и ремесленники отрывались от работы, от родного дома, их одевали в мундиры и отправляли сражаться и умирать за честолюбивые планы императора Наполеона.

Маленькая Дания тщетно старалась сохранить нейтралитет. Уже с 1801 года война подступала к ней.

В отдаленных покоях одного из копенгагенских дворцов доживал свой век старый король Кристиан VII. Он давным-давно сошел с ума, но считалось, что раз уж человек родился королем, то королем и умрет, а если думать иначе, то это ведет к

беспорядку. Фактически же страной правил наследный принц Фредерик. Он был упрям и ограничен, не обладал ни политическими, ни военными талантами. При этом ему была присуща глубокая уверенность, что звание принца куда важнее такой случайной вещи, как ум. «Мы одни знаем, что нужно для блага страны», — говорил он и принимал важные решения, не советуясь с подданными: монархи не могут ошибаться. А обстановка в Европе усложнялась с каждым годом, и чтобы успешно лавировать между двумя могущественными противниками — Наполеоном и Англией, — одной самоуверенности было явно недостаточно.

30 марта 1801 года английская эскадра вошла в Зунд, угрожая Копенгагену: Англия требовала, чтобы Дания разорвала договор о нейтралитете с Россией, Швецией и Пруссией. Русский флот был связан льдами, шведский тоже не мог прийти на помощь, а невооруженные датские корабли, стоявшие на рейде, защищала линия понтонов с пятью тысячами войска и шестьюстами пушками. Понтоны были атакованы тридцатью английскими кораблями. Командовавший ими Нельсон располагал девятью тысячами человек и собирался выиграть битву в течение часа. Но это ему не удалось. Через пять часов часть понтонов была взята, но оставшиеся продолжали отчаянно сопротивляться, и от их меткой стрельбы жестоко пострадали многие корабли англичан. Тогда Нельсон решился на крайние меры: он сообщил принцу Фредерику, что прикажет сжечь понтоны вместе с их защитниками, если датчане не сдадутся. Фредерик счел за лучшее прекратить сражение. Огромная толпа копенгагенцев на берегу с тревогой следила за происходившим. И, несмотря на формальное поражение, битва была воспринята народом как моральная победа, как пример доблестной стойкости и героизма. Датчане долго помнили, как медленно отходили потрепанные английские корабли, потерявшие свой гордый вид.

К 1807 году на южной границе Дании начали скопляться войска Наполеона. С моря угрожала Англия. Фредерик чувствовал, что придется в конце концов примкнуть к одной из воюющих сторон, но все не решался сделать выбор. Из колебания его вывел английский министр Каннинг. Зная, что Наполеон собирается силой превратить Данию в свою союзницу, он решил опередить противника и вырвать из его рук главный козырь — датский флот. Пренебрегши уверениями датского посла, что Дания в случае необходимости примкнет к Англии, Каннинг снова послал в Зунд английскую эскадру. 16 августа 1807 года она остановилась в двадцати километрах от Копенгагена. На этот раз было предъявлено требование отдать Англии датский

военный флот.

Чтобы оправдать нападение на нейтральную страну, Каннинг утверждал, что всего лишь принимает необходимые меры защиты: если датский флот достанется Наполеону, его пушки будут повернуты против англичан. В утешение Дании предлагались некоторые колонии.

— Чем вы можете вознаградить нас за утрату нашей чести! — в отчаянии воскликнул Фредерик в ответ на это. Но какое дело было Каннингу до чести датчан? Если согласие не дается добром, его получают силой, решил он. И английские корабли высадили на сушу тридцатитысячное войско. Дания же располагала всего шестью тысячами солдат. Правда, к ним присоединилось тринадцать тысяч резерва и добровольцев. Но принц Фредерик умел блистать только на военных парадах. Необходимые для защиты страны меры не были приняты: укрепления Копенгагена находились в плачевном состоянии, оружия не хватало.

— Ступайте в старые церкви, — сказал Фредерик добровольцам, — и поищите там алебарды, копья и шпаги, которые с честью служили нашим предкам.

Алебарды не помогли: сопротивление датских войск было быстро сломлено. Копенгаген оказался в огненном кольце. Со 2 по 7 сентября город подвергался жестокой бомбардировке. Рушились древние башни, горели дома, гибли люди. На шестой день Фредерик согласился на требования Англии. Теперь он возложил надежды на союз с Наполеоном. «Если император захочет, он вернет нам флот!» — говорили вслед за принцем многие датчане. Из рук в руки переходил рисунок, изображавший отвратительное морское чудовище, выплевывавшее датские корабли под натиском боевого петуха — древнего символа Франции.

Но Наполеон заключил союз с Данией вовсе не для того, чтобы заботиться об ее интересах.

Ему нужно было пушечное мясо — и по всей Дании прошли рекрутские наборы. Датский рынок должен был служить для сбыта изделий французской промышленности. А если все это невыгодно датчанам — тем хуже для них.

С детства любимым занятием Фредерика была игра в солдатики. Гордо хмуря белесые брови и вздергивая длинный подбородок, он объезжал на белом коне застывшие ряды новобранцев. Смотры следовали один за другим. А положение в стране ухудшалось с каждым днем. Англичане захватывали датские торговые корабли в портах и на море. Прервано было сообщение с Норвегией, входившей тогда в Датское государство. Гибла цветущая торговля — главный источник доходов страны.

Старые почтенные фирмы разорялись, лавки пустовали, деньги обесценивались. Толпы нищих бродили по стране. Только военные спекулянты наживались на общей беде. Кровавая комета войны летела вперед, а за ней хвостом тянулись разорение и нужда, страдания и смерть.

Между островом Зеландия, где находится Копенгаген, и изогнувшимся, как утиная шея, полуостровом Ютландия лежит зеленый остров Фюн. Если причалить к его берегам возле Нюборга и отправиться на северо-восток через буковые леса и поля цветущего клевера, можно вскоре увидеть на горизонте высокий шпиль. Это церковь Св. Кнуда, возвышающаяся на холме главного города Фюна — Оденсе.

В 1811 году в Оденсе было около семи тысяч жителей. На Восточной и Западной улицах, в центре города, живописно располагались старинные особняки с тяжелыми резными дверями и широкими лестницами, украшенными каменными статуями. Здесь проводили зиму фюнские аристократы, на лето уезжавшие в свои усадьбы со столетними парками и прудами, где плавали важные тихие лебеди. Здесь же селились крупные чиновники Фюна и разбогатевшие купцы. Война почти не коснулась этих уютных кварталов, утопающих в зелени садов. Разве что офицерские мундиры чаще мелькали на улицах.

Большинство населения Оденсе ютилось в ветхих домиках окраин. Это были ремесленники и поденщики: портные и сапожники, штукатуры и землекопы, прачки и пряхи. На окраинах царила нужда. В богадельне при госпитале Серых братьев не хватало мест для нищих и больных стариков. Многие родители, отчаявшись свести концы с концами, отправляли своих детей просить милостыню. Многочисленные записи протоколов магистрата сухо повествовали об исковерканных человеческих судьбах, о маленьких бродягах, охотящихся за куском хлеба. Никакие комиссии помощи беднякам не могли справиться с растущим числом нуждающихся. Немало гостей повидала в эти годы оденсейская тюрьма, мрачное, похожее на тяжелый ящик здание у городских ворот. Каждый день приносил жителям окраин новые заботы.

— Все эта проклятая война! — говорили они со вздохом. — А тут еще комета появилась…

Мартовским вечером 1811 года целая толпа женщин собралась возле массивных стен церкви Св. Кнуда посмотреть на хвостатую звезду и обсудить ее появление. Все сходились на том, что добра от нее ждать не приходится.

— Знахарка Метта из Эйбю сказала, что конец мира недалек! — поделилась с соседками своими сведениями жена

сапожника Андерсена Мария, немолодая, но крепкая женщина с блестящими темными глазами. — Бог, значит, разгневался на нас, вот и послал комету.

Прижавшийся к Марии худенький мальчик лет шести жадно слушал разговоры взрослых, со страхом поглядывая на небо: а вдруг вот сейчас комета упадет и с грохотом разобьется?

— Господи, ведь она только ударит своим хвостом — и конец! — ахали женщины. — Ведь хвост у нее не меньше как миль тридцать в длину будет!

— Да неужто так много? Я думала, мили три, не больше.

— Ну да! Она же далеко, а хвост вон какой огромный.

— И не тридцать и не три, а много миллионов миль, — вступил в разговор подошедший сапожник Андерсен.

К его сообщению многие отнеслись недоверчиво: этот Андерсен вечно что-нибудь такое выдумает! Всего-то-навсего холодный сапожник, а воображает себя умнее всех. Слыханное ли дело — миллионы, когда до Копенгагена только тридцать две мили!

— Ну, как там ни считай, а одно ясно: беда нам будет от этой кометы! — вздохнула соседка Андерсенов тетка Катрина.

— И не говорите! Всюду ведь недобрые приметы, — поддержала ее Мария. — Вот у нас недавно свеча горела-горела, да и согнулась прямо в сторону малыша… Прямо не знаю уж, чего теперь ждать.

Соседки качали головами: да, это уж хуже некуда. Значит, мальчик не жилец на свете.

— А ведь какой мальчик-то! Лучше его и не сыщешь! — продолжала Мария, напав на свою любимую тему. — Тихий, послушный, никаких с ним забот. Сидит себе, играет с веточками и листьями да шепчет что-то про себя. А уж до чего умен — это просто удивительно. Недавно взяли его в театр: хоть и мал, а все же ему радость! Ну, вошел он в зал, огляделся и говорит: вот если бы у нас было столько бочонков масла, сколько здесь людей, то-то бы я наелся! Это ж и взрослый такого не придумает… Я не хочу его хвалить при нем — это ему вредно, но только что правда, то правда. Ханс Кристиан — необыкновенный ребенок. Конечно, красотой он не вышел, но для мальчиков это и не важно.

И Мария ласково погладила своего любимца по длинным светлым волосам.

— Будет тебе, Мария, — остановил ее муж. — Всякой матери ее сын кажется лучшим… А что до кометы, так зря вы себе голову забиваете всякими страхами. Ничего плохого от нее не будет, пролетит мимо нас своей дорогой и скроется. Это ученые люди говорят, а не какие-нибудь старухи.

— Тебе, Ханс, только бы смеяться над всем, что другие говорят! — возмутилась Мария. — Дьявола ты тешишь своими разговорами, не к ночи он будь помянут.

— А может, он и дьявола не боится? — насмешливо предположила тетка Катрина.

— Зачем же я стану его бояться? — спокойно возразил сапожник. — Ведь зло есть только в сердцах людей, а дьявол — это пустые выдумки.

— Замолчи! Замолчи сейчас же!

Мария в ужасе сорвала с плеч шаль и набросила ее на голову сына, чтоб он не слушал этих кощунственных рассуждений.

— Погубишь ты нас всех! С дьяволом шутки плохи — рассердится да утащит к себе…

Под платком было душно, темно и страшно. Мальчик заплакал.

— Ну вот, довел ребенка до слез… Ничего, сыночек, отец просто пошутил, не бойся! — успокаивала его Мария, освобождая от платка.

— Пойдем-ка домой, малыш! — сказал сапожник. — Я тебе там новую игрушку смастерил.

Слезы сразу высохли, некрасивое лицо мальчика просияло и похорошело от улыбки.

Ухватив за руки отца и мать, Ханс Кристиан поспешил домой, на время забыв о хвостатой звезде и кознях дьявола.

Ханс Андерсен был плохим сапожником: душа у него не лежала к этому ремеслу. Его пальцы, так ловко мастерившие затейливые игрушки, точно наливались свинцом, когда им приходилось браться за шило и сапожный молоток.

В детстве он мечтал учиться, но средств не было. А его отец, сапожник Андерс, в довершение всех бед сошел с ума, когда мальчику еще не было десяти лет. Мать со вздохом отдала Ханса в ученики к знакомому мастеру. Она была тщеславна, любила утешаться сочиненными ею небылицами о былом богатстве и даже знатности их семьи и мечтала, что хоть сын ее выбьется в люди. Но для этого нужно было столько денег! А их еле хватало на хлеб. Так и остался Ханс Андерсен прикованным к сапожному верстаку. Сапожный цех не дал ему звания мастера, и в основном он пробавлялся мелкой починкой. С утра до ночи он гнул спину над рваными подметками, ловя скудный свет, падавший из маленького окошка. Чтобы было светлее, рядом стоял стеклянный шар с водой. И часто работа выпадала из рук сапожника. Он мечтал, и в светящейся стеклянной глуби возникали картины одна другой ярче и заманчивее. Вот он на борту большого

корабля. Впереди далекие южные страны, о которых ему приходилось читать. Высокие пальмы, песок, медленно шагающие верблюды проплывали перед ним. А вот шумные улицы большого города, где он никогда не бывал, и просторные светлые классы латинской школы, в которой ему не пришлось учиться…

Как-то к нему забежал гимназист с порванным сапогом. Пока шла починка, они разговорились, мальчик показал свои учебники, похвастался, что может даже по-латыни читать без запинки.

После его ухода Андерсен долго беспокойно бродил по комнате. Несколько раз он брал в руки очередную работу, но тут же раздраженно бросал ее обратно на верстак.

— Слушай, Ханс Кристиан, — сказал он подошедшему сыну, — когда ты вырастешь, будь упорным и настойчивым, не бойся нужды, отказывай себе во всем, но добейся одного: учись! Хоть бы тебе удалось пойти по этой дороге, раз уж у меня так не получилось…

— А что от этого бывает, когда человек учится? — спросил с интересом Ханс Кристиан.

— О, тогда человек может зажить счастливо! — уверенно ответил отец. — Ты подумай: ученые люди хорошо зарабатывают. Значит, можно покупать сколько хочешь интересных книг, каждый вечер ходить в театр, а потом отправиться в далекое путешествие, повидать чужие края…

— Ну и нечего забивать голову ребенку! — вмешалась подошедшая Мария. — Будто уж без учения нельзя хорошо прожить! Займется каким-нибудь ремеслом, будет сыт, одет — чего же ему еще? Он и то растет у нас прямо как графский сынок — ведь я его никогда не одену во что-нибудь рваное или грязное да и умыть хорошенько не позабуду. И в комнате всегда чисто и прибрано. А чистота — лучшая красота! Голодать ему тоже еще не приходилось. Разве я в его возрасте так жила? Меня отчим зимой выгонял на улицу просить милостыню в рваной шали да в старых деревянных башмаках. А не принесешь ничего, так побьет. Уж сколько раз я вечером сидела под мостом и плакала: страшно было идти домой с пустыми руками, а просить у людей — до смерти стыдно, да еще не всякий и даст…

— Все это верно, Мария, — задумчиво возразил сапожник, — но ведь мало человеку только быть сытым и одетым, душа тоже своего просит!

— Ну и этого тебе за глаза хватает! — решительно отрезала Мария. — Будто ты мало времени проводишь за своими книгами? Я ничего не говорю — зимним вечером приятно послушать, когда ты нам читаешь вслух что-нибудь занятное. Но когда ты сидишь один-одинехонек с книгой и громко смеешься, так мне просто

страшно делается. Если это и есть пища для души, так ведь от такой пищи и свихнуться недолго! Нет, что уж нам жаловаться: живем не хуже людей, и слава богу!

Сапожник пожал плечами и молча взялся за молоток. Как все-таки по-разному устроены люди! — думал он. Вот Мария считает, что лучшей жизни и желать нечего. А ведь ей приходится целыми днями стоять по колено в холодной воде и стирать чужое белье, вечера она проводит за штопкой и починкой. За всю жизнь ей удалось сшить одно-единственное платье, которое считается нарядным: коричневое ситцевое с мелкими цветочками. Оно хранится в сундуке и надевается по праздникам. Голова у нее забита приметами и гаданьями: стоит лишний раз каркнуть ворону или завыть собаке — страху не оберешься… И все это она считает счастьем. Впрочем, и пастор говорит в том же роде: смиренным и терпеливым беднякам откроется царствие небесное… А что, если он, Ханс Андерсен, хочет получить свое здесь, на земле? Ведь он чувствует, что годится на большее, чем чинить рваные сапоги!

Неужели жизнь кончена в двадцать девять лет?

Андерсены жили на самой окраине Оденсе, возле реки. Неподалеку шумели колеса водяной мельницы, когда-то принадлежавшей монастырю, поэтому улицу так и называли: улица Монастырской мельницы. В маленьком домике ютилось шесть семейств. Сапожник с семьей занимал небольшую комнату, служившую и спальней, и столовой, и мастерской. Стараниями неутомимой Марии пол всегда был до блеска вымыт, а на окнах топорщились накрахмаленные занавески. Для пущей красоты она расставляла на высоком сундуке ярко разрисованные чашки и блюдца, которые Ханс Кристиан не уставал с восторгом разглядывать. Сапожник украсил комнату по-своему: над верстаком висела книжная полка с томиками сказок «Тысячи и одной ночи» и комедий знаменитого датского драматурга Гольберга, с песенником и двумя-тремя растрепанными, зачитанными чувствительными романами, — их любила Мария, а Хансу Кристиану больше всего нравились сказки. Наслушавшись отцовского чтения, он видел во сне чернооких красавиц, загадочно улыбавшихся из-под покрывала, страшных джиннов, роскошные сады с невиданными цветами.

— Если б у нас был хоть крохотный садик, мама, как бы это было чудесно! — вздыхал он, рассказывая матери эти сны.

— У нас же есть садик! — утешила его Мария. — Разве ты забыл про ящик с зеленью за чердачным окном? Правда, там растет только петрушка и лук, но я уж найду местечко и посажу

для тебя цветочков поярче. Конечно, жили бы мы в деревне, там бы и розы можно было развести… Ты ведь помнишь, как мы чуть не поселились в графском имении? Что уж говорить о цветах — там бы у нас и корова была своя, молока и масла вдоволь. Да что ж поделаешь, видно, не судьба…

Мария вспоминала о том единственном случае, когда счастье, казалось, решило повернуться к неудачливому сапожнику. Летом 1810 года в оденсейской газете появилось объявление: граф Алефельт Лаурвиг ищет степенного, аккуратного и непьющего мастера, который мог бы шить обувь всей графской челяди и даже графской семье. Условия были заманчивые: кроме жалованья, сапожник получал домик на опушке графского леса, участок для огорода и лужок для скота.

Андерсен как за соломинку ухватился за эту возможность: он любил далекие прогулки, когда вокруг только небо и деревья, никто не докучает и можно спокойно помечтать, о чем хочешь. Живя в Оденсе, он мог отправляться в лес только по воскресеньям, да и то не всегда. Пусть же хоть что-нибудь в его жизни переменится к лучшему! Он немедленно отправился на Западную улицу, в графский особняк, и принес оттуда какой-то сверток.

— Это пробная работа: надо сшить бальные башмачки для самой графини! — объяснил он жене и сыну, осторожно разворачивая плотный блестящий кусок синего шелка. — Смотри, малыш, не возьмись за него грязными руками, беда будет. В этом кусочке сидит наш домик в деревне, и земляника в лесу, и кукушка!

— Мама, это правда? — спросил восхищенный Ханс Кристиан.

— Правда, сыночек. Ты уж не мешай отцу работать, сиди тихонько да смотри.

Три дня Ханс Кристиан затаив дыхание следил, как отец осторожными движениями превращает кусок шелка в крохотные изящные башмачки, точно такие, какие должны быть у сказочной принцессы. Он нисколько не сомневался, что они понравятся какой хочешь графине, тем более она вовсе и не из сказки, а настоящая, с Западной улицы. Мария тоже верила в успех.

— И башмачки на славу, и подметки лучше не надо! — сказала она. — Недаром на кожу все наши деньги ушли. Да уж тут, конечно, нельзя иначе: графиня, не кто-нибудь. С богом, Ханс!

Она завернула башмачки в чистый носовой платок, поцеловала мужа и уселась на крылечке ожидать его возвращения. Ханс Кристиан пристроился возле нее. Около часа

они провели за оживленным обсуждением планов деревенской жизни. Но, увидев бледное сумрачное лицо Андерсена с красными пятнами на щеках, оба поняли: ни домика, ни коровы, ни кукушки не будет.

Избалованная работой лучших копенгагенских мастеров, графиня не стала даже примерять изделие оденсейского сапожника. Еле взглянув на поднесенные ей башмачки, она процедила:

— Никуда не годится! Вы, любезный, лучше бы и не брались — только испортили зря мой шелк, а ведь он не из дешевых!

Кроткий сапожник вспыхнул от презрительного тона знатной дамы.

— Ну что ж, — сказал он, сдерживаясь, — если я загубил ваш шелк, то пусть пропадают и мои подметки — они тоже не из дешевых. Это будет справедливо!

И двумя взмахами острого сапожного ножа он разрезал на куски злополучные башмачки, в которые было вложено столько стараний и надежд.

Затем он молча повернулся и вышел, оставив графиню возмущаться дерзостью «этого мужлана».

Так и кончились мечты о деревне.

Мария по своему обыкновению нашла и в этом хорошую сторону.

— Не расстраивайся, Ханс, — сказала она, — всем известно, какие эти богачи капризные, на них не угодишь. Вот и у меня так: иная барыня начнет придираться и к тому и к этому, а на самом-то деле белье как снег. И если б тебя взяли к графу, с каждым заказом было бы такое мученье. Ну их с их домиком, себе дороже! У нас и здесь хорошо, правда, сынок?

— Конечно, хорошо! — убежденно подтвердил Ханс Кристиан, считавший их комнату образцом комфорта и уюта. И, подумав, добавил: — А потом, когда я вырасту, я построю целый замок, и сад будет вокруг, как у советника Фальбе. И мы все будем там жить.

Мария, смеясь, обняла мальчика.

— Вот и ладно, сыночек.

И даже отец бледно улыбнулся.

— Да, видно, придется мне ждать твоего замка, малыш. Больше пока ничего не остается…

Прилетели аисты и принялись за поправку и отделку своих прошлогодних гнезд. Куст крыжовника во дворе покрылся крохотными сморщенными листочками. Не было сомнений, что в лесу уже полно нарядных белых ветрениц и желтых баранчиков, и

в ближайшее воскресенье Ханс Кристиан с отцом отправились в лес.

Мальчик прыгал и скакал, убегал вперед, радуясь каждой встречной бабочке, потом вдруг вспоминал-, что ему недавно — 2 апреля — исполнилось целых шесть лет, и некоторое время чинно шел рядом с отцом, засыпая его градом вопросов.

Оторвавшись от своих мыслей, тот отвечал ему как мог. На каком языке разговаривают аисты? Надо думать, что на египетском. Зиму они проводят в жарких странах, возле пирамид, там они и научились говорить по-египетски. Далеко ли туда лететь? Ужас как далеко! Целое море надо пересечь не отдыхая. Вот почему осенью аисты устраивают смотр на большом лугу у болота: надо проверить, достаточно ли птенцы упражняли крылья за лето, чтобы выдержать такой перелет. И если какой аист окажется слабым или больным, вожак убивает его своим крепким острым клювом.

— Ой, как это нехорошо! — возмутился Ханс Кристиан. — Лучше бы эти бедные аисты пришли к нам и прожили бы зиму у нас на чердаке, а я бы делился с ними едой.

— Вот вырастешь, научись говорить по-египетски и пригласи их к себе, — улыбнулся отец.

Они поднялись по вьющейся тропинке на вершину холма и остановились, чтобы взглянуть назад.

— Здесь когда-то был замок короля Одина, — сообщил отец. — Как-то раз королева выглянула утром в окно и увидела вдали крыши домов, которых раньше не было. Она крикнула: «Один, смотри!» Так и пошло название нашего города Оденсе.

— Это было в доброе старое время, да, отец? Когда мы с бабушкой смотрим на цеховые процессии со знаменами и на быка, которого водят под Новый год, она всегда вздыхает и говорит: а в доброе старое время все было еще лучше.

Отец нахмурился, собираясь с мыслями. Прямо говорить, что бабушка не права, он не хотел. Старушке нелегко живется, вот она и утешает себя мыслью, что когда-то давно было лучше. Но о «добром старом времени» у сапожника было свое мнение.

— А вот ты послушай, что я расскажу, — медленно начал он. — В это самое «доброе время» в тех местах, где я родился, жил один знатный господин — барон Эйлер из Сёнегора. Ему принадлежали и лес, и поле, и аисты, и вороны. Это бы еще ладно, но беда в том, что и все жившие там крестьяне тоже ему принадлежали. Они на него работали, а он тратил полученные денежки. Был у него конь, черный как уголь, и свора собак, вот он и носился по окрестностям Сёнегора, охотился за дичью. Конечно, если придется проехать по крестьянскому полю, сворачивать он

не станет. А вот если кто из крестьян попадется ему на дороге и не успеет отбежать в сторону, сразу достанет хлыстом: по рукам, по лицу — по чему попало. Раз он так избил маленькую пастушку, что она упала замертво, еле-еле отходили ее потом… Зато уж собак он любил, ничего не скажешь! Когда заболела его любимая гончая, он приказал псаря посадить на деревянную кобылу за недосмотр. Что это за кобыла? А это такая штука, у многих помещиков во дворе она стояла. Если кто провинится, его сажают на седло — узенькую дощечку, а к ногам привязывают тяжелые камни, а то еще, чего доброго, будет ему слишком удобно сидеть. Потом, через несколько часов, снимут человека, а он и ступить не может. Многие оставались хромыми на всю жизнь… Так вот, барон Эйлер из Сёнегора не давал своей кобыле скучать без дела. А жена его — та была вроде подобрей, но только она не вмешивалась ни во что, да он бы ее и не послушал… Вот тебе и доброе старое время!

До конца прогулки Ханс Кристиан шел молча, стараясь как-то соединить рассказы бабушки с услышанным от отца. Но все-таки ореол далеких прошлых времен сильно померк в его глазах.

Лето миновало, аисты улетели за море к пирамидам, а в опустевших полях завывала метель.

В эту зиму Ханс Кристиан меньше бывал с отцом: он ходил в школу. Она помещалась рядом, напротив мельницы, и попасть в класс было для него делом одной минуты. Даже руки не успевали озябнуть.

Когда мать привела его сюда в первый раз, он порядком трусил, потому что уже знал, что не всегда в школе бывает хорошо. Этот печальный опыт он приобрел, посещая маленькую частную школу для девочек, где старая вдова перчаточника с помощью прута учила читать по складам. Мария потребовала, чтобы она не била Ханса Кристиана, и некоторое время старуха крепилась. Но однажды, когда духота и гуденье голосов отвлекли мальчика от букваря, он сначала начал думать, на кого похожа старуха, и решил, что, пожалуй, на треску в чепце. Это прошло ему безнаказанно: не могла же она знать, о чем он думает! Но вот когда он задремал, она это сразу узнала, будто почувствовала, хотя сама спала, даже похрапывала за минуту перед тем. Она подкралась к нему с розгой — и вдруг его точно ожгло. Он вскочил, хлопая глазами спросонья. Вид у него, наверно, был смешной, потому что девочки робко захихикали. Но ему было не до того: ведь его ударили в первый раз в жизни (ну, отдельные шлепки от матери, конечно, не шли в счет)! Сжав губы, чтоб не заплакать, не унизиться перед старухой, он взял свой букварь и

грифельную доску и вышел из комнаты. Только дома он дал волю слезам, и Мария, утешая его, обещала, что он больше не пойдет в эту школу.

— Думала я, что лучше тебе с девочками учиться, ведь ты такой смирный! — сказала она. — Но выходит, что надо отвести тебя к господину Карстенсу. В городской школе для бедных сейчас мест нет.

Вспоминая злую старуху, Ханс Кристиан со страхом ждал знакомства с новым учителем. Но Карстенс оказался совсем еще молодым человеком с веселыми карими глазами и белозубой улыбкой. Он сразу взял новичка под свое покровительство: Ханс Кристиан был самым младшим среди мальчиков, учившихся в этой школе. На перемене Карстенс брал его за руку и гулял с ним по школьному двору, с интересом слушая оживленную болтовню мальчика. Вокруг с криками носились другие ученики: они предпочитали разговорам шумные игры.

— Тише, сорванцы, затолкаете малыша! — покрикивал иногда на них Карстенс, и они послушно разбегались. Карстенса любили и считали справедливым, поэтому положение его любимца не причиняло Хансу Кристиану неприятностей. Но все же пребывание в школе не обошлось для него без огорчений. Их принесла ему черноглазая Сара Хейман — единственная девочка в школе. Она была очень прилежна, хорошо считала, и на уроках арифметики Карстенс обычно ставил ее в пример. Это вызывало к ней уважение. Но, кроме того, Ханс Кристиан считал ее сказочной красавицей. Он старался отличиться перед Сарой на уроках чтения: здесь он больше всех знал, лучше всех умел читать стихи. Карстенс только диву давался, видя, как малыш все запоминает на лету. Другие мальчики ему завидовали. Но Сара осталась равнодушной. Однажды, когда они возвращались домой (он, конечно, давно прошел свой дом, но помалкивал об этом), она сказала, что считает стихи пустяками.

— Как, но ведь это же красиво! — робко возразил Ханс Кристиан.

Сара тряхнула кудрявой головкой.

— Вот еще! Разве нам, беднякам, есть время думать о красоте? Нам надо учиться тому, что полезно! — рассудительно сказала она. — Вот, например, арифметика. Если я буду очень хорошо считать, я смогу когда-нибудь стать экономкой на богатой ферме.

— Но это так скучно! — удивился мальчик, полагавший, что Сара должна стать по меньшей мере герцогиней, если уж не принцессой.

— Ну, а на что же больше может надеяться бедная девушка?

Тут Ханс Кристиан не выдержал.

— Ты можешь надеяться, что я тебя увезу в свой замок, когда вырасту! — великодушно пообещал он.

Сара широко раскрыла свои огромные черные глаза.

— Ты с ума сошел! Какой такой замок?

— Ну, очень просто, когда я вырасту, у меня будет замок. А почему бы и нет?

— Ох, какой ты глупый! — рассмеялась Сара. — Да потому, что ты сын сапожника, а замки бывают только у важных господ, у графов там каких-нибудь, например.

— А может, и я окажусь сыном графа? — смело предположил Ханс Кристиан, чтобы спасти положение.

— Что?!

— Да, да, это бывает, мне бабушка рассказывала! Их подкидывают — знатных детей, — и они вырастают в бедной семье, а потом родители их находят. Вдруг это и со мной будет? Вот тогда у меня и окажется чудесный замок. Ну, или еще каким-нибудь образом, не все ли равно! Вокруг будут расти розы и бузина, а я поеду тебя искать по белу свету в золотой карете и привезу к себе.

Но, вместо того чтобы обрадоваться, Сара посмотрела на него с каким-то странным выражением, а потом простилась и убежала.

На другой день, едва только Ханс Кристиан вбежал в школу, его больно дернул за волосы Оле из Виссенберга, сын мельника.

— Так ты, оказывается, графский сын? — закричал он. — Вот не знали! Добрый день, ваше сиятельство! Где же ваш прекрасный замок? — И он сделал Хансу Кристиану ужасную гримасу. Вокруг все захохотали. Огорченный Ханс Кристиан искал глазами Сару. Она смеялась вместе с другими, а встретив взгляд несчастного претендента на графский титул, передернула плечами и громко сказала своему соседу:

— Ясное дело, у него в голове не все в порядке. Наверно, и он будет сумасшедшим, как его дед.

Ханс Кристиан похолодел от ужаса, услышав эти слова. Он боялся своего деда и, завидев его худую долговязую фигуру, всегда старался убежать подальше. Правда, обычно старик вел себя очень тихо. Он сидел около огромной пузатой печки в своем крохотном домике и вырезал из дерева причудливые фигурки — зверей с крыльями, людей с птичьими головами. Набив ими полную корзину, он отправлялся бродить по окрестным деревням и раздавал фигурки ребятишкам, а крестьянки, жалея безобидного старика, совали ему в корзину лепешки и яйца. Но иногда на него находили приступы буйного веселья. Он украшал цветами и пестрыми тряпочками свою продавленную шляпу и

истрепанный сюртук и, громко распевая что-то бессвязное, бежал по улицам Оденсе.

— Сумасшедший Андерс идет! — вопили мальчишки и бросали ему вслед комья грязи и камни.

И вот черноглазая Сара предсказала такую же страшную судьбу его внуку только за то, что он хотел подарить ей свой сказочный замок! Любовь Ханса Кристиана не выдержала этого жестокого испытания. Он пересел подальше от Сары и старался не смотреть на нее во время уроков. Сначала это было ужасно трудно, потом легче. А потом и Сара ему помогла: она уехала куда-то к родным, и больше он ее никогда не видел.

В мечтах Ханс Кристиан переделал и исправил всю эту историю: он спасал Сару из огня, и она благодарила его, жалея, что раньше смеялась над ним. Потом они играли в чудесном саду, рвали самые лучшие цветы и, сидя в беседке, рассматривали книги с красивыми картинками. Потом сама Сара оказывалась графской дочерью, и они уезжали вместе в далекие края.

Все это было очень утешительно. А с Оле из Виссенберга отношения наладились даже не в мечтах, а на самом деле.

Карстенс никогда не бил учеников. Но если кто-нибудь баловался, он применял очень действенную меру: озорник должен был стоять на столе лицом к классу. Самые стойкие через несколько минут сдавались под тяжестью позора. Попал однажды на стол и Оле. Постояв немного, он засопел и зашмыгал носом, бросая отчаянные взгляды на учителя. Но Карстенс не обращал на него внимания. Хансу Кристиану так живо представился весь ужас положения Оле, что он расплакался еще раньше, чем наказанный, и стал упрашивать Карстенса простить его и отпустить на место.

— Ладно уж, слезай, — сказал Карстенс Оле, — да смотри сиди смирно!

После этого случая Оле во всеуслышание объявил, что маленький Андерсен хоть и чудак, но все же славный парень и обижать его он никому не позволит.

Некоторое время все шло хорошо. Дети часто пели хором, и Карстенс хвалил высокий звонкий голос Ханса Кристиана. Не было у него соперников и в чтении, не говоря уже о декламации. Только письмо не давалось, и, глядя на его испещренные ошибками каракули, Карстенс вздыхал и качал головой.

— Ну, ничего, подрастешь — будет лучше получаться, — говорил он, замечая огорчение своего любимца.

Однако вскоре так удачно наладившаяся школьная жизнь Ханса Кристиана неожиданно оборвалась. Расходы Карстенса слишком выросли по сравнению с доходами. Ему пришлось закрыть школу и поступить на службу в почтовую контору.

Когда это стало известно дома у Ханса Кристиана, отец уныло покачал головой:

— Ну вот, и здесь неудача… А я-то радовался твоим успехам! Теперь придется тебе посидеть дома.

— Ничего страшного! — сказала Мария. — Он еще мал, впереди время есть. Пусть отдохнет от ученья.

Но отдыхать было не очень-то весело. На дворе стояли морозы, без теплой одежды гулять и думать было нечего. Ханс Кристиан нагревал на печке медную монету и прикладывал ее к заледеневшему окошку. Через прозрачный кружочек видно было ярко-голубое небо, голые черные сучья тополя и нахохлившиеся воробьи. Они тоже ждали весны. Скоро ли она придет наконец? Отец был сумрачен и рассеян, он часами бродил по комнате и что-то шептал про себя Работы почти не было — прямо будто люди перестали рвать обувь! Изредка забегал кто-нибудь с пустяковой починкой: зашить лопнувший шов, положить набойку. Но это давало всего несколько скиллингов. Мария со вздохом пересчитывала серебряные монетки и часть их прятала в сундук.

— Это для уплаты за квартиру, — объяснила она сыну, — а то хозяин рассердится и выгонит нас на улицу.

— Как же на улицу, когда холодно? — удивился Ханс Кристиан. — Разве хозяин такой злой человек?

— Злой не злой, а свои денежки не хочет терять… Ну, ничего, я как-нибудь наскребу, чтобы уплатить в срок. Ты об этом не заботься, сынок, играй себе спокойно.

Но игра не клеилась: старые игрушки надоели, а маленькую соседку Лисбету, которая так послушно участвовала во всех его затеях и всегда готова была представить себе, что кусочек дерева — это настоящий осел, везущий на мельницу мешки с мукой, которая никогда не смеялась над ним и охотно слушала придуманные им истории, ее бабушка увезла куда-то в деревню, — там легче будет прокормиться, сказала она, а то здесь и с голоду пропасть недолго…

Однажды отец вдруг уселся на верстак и стал строгать кусочки дерева. Он решил сделать кукольный театр, чтобы развлечь мальчика да и самому отдохнуть от тревожных мыслей.

— У нас будут и актеры, и сцена, и занавес! — сказал он Хансу Кристиану. — А ты попроси у матери и у бабушки ненужных лоскуточков и шей актерам костюмы. Мать научит тебя, как это делается.

Ханс Кристиан горячо взялся за шитье. Мария охотно поощряла увлечение мальчика: с малых лет научится держать в руках иголку, а там и пригодится. Выучится — станет мастером.

Постепенно деревянные актеры оделись в пестрые наряды, а

если один рукав бывал короче другого, то ведь и у настоящих портных это случается! Зато у короля была настоящая корона из сусального золота и деревянный меч, а для королевы бабушка пожертвовала свой лучший шелковый лоскуток, хранившийся с незапамятных времен.

Дни теперь проходили удивительно быстро. Отец брал с полки томик Гольберга, и они с Хансом Кристианом с увлечением разыгрывали в своем театре одну комедию за другой. Мальчик легко запоминал наизусть целые сцены и вскоре мог уже один говорить за всех действующих лиц. Это случалось, когда отец был не в духе и отказывался участвовать в игре.

Незаметно подошла весна. Поглощенный своим театром, Ханс Кристиан почти не замечал, как уменьшается число картофелин, оставляемых матерью на обед, как растут горы белья в ее корзине, как мрачнеет с каждым днем лицо отца.

Сведя дружбу с разносчиком театральных афиш Педером Юнкером, он получал от него чудесные шуршащие листы с яркими заманчивыми заглавиями.

«Абеллино, знаменитый бандит, представление в 5 актах», — с трепетом восторга читал Ханс Кристиан и старался представить себе потрясающие похождения этого таинственного злодея.

Бабушка брала его с собой в госпиталь, где она ухаживала за садиком старого привратника Гомара. Она уверяла всех, что Гомар не кто иной, как французский эмигрант, — вероятно, из знатного рода! — и иметь такого хозяина очень лестно. В свое время его даже приглашали в крестные отцы к Хансу Кристиану. Бабушка не уставала толковать внуку, что и их семья знала когда-то лучшие дни: у деда был и дом и стадо, но только дом сгорел, а на скотину напал мор, вот он и обеднел. Ну, а о ее собственной родне и говорить нечего: она по благородству не уступит Гомару. Все погубила легкомысленная прапрабабушка: она безумно влюбилась в бедного актера и бежала с ним, а знатные родные тогда отреклись от нее. Ханс Кристиан свято верил этим рассказам, хотя в действительности легендарная прабабка была женой почтового кучера, а Гомар — отставным солдатом.

Впрочем, предполагаемая знатность не украшала Гомара в глазах мальчика. Старик был угрюм и сварлив. Сидя на лавочке у ворот госпиталя, он переругивался с проходящими старухами, подозревая их в том, что они крадут траву из сада. И Ханс Кристиан старался незаметно проскользнуть мимо сердитого крестного. Зато со старухами из богадельни при госпитале, сидевшими в большой комнате за прялками, он охотно проводил целые часы. Они терпеливо слушали все истории, которые он

сочинял, все стихи и сцены из комедий, какие он помнил, и не уставали дивиться его необыкновенному уму: «Ну и голова же у этого мальчика! Наверно, он не заживется на этом свете…»

Когда он умолкал, они, в свою очередь, рассказывали ему чудесные сказки, и смешные и страшные, а иногда пели старинные песни.

Высоко на гору взошла я,
В морскую даль гляжу, —

высоким дребезжащим голосом заводила одна из них.

И вот три рыцаря подплыли
К горе, где я сижу, —

подхватывала другая. Дальше в песне говорилось, что младший рыцарь подарил девушке колечко, а потом увез ее с собой, хотя у нее не было никакого приданого.

Это была хорошая песня, но чаще всего Ханс Кристиан просил старух спеть про красавицу Агнету, которую полюбил водяной: у него всегда сердце замирало, когда он слушал, как все это было. Агнета вышла на берег, а водяной ее спросил, хочет ли она жить у него на морском дне. И она согласилась — еще бы, это же так интересно. Но потом ей все-таки стало там грустно, и она возвратилась на землю, а водяной и ее маленькие дети горько плакали без нее и упрашивали ее вернуться, но она ни за что не хотела.

Старухи говорили, что, может быть, Агнета все-таки вернулась: стоя у моря, можно услышать, как она играет на золотой арфе. Бабушка старой Иоганны даже своими ушами это слышала!

Вообще в госпитале было хорошо: в садике, где хозяйничала бабушка, можно было валяться на охапках собранной травы, всюду бегать и даже нарвать себе букетик цветов. Кроме того, дома было голодно, а здесь его кормили, и даже скудный госпитальный обед казался ему роскошным.

Правда, один раз он натерпелся страху, пробравшись в отделение для буйных сумасшедших. Там сидела на соломе женщина с распущенными волосами, она чудесно пела, а потом вдруг дико закричала и протянула руку сквозь решетчатое окошечко, чтобы схватить мальчика. Прибежавший сторож вывел его, помертвевшего от ужаса, на двор и как следует разбранил, но это было лишнее: он и так ни за что на свете не пошел бы туда

еще раз!

Как-то Ханс Кристиан вернулся домой с обычным букетиком и с чудесной палкой, которую дала ему бабушка. На конце этой палки дед вырезал лошадиную голову, и она была совершенно как живая, только не ржала, но уж это ничего не стоило себе вообразить. Дома никого не было: мать стирала на речке, а отец ушел неизвестно куда: последнее время это случалось часто.

Ханс Кристиан немедленно превратился в прекрасного рыцаря и, оседлав своего верного коня, отправился добывать клад, который стерег огненный дракон. Дракон жил в пещере, то есть в печке, мимо ее черного отверстия надо было тихонько прокрасться к сундуку, — понятно, что это был вовсе не сундук, а заколдованная гора, где хранится клад. Оставалось только узнать волшебное слово — и тогда сразу упадут замки и затворы, а смелый всадник получит кучу золота и серебра!

Но тут пришла мать, стала торопливо прибирать в комнате и выгнала рыцаря с его конем во двор. Они перекочевали в пустой торфяной сарай, и игра продолжалась. Много подвигов совершил рыцарь, а обедать мать все не звала. Тогда всадник решил вернуться из странствий, он затрубил в рог и торжественно въехал в отцовский замок… Палка с грохотом упала на землю, и Ханс Кристиан застыл на пороге.

Мама, веселая, никогда не унывающая мама, сидела, закрыв лицо передником, и плакала навзрыд, а бледный, взволнованный отец растерянно уговаривал ее:

— Ну успокойся, Мария, не плачь, пожалуйста, у меня и так, на душе не легко. Не могу я больше сидеть сложа руки и смотреть, как ты надрываешься, чтобы заработать пару скиллингов! И в долг нам больше не верят: пекарь Иоганнес сегодня сказал, что нынче все норовят взять без денег, а когда отдадут, неизвестно, этак ему и разориться недолго. А заказчики не идут, сама знаешь. Что же мне было делать? Я и завербовался. Подумай только: сказал одно слово — и получай денежки, тысячу триста ригсдалеров новенькими бумажками! Теперь я буду спокоен за вас. Так чего же ты плачешь?

Что такое? Отец и взаправду узнал заветное слово и получил клад? Но почему же тогда мама так убивается?

Ханс Кристиан тихонько подошел к матери и прижался к ней. Она отняла передник от заплаканного лица и обняла мальчика, причитая:

— Бедный ты мой, сокровище мое, ты и не знаешь, что с нами стряслось! Отец-то задумал нас бросить, он уходит солдатом на войну, может, мы и не увидим его больше…

И вдруг она с загоревшимися обидой глазами резко

повернулась к мужу:

— Можешь мне не морочить голову, будто ты это сделал для нас! Я ведь тебя насквозь вижу, не такая уж я дура! Просто тебя тянет в чужие края, ты думаешь, что тебя там ждет райская жизнь! Ведь ты всегда вздыхал: то тебе здесь слишком холодно, то дождь часто идет… Вот и затеял теперь все это, чтобы уехать.

Сапожник молча опустил голову. Он не умел лгать.

— Ну и уезжай! Отправляйся на все четыре стороны! — совсем разгорячилась Мария. — Посмотрим, каково тебе будет без нас. Не надо мне твоих денег, я и так сумею прокормить себя и мальчика. Конечно, я на целых одиннадцать лет старше тебя, вот ты и тяготишься мною!

— Мария, перестань! — строго сказал Андерсен. — Ты сама не веришь этой чепухе. Я тоже знаю тебя лучше, чем ты себя знаешь: у тебя сердце куда добрее, чем язык. Правда, что меня всегда тянуло куда-то далеко, но это вовсе не значит, что я не люблю тебя и малыша и что мне легко вас оставить… Но другого выхода у меня не было. Подумай только: я буду участвовать в сражениях, может быть, мне удастся отличиться, и я стану офицером! Ведь тогда вы ни в чем не будете нуждаться, и малыш сможет по-настоящему учиться!

— Ну да, где это видано, чтоб простой солдат вышел в офицеры! Все это для господ, а не для нас, — отмахнулась Мария.

Сапожник протянул руку к стене, где висел портрет человека в сером сюртуке и треуголке, с надменным энергичным лицом.

— Смотри! — сказал он торжественно. — Разве ты не знаешь, что Наполеон был когда-то просто бедным поручиком? А теперь он великий император, наш король подчиняется ему.

— Да мне-то какое до него дело? Он себе там как хочет, а ведь тебя могут убить на войне!

И Мария снова залилась слезами.

— Нет, мама, нет! — стал уговаривать ее Ханс Кристиан. — Этого не может быть, чтоб отца убили. Ты же сама всегда говоришь, что надо надеяться на бога и что слезами горю не поможешь!

— Верно, сыночек, — вздохнула Мария, стараясь успокоиться. — Видно, на роду мне так написано — вечно терпеть всякие беды… Ладно, Ханс, я уж постараюсь больше не плакать. Но только все-таки я скажу тебе в последний раз: губишь ты себя своими выдумками…

И, решительно вытерев глаза, она ушла на кухню готовить обед.

Богатый крестьянин из соседней деревни, сына которого

должны были взять в солдаты, себя не помнил от радости, что так легко нашел заместителя. «Редко встретишь такого чудака, чтоб добровольно согласился идти под пули неизвестно зачем!» — думал он, выкладывая Хансу Андерсену обещанные деньги. Это мнение разделяли все, кто знал об отчаянном решении сапожника.

Соседи провожали его долгими взглядами и шептались у него за спиной: «Бедная Мария… дал же бог ей такого муженька», «Да она сама говорит, что он не в себе. Он и всегда был странный, а теперь вовсе свихнулся…», «Увидите, и с мальчишкой то же будет, это у них в роду».

Ни на кого не глядя, привычно ссутулившись, Андерсен возвращался домой. Он прекрасно понимал, что думают о нем окружающие и каким безрассудным выглядит его решение. Да оно и в самом деле безрассудно — себе он в этом сознавался. Но все равно, пусть его убьет первая же пуля, это лучше, чем дальше так жить! И все-таки… все-таки есть же хоть крошечная надежда, что наконец-то ему повезет!

По улицам Оденсе рассыпалась звонкая дробь. «Вперед! Вперед!» — выстукивали барабанные палочки. Толпа плачущих женщин провожала солдат за городские ворота. Третий батальон пехотного полка его величества датского короля отправлялся в Гольштейн, чтобы сражаться за пошатнувшееся могущество чужого императора. Это было осенью 1813 года, и дела Наполеона шли неважно, но принц Фредерик упорно надеялся на его счастливую звезду и не хотел разрывать союза, приносившего Дании одни убытки. Все ведь еще может измениться, и вот тогда-то император щедро наградит свою верную союзницу, утешал он себя. И посылал Наполеону новые полки.

Среди солдат третьего батальона шагал и тщедушный голубоглазый новобранец Ханс Андерсен. Он старался держаться бодро и даже выдавливал улыбку, кивая провожавшим его матери и жене. Но на душе у него было невесело. Его мучил страх за сына: как назло, малыш совсем разболелся. И Марию жалко, — как она тут будет выкручиваться одна в такое тяжелое время? Он пытался оживить в себе знакомые мечты: поле сражения, геройский подвиг, офицерские эполеты, пример Наполеона… Да, может быть, может быть… А пока были только тесные сапоги, ноющее под ружьем плечо и неотвязный сухой кашель. Город скрылся позади за сеткой мелкого, пронизывающего сентябрьского дождя.

Ханс Кристиан с трудом открыл глаза: от света их резало как ножом. Он лежал на широкой деревянной кровати родителей, и

ситцевый полог был спущен, но свет ухитрился пробраться сквозь щелочки. От жара пересохло горло и потрескались губы, а руки стали тяжелыми, будто каменными. У него начиналась корь, в ту осень косившая подряд ребятишек из бедных кварталов, где зараза легко переходила из дома в дом.

Он смутно помнил, как рано утром над постелью нагнулся отец в непривычной солдатской форме, поцеловал его и нарочито веселым голосом убеждал держаться молодцом, а сам старался незаметно вытереть слезы. С тех пор, кажется, прошло очень много времени… Наконец-то кто-то пришел, и ему дадут пить! Это была бабушка, она принесла ему воды и уселась около кровати, бормоча молитвы вперемежку с жалобами. Все кончено, все надежды разбиты, и несчастный Ханс, разумеется, не вернется домой. Господи, и за что столько несчастий на их семью?

— Бедный малыш, лучше бы тебе умереть сейчас, — сказала она внуку, грустно глядя на него выцветшими голубыми глазами. — Конечно, на все божья воля, не нам судить, но только все равно ничего хорошего ты в жизни не увидишь…

Мрачное пожелание бабушки вовсе не понравилось Хансу Кристиану.

— Я не хочу умирать! — заплакал он. — Мама, где моя мама?

Вымокшая, усталая Мария вбежала в комнату и, не сняв шали, бросилась к постели.

Руки матери приятно холодили лоб, и страх отступал куда-то.

Успокоенно вздохнув, мальчик начал дремать. Мама здесь, теперь все будет в порядке!

Ночью его разбудила огромная полная луна: она глядела прямо на него из-за откинутого полога. Это была какая-то странная луна. Она превратилась в сердитое лицо старого привратника Гомара и угрожающе хмурилась. С отцовским пальто, висевшим в углу, тоже было не все ладно. Оно пухло, росло и протягивало к нему длинные руки-рукава, явно собираясь стащить его с кровати.

— Прогони его, мама! — закричал он в тревоге.

Мать, дремавшая рядом на табурете, сразу вскочила, и, испуганные звуками ее голоса, луна и пальто приняли свой прежний мирный вид.

Еще несколько дней — и особенно ночей! — ему было очень плохо, и Мария совсем измучилась. Но потом жар спал, и дело пошло на поправку. Лежа в кровати, он уже разыгрывал со своими деревянными актерами всякие приходившие ему в голову сцены.

— Ну, раз уж ты занялся своими куколками, значит скоро будешь совсем здоров! — сказала мать. — И задал же ты мне страху, сыночек! Я уж думала, бог решил и тебя забрать у меня.

Но теперь все хорошо. Только бы отец вернулся…

Есть такая сказка про волшебное золото: человек получает его от маленьких седобородых гномов на залитом лунным светом холме. Набив карманы, он спешит домой, не помня себя от радости. А утром золото оказывается всего лишь кучей пепла или сухих листьев.

Обманчивым золотом гномов оказались и деньги, полученные Хансом Андерсеном за согласие надеть солдатский мундир. С каждым днем их цена падала, и скоро они превратились в бумажки, стоившие немногим больше сухих листьев. Государство выпустило слишком много бумажных денег, и произошел финансовый крах. Еще до отправки мужа в Гольштейн Мария обменяла оставшиеся у нее ассигнации на новые деньги, выпущенные, чтобы спасти положение. Тысяча ригсдалеров превратилась в сотню. Бабушка со слезами рассказала, что дед наотрез отказался менять припрятанные где-то у него с давних пор кредитные билеты.

— Не может быть! — отвечал он на все убеждения. — На этих деньгах стоит подпись короля, значит они настоящие.

Но подпись короля не могла спасти даже новые деньги. Они продолжали обесцениваться, нужда в стране росла, и лучшие экономисты ломали голову, как поправить дело. А война все продолжалась.

Мария с сыном переселились на чердак, уступив свою комнату другим жильцам до возвращения мужа, на которое она твердо надеялась. Это ей обещала гадалка, а гадалки уж знают, что говорят! Старуха уверяла, что, если бы Мария принесла ей золото или серебро, дело было бы куда вернее: можно было бы сварить волшебное зелье. Но Мария могла отдать всего-навсего одно тоненькое серебряное колечко. Поэтому, наверно, зелье хоть и было сварено, но действовало очень слабо.

На чердаке было холодно, скреблись мыши, и косой потолок спускался так низко, что Ханс Кристиан задевал его головой. Он почти не выходил на улицу: Мария боялась выпускать его после болезни на холод в старой тесной курточке. Задумчиво грызя оставленный ему кусок хлеба, мальчик размышлял о мышах. Очень бы интересно было заглянуть к ним в норку и узнать, как они живут! Наверно, мышата тоже остаются на целый день без мамы, потому что они часто пищат, жалобно и тоненько. А мама бегает и ищет, чего бы поесть. Тайком он ссыпал около щелей в полу оставшиеся у него крошки. Его мама не должна была об этом знать, она бы рассердилась. Но мышиная мама тоже ничего не знала о его добрых намерениях и упорно отказывалась

подружиться с ним, так что поиграть было не с кем.

Иногда он радовался даже посещениям своей сводной сестры Карен, которую недолюбливал. С Карен были связаны какие-то многозначительные намеки и умолчания в разговорах взрослых. Подхватив несколько неосторожно оброненных при нем слов, Ханс Кристиан понял, что отец Карен был очень нехороший человек, в чем-то ужасно обманувший мать и не желавший заботиться о дочке. При отце Ханса Кристиана мать никогда не упоминала об этом человеке, да и о Карен говорила редко. Девочка росла в соседнем маленьком городке у другой бабушки, которую Ханс Кристиан почти не знал. Теперь она жила в няньках у богатых людей и в отсутствие сапожника Андерсена иногда заглядывала к матери. Карен была упряма и строптива, в играх любила верховодить, лазила на деревья разорять птичьи гнезда, метко бросала камни в пробегавших собак и кошек, и все это было совсем не по душе Хансу Кристиану.

Кроме того, она любила дразнить мальчика, и начавшийся мирно разговор большей частью кончался ссорой.

— Какой ты хвастунишка! — фыркала она, слушая его фантазии о подвигах, которые он совершит, когда вырастет. — Где тебе странствовать по свету, ты ведь всего боишься: и коров, и темноты, и воды. И силы в тебе совсем мало. Играй-ка ты лучше со своими куколками!

Ханс Кристиан обижался до слез и доказывал, что он ничего не побоится, когда будет очень нужно.

— Ну, так, наверно, этого никогда не будет, — насмешливо предполагала Карен, — и просидишь ты весь век у маминой юбки. А я вот скоро уеду куда глаза глядят — надоело мне тут сидеть!

— И уезжай, пожалуйста, никто тебя не держит!

— И уеду, никого не спрошусь! А тебя мама не пустит.

— Пустит, пустит! Она меня больше любит, чем тебя, потому что ты злая и непослушная.

Карен бледнела, и ее темные глаза сердито сверкали.

— А ты трусишка и плакса, да еще уродец в придачу! — бросала она и убегала, хлопнув дверью.

Нет, лучше было сидеть одному, чем с Карен! И почему только ее называют его сестрой? Никакая она ему не сестра, сестры такие не бывают.

И Ханс Кристиан сидел один или с бабушкой, рассказывавшей свои излюбленные истории о былом величии дома Андерсенов, или со старой Иоганной из госпиталя. Она приходила прибираться к пасторской вдове по соседству и на обратном пути заглядывала проведать мальчика. Он с нетерпением ждал ее, потому что старая Иоганна знала массу

интересных вещей чуть не о каждом оденсейском камне или старом дереве. И все это чистая правда, а не какие-нибудь небылицы, говорила она.

Ханс Кристиан с жадностью слушал про то, как много лет назад с церкви сорвался огромный колокол, пролетел по воздуху и упал в реку. Потому это место и называется Колокольный омут. Как раз там живет и старик водяной, который любит заманивать к себе людей. Иной раз можно услышать звон колокола, доносящийся из воды, особенно если в городе кто-нибудь должен умереть. А под развалинами старой церкви есть подземный ход, и он тянется до самого холма Монахинь. Ночами кто-то бродит по подземелью и стучится в окованную железом дверь, выходящую наружу. Ну, а блуждающие огоньки на холме Монахинь и на Монастырском болоте — это грешные монашеские души, которым нет покоя после смерти. Если человек родился в воскресенье, то он может их увидеть при встрече, а обыкновенные люди видят только огонек.

— Помнишь старый дом на углу городской площади? — спрашивала старая Иоганна. — Там когда-то жил Оле Багер, и он был такой богач, что сам король брал у него взаймы. Он посылал за море свои корабли, и они возвращались полные всяким добром. Только раз как-то Оле в гневе избил девочку-служанку. Тогда ее мать пришла к нему с чашей воды, где плавали ореховые скорлупки, подула на воду — и все скорлупки перевернулись. «То же будет и с твоими кораблями», — сказала старуха. И вправду, все корабли потонули в море. Так он был наказан за свою жестокость. А вот есть такое имение Глоруп недалеко от города, так тамошний злой хозяин вот уже сотни две лет после смерти разъезжает по ночам в черной карете на черных лошадях, и сам он черный как уголь, только глаза горят!

Сердце замирало у Ханса Кристиана от таких рассказов, но все-таки он готов был слушать еще и еще. Жаль, что старой Иоганне приходилось, наконец, отправляться домой.

Подошло рождество, но дома не было на этот раз ни елочки, ни печеных яблок, ни сладкого риса, не говоря уже о жареном гусе.

Закутавшись потеплее, Ханс Кристиан пробежался вечером по улицам города. Деревянные башмаки звонко стучали по обледенелым камням, изо рта шел пар.

Дуя на зябнущие руки, он заглядывал в ярко освещенные окна особняков: там в дрожащем свете свечей пестрели и сверкали нарядные елки, вокруг них прыгали дети, а на столах стояли всякие вкусные вещи. Вот если бы гусь соскочил с блюда и

вперевалку побежал прямо на улицу, к Хансу Кристиану… Но гусь спокойно оставался на своем месте, не подавая признаков жизни, а мороз крепчал, так что пришлось поторопиться домой, пока нос не побелел.

Несколько дней спустя он сидел дома и думал о рождественских подарках: если их хорошенько представить себе, то это будет почти как на самом деле!

На лестнице послышались шаги, и в комнату вошел какой-то солдат, худой как щепка, с измученным лицом. Он уставился на мальчика рассеянным тяжелым взглядом, потом слабо улыбнулся и кивнул головой:

— А, малыш, это ты… Как же ты вырос!

В звуках хриплого слабого голоса было что-то очень знакомое. Мальчик застыл на месте, всматриваясь.

— Что, не узнал? — с горечью спросил сапожник, тяжело опускаясь на табурет. — Видно, хорош я стал, лучше некуда…

Только теперь Ханс Кристиан окончательно понял, что это отец. Господи, почему же он так изменился?

— Да что обо мне говорить, расскажи лучше, как у вас тут дела, — отмахнулся отец от расспросов.

И Ханс Кристиан рассказывал и про свой театр, и про мышей, и про старую Иоганну, а потом пришла мать, пошли слезы, расспросы и восклицания, мальчика послали за бабушкой, начали заглядывать соседки.

— Слава богу, слава богу! — повторяла мать, но тут же заливалась слезами. — И на что же ты похож — краше в гроб кладут!

— Будет тебе, Мария, — останавливала ее бабушка, — радуйся, что вернулся живой, ведь под пулями был!

— Даже и под пулями побывать не пришлось!.. — сумрачно отозвался Андерсен и, махнув рукой, закашлялся.

Невезение не покинуло его и в чужих краях: все это время он переносил грязь и холод, утомительные ночные переходы, скверную пищу, духоту и вонь казарм совершенно зря. Их полк застрял в Гольштейне и ни разу не участвовал в сражениях. А потом принц Фредерик заключил мир, и солдат отправили по домам. Мечта об офицерских эполетах лопнула как мыльный пузырь, осталось только вконец расстроенное здоровье.

Опять они были в своей комнате и вечером сидели за столом все вместе, опять с утра Ханса Кристиана будил стук сапожного молотка. Но удары его были теперь неровными и прерывистыми: у отца дрожали руки, и он быстро уставал.

— Не отчаивайся, Ханс, будешь побольше есть, тебе

полегчает! — повторяла ему Мария.

— Где там полегчает!.. Скоро совсем стану калекой и не смогу работать.

— И то не беда! У меня силы хватит поработать за двоих, а там и малыш подрастет, начнет помогать.

Она обегала всех оденсейских знахарок и каждый день надеялась на новое целебное средство.

— Глупости все это! — тоскливо сказал однажды сапожник. — Эти старухи только и норовят из тебя последние гроши вытянуть, а что толку? Все равно моя песенка спета. Да и поскорей бы уж, а то и тебе лишние заботы, и мне мученье…

— Нельзя так говорить, Ханс, это грех! — огорчилась Мария. — Бог лучше нас знает, что делает. А если кто страдает на земле, тот попадает в царствие небесное.

— Кто тебе это сказал, Мария? — резко спросил Андерсен.

— Как это кто? — растерялась Мария.

— Да, вот кто? Уж не тот ли прыщавый семинарист, племянничек бургомистра, который когда-то нашептывал тебе любезности и предлагал деньги, чтоб ты с ним согрешила? А ведь этот подлец стал пастором! Так, может, он тебе и объяснил про грехи и про царствие небесное?

Ханс Кристиан краем уха услышал этот разговор, но истолковал его по-своему: отец сердится за то, что племянник бургомистра ухаживал за матерью. Ну, а раз ухаживал, значит, ясное дело, хотел жениться… Подумать только, они бы жили тогда в бургомистровом особняке, вот чудно! Но раз мать не вышла за этого племянника, стало быть, отца она любила больше, тогда чего же ему сердиться? Наверно, все это потому, что он больной…

— Что случилось с отцом, почему он вернулся такой желтый и худой? — спросил мальчик однажды у старой Иоганны, которая всегда охотно отвечала на его вопросы. Она не затруднилась объяснить дело и на этот раз:

— Твоего отца высушило зелье! Помнишь, осенью мать ходила к гадалке? Ну, так вот: гадалка по кофейной гуще узнала, что твой отец жив и находится далеко, в чужом городе. Тут она и уговорила твою мать заварить зелье, которое вернет его домой. Много чего в такое зелье кладется — и мох с крыши родного дома и даже листок из молитвенника, — а когда оно закипит в горшке, то должно уже кипеть не переставая. И тогда на человека, где бы он ни был, находит тоска по родному дому. Нет ему покоя, день и ночь он спешит через горы и реки, не разбирая дороги. Ни дождь, ни буря его не могут остановить. Понятное дело, после такого пути не скоро оправишься.

Это объяснение вполне убедило Ханса Кристиана. Так же думала и мать: он слышал, как она говорила тетке Катрине, что никогда бы не согласилась заваривать зелье, если б знала, как оно подействует. Только отец сказал, что все это бабьи россказни и заболел он от плохой жизни, а вернулся потому, что Дания заключила с неприятелем мир.

Но отец ведь вообще ничему такому не верил и даже дьявола не боялся. А Ханса Кристиана страхи обступали со всех сторон. Он удивлялся, как это все другие слушают страшные рассказы, ахают, ужасаются, а потом ходят себе как ни в чем не бывало. Для него же все слышанное оживало с удивительной яркостью.

Проходя мимо старой церкви, он зажмуривал глаза: ему казалось, что оттуда выглядывает бледный окровавленный король Кнуд, в незапамятные времена убитый у алтаря врагами. За кладбищенской оградой что-то белело в темноте — скорее всего привидения. Но хуже всего было, когда мать посылала его вечерами в соседнюю деревеньку за парным молоком. По дороге, обсаженной высокими каштанами, через мост, мимо леса, мимо холма Монахинь — и вот уже домики с резными красными ставнями выглядывают из-за кустов бузины и шиповника. Но на обратном пути становилось темно, направо и налево — на холме Монахинь и на Монастырском болоте — зажигались страшные блуждающие огоньки. Правда, он родился не в воскресенье, но кто знает, а вдруг все-таки ему встретится призрак черного монаха с книгой в руке и уставится на него пронизывающими глазами?.. Расплескивая молоко, он мчался, не переводя дыхания, и только перейдя мост, немного успокаивался: говорят, что привидения не могут переходить через реку!

Дома он с пересохшим горлом залпом выпивал так дорого доставшийся ему стакан молока и постепенно приходил в себя.

Отец грустно смотрел на него: вот и мальчик растет суеверным, невежественным… Неужели и ему не видать лучшей жизни? Хорошо, хоть книга он любит, может, они еще выведут его из темноты…

Ни снадобья знахарок, ни заботы Марии не помогали: Ханс Андерсен медленно умирал. В течение двух лет жизнь вытекала из него, как вода из надтреснутого сосуда. Он уже совсем не мог работать, перестал перечитывать любимые книги, интересоваться театром. Только старая ненависть к суевериям не исчезла в нем, и он задыхался среди постоянных разговоров о приметах и предсказаниях.

— Смотри, отец, какие красивые узоры на окне! — сказал как-то зимой Ханс Кристиан. — Видишь? Тут женщина в белом

платье, у нее на голове корона, и она протягивает руки.

— Ледяная дева заглядывала ночью в окно! — забеспокоилась Мария. — Увидите, это не к добру…

— Наверно, она приходила за мной, да отложила это до другого раза! — с насмешливой горечью подсказал сапожник. Мать и сын испуганно переглянулись: они не сомневались, что-то так и есть.

— Поскорее бы уж, что ли, собиралась, — проворчал Андерсен, кашляя.

Ледяные узоры растаяли, солнце начало пригревать по-весеннему, и Мария уже начала надеяться, что тепло поможет больному. Но в марте 1816 года он слег окончательно.

…Ранним утром Ханс Кристиан проснулся от какого-то крика. Вскочив со скамьи, заменявшей ему кровать, он испуганно огляделся.

Отец, босой и растрепанный, стоял среди комнаты и, глядя перед собой расширенными, невидящими глазами, хрипло командовал:

— За мной! В атаку! Ура!

Он рванулся вперед, отбиваясь от плачущей Марии.

— Пустите меня, не смейте меня трогать! Я иду к императору! У меня важные новости, я должен… Пустите сейчас же!

— Иди-ка на улицу, сынок, — сказала Мария, справившись, наконец, с больным и осторожно укладывая его в постель. — Нечего тебе здесь сидеть… Отец никого не узнает, бредит, а теперь, может, ему от сна полегчает.

Ханс Кристиан направился к Колокольному омуту и долго вслушивался, глядя в темную глубь. Говорят же, что колокол звонит, если кто-нибудь должен умереть! Ему казалось, что он видит темные очертания на дне. Язык колокола, наверно, оброс тиной и водорослями, рыбки шныряют возле него, а если он начнет вдруг шевелиться, они испуганно разлетятся во все стороны.

«Динь-дон, динь-дон», — явственно послышалось ему. Нет, это кровь шумит у него в ушах и бьется в виски. А на реке тихо, только озабоченно пересвистываются птицы, занятые устройством своих гнезд…

Дома мать объяснила ему, что колокол звонит только перед смертью какого-нибудь важного господина, — слишком часто иначе пришлось бы ему беспокоиться! — а чтобы узнать, выздоровеет ли отец, надо сходить в Эйбю к старой Метте.

— Сбегай туда, сынок, а то я не могу оставить отца!

Знахарка внимательно выслушала сбивчивый рассказ

мальчика и значительно кивнула головой.

— Хорошо, что ты пришел сюда, — сказала она. — Старая Метта много видит, много знает такого, что другим невдомек…

И она отправилась рыться в своих коробочках. Ханс Кристиан с трепетом огляделся. Под потолком висели кучки сухих трав, огромный черный петух клевал рассыпанные по полу зерна и сердито косился на посетителя. Метта достала шерстяную нитку и принялась измерять ею руки мальчика, что-то бормоча про себя.

— Теперь ты возьмешь эту веточку, — сказала она глухим торжественным тоном, — положишь ее себе на грудь и пойдешь домой. Но смотри иди только берегом реки, где поменьше народу. Если твой отец должен умереть, ты встретишь там его призрак!

Много лет спустя он не мог без дрожи вспомнить этот страшный обратный путь! Ему невероятно хотелось зажмуриться и не видеть ничего, но он не мог себе этого позволить: ведь дело шло о жизни или смерти отца!

— Ну что? — бросилась к нему Мария, когда он переступил порог дрожащими ногами. Кое-как он передал ей слова гадалки.

— И ты его не встретил?

— Нет! — задыхаясь, ответил мальчик.

Но мудрость старой Метты подвела: на третий день вечером сапожник умер.

Ночью в углу неутомимо и громко стрекотал сверчок; наверно, он забрел из соседней пекарни.

— Не зови, не трудись зря, — сказала Мария сверчку. — Ледяная дева взяла его.

Как сквозь сон видел заплаканный мальчик желтый соломенный гроб, в который положили отца («Не хватило денег на деревянный», — жаловалась мать), длинные куски черного крепа — один обвязали ему вокруг шляпы, — слушал торопливую речь пастора над гробом, поставленным на гулком каменном — полу церкви Св. Кнуда…

На кладбище для бедных с трудом отыскали местечко новому пришельцу. Бабушка посадила на могиле розовый куст: бедный Ханс так любил цветы, ему это будет приятно, говорила она.

И розы цвели — посмертное утешение сапожнику за его короткую неудачную жизнь. А дождь и ветер понемногу сравнивали могилу с землей.

ГЛАВА II
СЫН САПОЖНИКА СТРОИТ ЗАМОК

После смерти сапожника в наследство остались одни долги, и Мария выбивалась из сил, чтобы свести концы с концами. С утра до вечера она стирала белье на речке у большого плоского камня, а Ханс Кристиан играл поблизости. Взрослые считали, что берег пуст и на нем ничего не происходит, но они ошибались: здесь было полно интересных вещей.

С грохотом клубились огромные колеса водяной мельницы, разбрызгивая молочно-белую пену. С соседней крыши, глядел на речку важный аист и по-египетски объяснял что-то внимательным птенцам. У корявой ивы на берегу выросла трава прямо из живота; наверно, это было не очень приятно. Когда спускали шлюз, вода уходила, и маленькие плотички беспомощно барахтались на песке, а водяная крыса глядела на них, сердито поводя усами. Все это были старые знакомые, он знал их привычки и многое мог бы порассказать о них.

От старухи прачки он узнал потрясающую вещь: оказывается, если копать и копать землю здесь, на берегу, то в конце концов можно прорыть ход в китайское царство! Ну, он-то сам не выкопает так много, но это вполне могут сделать жители Китая.

Сидя на берегу, он пел самые лучшие песни, какие только знал: а вдруг его услышит китайский принц и позовет к себе жить? Вот тогда-то уж у него наверняка будет хрустальный замок,

а домой он вернется на большом корабле, точно таком, как у брата короля, принца Кристиана, который недавно стал губернатором острова Фюн.

Но китайский принц, как видно, был занят своими делами и не торопился с появлением. Лето кончилось. Ивы роняли в воду узенькие желтые листочки, плававшие, как крохотные лодочки. Лягушки спрятались в свои зимние убежища, а по небу тянулись вереницы улетающих птиц. Ветер становился все резче, вода холоднее, но мать по-прежнему проводила на реке целые дни. Иногда она посылала Ханса Кристиана на Северную улицу в лавочку господина Груббе за бутылкой водки: очень уж холодно было стоять в воде! Несколько глотков придавали ей сил, и она опять принималась за работу. К вечеру корзина наполнялась чистым бельем, а бутылка пустела. В городе стали поговаривать, что сапожникова Мария запивает. В богатых домах, где она получала работу, ее поведение строго осуждали: как легкомысленны эти бедняки! Право, это даже хорошо, что у них никогда нет денег, все равно они их пустят на ветер…

Однажды, когда мальчик бежал к реке с бутылкой в кармане, мадам Йенсениус, вдова пастора, высунулась из окошка и разбранила его. «Фи, какое безобразие! — возмущалась она. — Раз уж ты сейчас носишь матери водку, то потом, конечно, и сам запьешь. Пропащая женщина твоя мать». Эти слова врезались ему в память. До сих пор он никогда не думал, что люди могут быть так жестоки и несправедливы. Сердце его было полно обиды за мать, и он старался обходить стороной окна суровой пасторши.

Новое событие вошло в его жизнь и оттеснило в сторону все прежние увлечения: он прочитал Шекспира.

В том же приюте для престарелых дам и девиц, где жила мадам Йенсениус, у него завелись приятельницы, две тихие старушки Бункефлод. Старая Иоганна, ходившая к ним делать уборку, рассказала ему, что у них множество книг, прямо диву даешься, как это люди могут все прочесть.

Как-то раз она взяла его с собой и представила хозяйкам. Доверчивый и любознательный мальчик понравился старушкам, и они стали давать ему лоскутки для кукольного театра, учили, как получше смастерить костюмы, давали и книги. От них он и получил толстый том трагедий Шекспира. Перевод был плохой, многие места искажены, но этого Ханс Кристиан не мог заметить. Глубина шекспировских образов тоже была пока ему недоступна. Зато он был в восторге от необычайных событий, кровавых эпизодов, появления ведьм и призраков. Ему казалось, что он видит перед собой все, о чем говорится в книге, чувствует то, что

переживают герои. Он мгновенно запоминал наизусть целые страницы и, к ужасу Марии, потрясал стены маленькой комнаты монологами Лира и сценами из «Макбета», накинув на себя материнский платок вместо королевской мантии. Его деревянным актерам тоже пришлось с головой окунуться в море шекспировских страстей.

Потом ему захотелось сочинять самому. Такие попытки он делал еще при отце, пользуясь немногими немецкими словами, которые тот вывез из Гольштейна, — ведь в театре актеры обычно говорили по-немецки. Охотнее всего он оперировал словом «Besen» — оно такое звонкое, ни за что не подумаешь, что это просто метла!

— Ну вот, хоть малышу мое путешествие пригодилось! — грустно усмехался отец, слушая, как деревянный король величественно произносит «Besen!», а придворные хором вторят ему.

Но теперь Ханс Кристиан собирался сочинить самую настоящую трагедию, где герои страдают, произносят длинные монологи, а потом все погибают — это казалось ему особенно необходимым, иначе что же за трагедия?

Недолго думая, о «взялся за дело. Герои получили звучные имена — Абор и Эльвира, так называлась и вся трагедия. Они любили друг друга, но злая судьба, разумеется, разлучила их, и в конце концов они скончались с монологами на устах. Были еще там и седобородый отшельник с сыном, они тоже любили Эльвиру, произносили монологи (речи отшельника были взяты напрокат из религиозной брошюрки «Обязанности по отношению к ближнему») и оба закалывались над ее могилой.

Хансу Кристиану его творение казалось верхом совершенства, и он читал его всем, кто только соглашался слушать.

Старушки Бункефлод благосклонно качали головами: они уважали сочинителей, ведь покойный пастор Бункефлод сам был поэтом. Старая Иоганна сказала, что, наверно, в самом заправском театре сочиняют не лучше, а про мать и бабушку говорить нечего: они всегда готовы были восхищаться своим любимцем.

Но смертельную обиду нанесла ему тетка Катрина. Послушав немного, она расхохоталась и сказала, что все это чепуха какая-то, ничего нельзя разобрать и зовут-то героев не по-человечески. Нет чтобы Марен или Педер, а то Абор и Эльвира! Лучше бы уж тогда прямо Окунь и Треска (датское слово «Aborren» — «окунь» — она смешала с именем героя).

Ханс Кристиан был совершенно раздавлен этой беспощадной критикой. Мария тоже обиделась за сына.

— Знаю я, что тут кроется! — сказала она. — Ей просто завидно, потому что ее-то сорванец Кристиан сроду бы ничего такого не выдумал, сиди он хоть целый век!

Ханс Кристиан, вечно терпевший пинки и насмешки от сына тетки Катрины, был несколько утешен этими словами. И потом он напишет еще много трагедий, да таких, что даже тетка Катрина придет в восторг. В оставшейся от отца солдатской книжке он записывал их заглавия и считал, что полдела сделано: остальное уже не так-то трудно придумать.

С приездом нового губернатора принца Кристиана город Оденсе сильно оживился. Чуть не каждый месяц улицы иллюминировались, а в небо взметались с шипеньем и треском огненные струи фейерверков. Главным мастером по их устройству был старый знакомый Ханса Кристиана Педер Юнкер, бывший разносчик театральных афиш, и мальчик иногда получал разрешение помочь ему. За принцем в город потянулась знать, по улицам разъезжали кареты с гербами. Появилось множество фокусников, канатных плясунов и вырезывателей силуэтов, демонстрировавших на рыночной площади свое искусство. Дома Ханс Кристиан брал ножницы и пытался воспроизвести их быстрые точные движения. Он вырезал аиста на дереве, балерину, балансирующую на одной ножке, ангелов с крыльями, и у него получалось неплохо.

В огромном зале ратуши давались пышные балы, и из окон слышались веселые польки, кадрили и плавные менуэты. А на окраинах по-прежнему свирепствовала нищета. У Западных ворот обнаружилась целая воровская шайка, состоявшая из мальчиков четырнадцати-пятнадцати лет.

Ожесточенно колотя вальками по мокрому белью, прачки на реке обсуждали эту новость.

— Недавно они украли у одной женщины банковый билет в пятьдесят ригсдалеров, на этом и попались, — рассказывала жена тюремного привратника Шенка. — Захотелось им полакомиться черносливом, зашли в лавку, ну, а хозяин сразу сообразил, что дело нечистое: откуда у мальчишек такие деньги? Ворованное они сбывали жене Ханса Дру, того самого, что в праздничных процессиях так потешно изображает арлекина, а его сынишка был у них главным. Теперь они все сидят под замком. Говорят, что и Педер Юнкер сюда замешан…

— Вот я всегда и говорю своим детям: чем брать чужое, лучше работать, пока кровь из-под ногтей не брызнет! — назидательно заметила тетка Катрина. — Моего Кристиана вечно бранят, а он бы не пошел на такое дело. И то сказать, некогда

ему, ведь он теперь на фабрике работает. Хоть немного домой приносит, а все же помощь, да и мальчишке некогда по улицам болтаться. Вот и вам бы, Мария, своего паренька туда отдать.

— Жалко мне его, он ведь слабенький, — нерешительно возразила Мария.

— Ну да, а свяжется с какими-нибудь бездельниками, так хуже будет! Ведь одиннадцать лет парню, давно пора работать.

Этот разговор сильно подействовал на Марию. Конечно, Ханс Кристиан не такой мальчик, чтоб сделать что-нибудь дурное, а все же сердце не на месте, как подумаешь, что он бегает без призора. Вот уже с Карен вышла беда: завела себе парня, который и в мыслях не имеет на ней жениться. Конечно, девчонка давно от рук отбилась, никого не признает, но соседки-то все равно осуждают мать. И за Ханса Кристиана сколько ей приходится выносить насмешек и укоров, что она вырастила бездельника… Видно, придется все-таки последовать совету тетки Катрины и доказать, что ее мальчик не хуже других.

— Я решила, сынок, что ты пойдешь на суконную фабрику, где работает соседский Кристиан! — объявила она вечером сыну. Бабушка от этого известия расстроилась до слез: никто из Андерсенов еще не опускался так низко, сказала она. Ведь на фабрике работают только дети нищих, а у Ханса Кристиана прапрабабушка была из благородных.

— Ах, матушка, мне и самой нелегко было решиться! — вздохнула Мария. — Но как понаслушалась я об этой шайке у Западных ворот, а тут еще с Карен укоров не оберешься, сами знаете… Так пусть я хоть про мальчика буду знать, где он, с кем он и что делает. Это поважнее тех денег, которые он заработает!

Ханс Кристиан долго не мог заснуть: у него перед глазами стояло мрачное здание тюрьмы, он слышал доносящиеся оттуда крики, песни и грубый смех, видел бледные лица за решетками. Ужасно подумать, что там теперь сидят знакомые мальчики, которые недавно бегали по улицам. Но самое страшное, что будто и Карен как-то причастна к воровской шайке (так он понял слова матери). А вдруг и она попадет за решетку, какой это будет позор! И давнишняя неприязнь к сводной сестре оживала в нем с новой силой.

На другое утро заплаканная бабушка отвела его на фабрику.

В грязной низкой комнате с окнами, повсюду заткнутыми тряпьем и бумагой, было душно, грохотали машины, кричали люди — с непривычки можно было оглохнуть. Здесь работали немецкие мастера и подмастерья, к ним в подручные шли оденсейские бедняки, дошедшие до крайней нищеты: не одна только бабушка Ханса Кристиана считала, что работать на

фабрике — это последнее дело. Кроме того, тюремное начальство охотно посылало сюда арестантов. Их помощниками оказывались дети девяти-двенадцати лет, получившие здесь первые жизненные уроки от воров и бандитов. Ханс Кристиан был в ужасе от доносившихся до него разговоров и грубой брани. От работы ломило руки и спину, голова кружилась от шума и духоты. Дома он сваливался без сил.

Но однажды во время перерыва он запел, и на время это выручило его: рабочим понравился чистый, звонкий голосок мальчика, ему велели вместо работы петь подряд все песни, какие он знает. Ханс Кристиан делал это с удовольствием: он всегда готов был выступать перед публикой. Когда ему надоело петь, он стал разыгрывать сцены из Гольберга и Шекспира, это тоже прошло с успехом. Но кончилось все печально: он стал жертвой грубых шуток и издевательств нескольких дюжих подмастерьев, забавлявшихся от скуки его слезами и криками и уверявших, что это вовсе не мальчик, а переодетая девчонка: и поет тоненько и плачет, как котенок мяукает. Еле вырвавшись от своих мучителей, он примчался домой. Мария согласилась не отправлять его обратно. Можно пойти на табачную фабрику, там, говорят, народ поприличнее. Теперь он помогал упаковывать нюхательный табак и, поминутно чихая, размышлял о будущем. Здесь он тоже пел и декламировал, и сочувственно слушавшие его рабочие говорили:

— Почему бы тебе не пойти в актеры?

В самом деле, почему бы и нет? Вот это будет подходящее для него дело! Он уже видел себя на ярко освещенной сцене, вот он подходит к рампе и раскланивается, а зал гремит от восторженных аплодисментов. И на работе и ночью, ворочаясь на своей скамье, он думал об этом, борясь с приступами удушливого кашля. Этот кашель испугал Марию, и она взяла его с фабрики: у мальчика слабая грудь, как у отца, он погибнет, если и дальше будет вдыхать табачную пыль! Ханс Кристиан стал мальчиком на побегушках у маляра. Здесь он подружился с маленькой служанкой Марен, доверчиво выслушивавшей его планы театральной карьеры. Правда, оказалось, что она хоть и видела здание театра, но не имела ни малейшего понятия о том, что делается внутри.

— Когда я буду играть главную роль и имя мое будет вот такими буквами напечатано на афише, я непременно пришлю тебе билет! — великодушно обещал ей Ханс Кристиан. Но тут раздался сердитый голос хозяина, и будущая знаменитость, подхватив ведерко с краской, со всех ног пустилась выполнять забытое поручение.

Однажды мальчишки во главе с его вечным врагом

Кристианом тетки Катрины загнали его на большой каштан возле церкви Св. Кнуда. «Бей сочинителя комедий!» — радостно кричали они, кидая в него камни, репейник и комья грязи. Марен выручила его: она привела своего отца, и он пригрозил озорникам палкой. Со смехом и визгом они разбежались и тут же затеяли новую игру, забыв о своей жертве. Дома Мария ахнула, увидев заплывший от огромного синяка глаз сына.

— Вот горе, — сказала она, — ведь этак искалечить недолго… Ну, вот что: ты будешь ходить в школу для бедных — там учитель за тобой присмотрит, а соседи пусть себе говорят, что хотят.

За последние годы школа для бедных сильно увеличилась, но все-таки не могла вместить всех желающих: около четырехсот детей школьного возраста не могли платить за обучение. Два учителя уже не справлялись с массой учеников, и городскому управлению пришлось раскошелиться на третьего.

К этому третьему — норвежцу Вельхавену — и попал Ханс Кристиан. Учиться было ему очень легко: Вельхавен больше всего внимания обращал на библейскую историю, а научить такую ораву прилично писать и считать считал делом безнадежным. На уроках Вельхавен говорил с воодушевлением, голубые глаза блестели на смуглом лице, голос то возвышался, то падал до шепота. Ханс Кристиан охотно подражал его патетическим жестам и интонациям, а рассказы учителя запоминал почти дословно, так что дома уроков учить ему не приходилось, можно было мечтать о славе, читать книги и заниматься кукольным театром.

Частым гостем в доме стал молодой сапожник Нильс Гундерсен. Подолгу он сидел молча на низеньком табурете и с восхищением следил за энергичной возней Марии по хозяйству, слушал ее оживленную болтовню. Сам он был человеком вялым и болезненным, и вид этой крепкой, неунывающей женщины подбодрял его и придавал сил. «Почему бы нам не пожениться?» — думал он. Тогда вместо мрачного холостяцкого жилья у него будет такая вот чистенькая, удобная комната, горячий обед на столе, аккуратно вымытые и зачиненные рубашки. Конечно, будет и этот чудной мальчишка в придачу, но ведь он уже почти взрослый, скоро пойдет работать. Право же, игра стоит свеч!

Родные не жалели слов, чтобы отговорить его. Как, посадить себе на шею бедную прачку, чуть не на двадцать лет старше его, да еще с бездельником-сыном! Но Гундерсен все эти разговоры пропускал мимо ушей: ему жить, а не им! И в конце концов сделал Марии предложение. Поколебавшись немного, она

согласилась: очень уж пугала ее мысль об одиночестве, мальчик ведь совсем вырос и скоро перестанет так нуждаться в матери, заживет своей жизнью. Свадьба была сыграна, но родня Гундерсена объявила, что на порог к себе не пустит эту нищенку, сумевшую так хитро обойти их Нильса.

Ханс Кристиан принял новое положение вещей довольно равнодушно: он в это время был по горло занят собственными делами. С помощью вездесущего Педера Юнкера, лишь на короткое время исчезнувшего после истории с воровской шайкой, он несколько раз побывал за кулисами, был в восторге от знаменитой тогда оперы «Дева Дуная» и дома без конца воспроизводил увиденное, изображая и храброго рыцаря Альбрехта, и прекрасную русалку, и целый оркестр. Теперь его старая мечта о замке приобрела реальные очертания: театр — вот этот замок, и он непременно сумеет туда войти! Ханс Кристиан почти не сомневался, что вот-вот появится могущественный покровитель, который одним словом раскроет желанные двери. Многие влиятельные люди уже интересовались им: он пел и декламировал в доме епископа Плума, у полковника Хёг-Гульдберга, одного из приближенных принца, у аптекаря Андерсена. Всюду его хвалили, даже умилялись: какой забавный и трогательный мальчик! Сын простого сапожника — и увлекается Шекспиром, как это мило!.. Да, память у него превосходная и голосок славный, из него и вправду может что-нибудь выйти.

— Как знать, может, мне еще придется гордиться, что ты мой однофамилец! — сказал аптекарь и сам засмеялся своей шутке. Однако дальше таких разговоров дело не шло. Ему совали несколько монет, предрекали возможный успех и забывали о нем, как только он выходил из комнаты. Но он упрямо продолжал надеяться: если не сегодня, то завтра уж непременно случится чудо!

Мария с Гундерсеном переселились в маленький домик на той же улице, стоявший еще ближе к берегу. Длинная грядка, обсаженная кустами смородины, вела из дома прямо к реке. Вечерами Ханс Кристиан садился на облюбованный им камень и подолгу пел, стараясь вложить в свой голос и в слова песен как можно больше чувства. И в заветном саду советника Фальбе, куда он с раннего детства мечтал проникнуть, благосклонно качали головами важные господа, вышедшие прогуляться перед ужином. На них Ханс Кристиан и возлагал надежды с тех пор, как потускнел в его воображении образ китайского принца: ведь жена советника Фальбе сама была когда-то актрисой, должна же она ему посочувствовать! Но госпожа советница торопилась прийти к

нему на помощь не больше, чем китайский принц.

А дома вопрос о будущем мальчика обсуждался все чаще, все настойчивее.

— Ты в эти дела не мешайся! — сказала как-то Мария Гундерсену. — Это мой сын, и я сама знаю, что для него лучше.

— А я и не собираюсь, — флегматично заметил Гундерсен. — Охота мне была взваливать на себя чужие заботы, да еще чтоб ругали потом, если что не так окажется…

Зато бабушка энергично защищала свое мнение: Хансу Кристиану следует стать писарем. Это такое чистое занятие, в нем есть даже что-то благородное, а ведь нельзя забывать, что ее внук не из простых, его прапрабабушка…

— Ну да, это дело известное! — перебила Мария. — Только я решила по-другому: мальчик будет портным. Чем это плохо? Взгляните, как живет портной Стегман: заказчиков хоть отбавляй — десять подмастерьев еле справляются, свой домик как игрушка, и капиталец, говорят, уже скопил немалый. Вот это как раз подойдет для Ханса Кристиана. Ведь недаром он и шить любит. Что же ты молчишь, сынок? Ты уже большой, пора тебе понимать жизнь по-серьезному, не все же играть в куклы…

Но домик, подмастерья и капиталец отнюдь не соблазняли Ханса Кристиана. Куда лучше нуждаться, даже голодать, зато попасть на сцену.

— Нет, мама, я буду актером! — решительно сказал он.

— Ты что, рехнулся? — в ужасе всплеснула руками Мария. — Да ты понимаешь, что говоришь? Ведь этих комедиантов и канатных плясунов морят голодом и пичкают деревянным маслом, чтоб они были полегче, а хозяин бьет их кнутом. Да разве для этого я тебя растила?

Напрасно он пытался объяснить разницу между ярмарочными балаганами и настоящим театром, мать и слушать его не хотела.

— Хватит болтать пустяки, — сказала она. — Не допущу я, чтобы ты был бродягой, с которым порядочные люди и разговаривать не хотят. Стирала я однажды вертихвостке из этого театра, так она улизнула не заплатив. Готовься к конфирмации, авось господин пастор за это время тебя образумит. А потом займешься делом.

Расстроенный Ханс Кристиан ушел на берег и уселся на своем любимом камне. Пение не шло на ум. Он с горечью думал, что домашняя жизнь становится тяжела. Правда, с Гундерсеном они почти не обращают внимания друг на друга, но все-таки грустно видеть совсем чужого человека на месте отца. Наверно, из-за него и мать так отдалилась. Раньше она во всем ему сочувствовала, всегда утешала и была безоговорочным авторитетом для него. А

теперь оказывается, что она многого не хочет или не может понять. Говорит, что в книгах мало проку и нечего ими зачитываться, вот отца они до чего довели! Бранит его, когда он декламирует любимые монологи, даже если он для этого забирается в торфяной сарай: люди, мол, подумают, что он не в своем уме. И в актеры запрещает идти. А ведь он любит ее, знает, как ей трудно приходится, и вовсе не хочет ее огорчать. Но уступить, пожертвовать своим волшебным замком ради домика портного Стегмана — нет, это невозможно. Как же ему быть? Конечно, чудо должно, наконец, совершиться, но долго ли его еще ждать?

Чтобы подготовиться к конфирмации, надо было записаться на занятия. Обычай требовал, чтобы дети почтенных родителей шли заниматься к пробсту — главному священнику церкви Св. Кнуда, а дети бедняков — к его помощнику, капеллану. Ханс Кристиан записался к пробсту. Здесь будут ученики латинской школы, заманчиво и недоступно выглядывавшей из-за белой изгороди на холме. Будут и вежливые, нарядные девочки с Западной и Восточной улиц.

Пробст счел дерзостью поступок сына сапожника, но отказать не решился: ведь нигде не сказано, что это запрещено, а мальчишка бывает у самого епископа. Еще пожалуется, чего доброго. И Ханс Кристиан стал ходить на занятия.

Но все вышло не так, как он надеялся. С ним не хотели знаться, разговаривали через его голову, смотрели как на пустое место. Когда он подходил, к нему поворачивались спиной.

«Что же это такое?» — недоумевал он. Ведь он отвечает на вопросы пробста не хуже, а еще и получше многих. И сколько интересных историй он мог бы им всем рассказать…

— Нечего было и лезть, — сказала мать. — Всяк сверчок знай свой шесток.

— Но, мама, ведь сам господин пробст говорит, что все равны перед богом!

— Так то перед богом, а то перед людьми, глупенький!

Но Ханс Кристиан не мог понять этой разницы и упорно ходил к пробсту, страдая от презрительных взглядов и напрасно надеясь на чудесную перемену.

Только одна девочка, Лаура Тёндер-Лунд, видимо тронутая его положением отверженного, ласково здоровалась с ним и обменивалась несколькими словами.

— После конфирмации я поеду в Копенгаген, и тетя будет меня возить на балы! — сообщила она ему однажды.

— Я тоже непременно поеду туда! — обрадовался Ханс

Кристиан. — Ведь я хочу поступить в актеры в королевский театр. Ты увидишь меня на сцене и кивнешь мне головой из зала, да?

— Может быть, — улыбнулась девочка. — Если ты будешь хорошо играть, я тебе брошу цветок, вот такой.

И она протянула ему большую белую розу, которую держала в руке.

Дома Ханс Кристиан бережно поставил цветок в стакан с водой и не выбрасывал его, пока все до одного лепестка не опали. Ведь это залог счастливого будущего, которое ему предстоит!

День конфирмации близился. Мать отдала знакомой старухе сшить мальчику нарядный костюм из старого отцовского пальто — его еще вполне можно было перелицевать! — и пошла даже на такой огромный расход, как покупка сапог. Это были первые сапоги в его жизни: до сих пор он бегал босиком или в деревянных башмаках, если не считать крохотных башмачков, которые шил ему отец из обрезков кожи, когда он только еще начинал ходить. Теперь он чувствовал себя заправским щеголем: нигде ни одной заплатки, на шее шарф из хранившегося в сундуке куска тонкого сукна, а сапоги так восхитительно скрипели, что во время конфирмации он куда больше думал о них, чем о проповеди пастора. Конечно, это был страшный грех, и он несколько раз пытался обратить свои мысли к богу, как полагается в такой день. Но ничего нельзя было поделать: сапоги не шли из головы.

Все же на вопросы пробста он ответил без запинки, дома все его поздравляли, а мать даже заплакала от радости: какой он умный, взрослый и нарядный! Вечером он долго бродил по улицам, старательно скрипя сапогами.

В домиках окраин гасли огни: свечи приходилось экономить. Только в ризнице старой церкви светилось окно. Это пробст записывал в церковные книги характеристики конфирмантов. Над фамилией Андерсена он долго ломал себе голову. Что написать? Мальчик прилежный, тихий — это так, но все же… Почему он не хотел, как ему положено, ходить к капеллану? Слишком уж он заносится, а это не годится. Церковь учит смирению, особенно бедняков. Или вот во время подготовки к конфирмации вздумал ходить по гостям, чтобы петь светские песни и разыгрывать комедии. Пришлось хорошенько разбранить его и запретить такие греховные занятия. Правда, отвечал он всегда безукоризненно. И потом, все же его приглашал к себе сам епископ Плум!..

Пробст взял отложенное перо и принялся медленно писать: «Имеет очень хорошие способности и знания в области религии. Нельзя его упрекнуть и в недостатке прилежания… — Он на миг остановился, затем решительно закончил: «Так что все же не за

что порицать его поведение».

Гордясь сознанием своей снисходительности, он перешел к следующей записи, не требовавшей никаких размышлений: речь шла о сыне почтенных людей. Ничего не зная о сомнениях пробста, Ханс Кристиан с гордой улыбкой глядел на церковь: все-таки он доказал, что у него голова не так уж плохо соображает. А ведь многие мямлили и путались, хотя пробст и делал вид, что все в порядке…

Да, вот уже будущее и придвинулось вплотную, даже жутко. Он оглядел спящие улицы, залитые луной. Никого нет, он один. Где-то недалеко, за оградой кладбища, размытый могильный холм, и там под ним единственный человек, который бы сейчас всей душой посочувствовал ему.

Последнее время он все чаще вспоминал отца. Полузабытые слова неожиданно вставали в памяти и оказывались вескими и нужными. Даже в отношениях к нечистой силе Ханс Кристиан порядком сдвинулся в его сторону. Он перестал бояться призраков и темноты. Пугавший его водяной стал представляться вовсе не страшным, а скорее смешным: бедный старик страдает ревматизмом от вечной сырости, он кряхтит и охает, а в бороде у него запутались зеленые водоросли и маленькие улитки. В этом же роде получилось и с призраком бургомистра, в который он, к ужасу матери, отказался верить.

Господин Андреас Линдвед, старый бургомистр, приказал очистить площадь от развалин церкви Серых братьев, которые всем мешали. Это было вполне разумно, но старухи возмущались и говорили о кощунстве. Тут бургомистр неожиданно умер, и, хотя в его возрасте это легко могло случиться, в городе возник слух, что он наказан богом за разрушение церкви. Потом нашлись люди, которые уверяли, что по ночам старик встает из могилы, держа почему-то голову под мышкой, и складывает стену из обломков кирпича, пытаясь искупить совершенное святотатство.

Ханс Кристиан пошел на кладбище — правда, днем, но раньше он все равно бы побоялся! — и лично удостоверился, что там нет ни малейших следов деятельности призрака.

— Что ж особенного! — возразила ему мать. — Ты подумай, много ли он может сложить один-одинешенек в темноте, да еще без головы!

Хансу Кристиану живо представились злоключения бедного призрака, с ворчанием спотыкающегося о могильные плиты: нагородили тут! Растянешься еще, чего доброго, уронишь голову, а потом ищи ее впотьмах, разве что светлячки сжалятся и посветят..

Он рассмеялся, а мать возмутилась:

— Это все у тебя от книг! Не хватает еще, чтобы и ты стал умничать! Старые люди знают, что говорят.

Чтобы не сердить ее, он прекратил спор, но в душе остался при своем мнении. Что же плохого, если человек что-нибудь узнает из книги! Ведь и с кометой тогда отец оказался прав, это еще Карстенс говорил.

Вот и теперь, когда речь идет о выборе пути, как не вспомнить слова отца: добейся своего, не бойся нужды, но учись, читай, посмотри чужие края!

Казалось, чудо действительно произошло, и Ханс Кристиан ликовал: полковник Хёг-Гульдберг обещал свести его к самому принцу Кристиану! Чего же больше? Теперь-то все и сбудется, ведь принц — это почти тот же волшебник, разве только что без мантии да без бороды. Скажет слово — и все будет по его!

Старательно вычищенный, вымытый и отутюженный матерью, мальчик с трепетом поднимался по широкой дворцовой лестнице. Внушительная фигура полковника рядом поддерживала в нем бодрость, а то бы он, пожалуй, совсем растерялся.

— Помни, что я тебе говорил, — внушал ему полковник. — Когда принц спросит, чего бы ты хотел, поклонись и скажи: ваше высочество, я хочу учиться в латинской школе.

Принц принял их ласково. Он не только был без мантии и бороды, но вообще выглядел самым обыкновенным человеком, и Ханс Кристиан заподозрил, что он просто прячет где-то свои королевские приметы, — может, бережет для торжественных случаев. Он благосклонно выслушал пение мальчика и сцены из Шекспира и Гольдберга, потрепал его по плечу и назвал молодцом. А потом спросил точно так, как предсказывал полковник:

— Чем же ты хочешь заняться в будущем?

— Господин полковник говорит, что мне надо учиться в латинской школе, и я тоже этого хочу, — ответил Ханс Кристиан и, чтобы не отступать от истины, тихо добавил:

— А еще больше я хочу играть в театре!..

И, спохватившись, неловко поклонился:

— …ваше высочество.

Но принц был не согласен с полковником: учиться — это долго и дорого, сказал он, и беднякам это не под силу. Что же касается театра, то это вообще несерьезно. Надо поскорее зарабатывать кусок хлеба, чтобы помочь родителям. А сыну ремесленника следует тоже стать ремесленником: в этом куда больше толку, чем в бесплодных попытках вырваться из своего круга.

— Ты можешь сделаться токарем, — предложил он. — Это прекрасное занятие, и если ты согласен, я тебе помогу.

Ханс Кристиан точно с облаков свалился. А как же театр, книги, мечты о славе?

— Ваше высочество, но ведь у мальчика, безусловно, есть драматическая жилка, — почтительно возразил полковник. — Как знать, может быть, в нем таится настоящий талант?

— А вы как думаете, Хольтен? — спросил принц своего секретаря. Тот критически оглядел мальчика и покачал головой.

— Я совершенно согласен с вашим высочеством. Дело это хлопотное, а результаты более чем сомнительны. Ведь жесты, манеры, произношение мальчика — все так и отдает сапожной мастерской. Конечно, ему надо стать ремесленником.

— Разумеется! — сказал принц. — Что же касается таланта, это вы далеко хватили, милейший полковник. Петь и декламировать могут очень многие. Да и нечего беспокоиться: природный талант, если он есть, разовьется и проявится сам собой, без посторонней помощи… Так вот, — заключил он, вставая, — если ты хочешь быть токарем, то я дам нужные распоряжения. Решай.

— Нет, ваше высочество, — с трудом проговорил Ханс Кристиан. — Я все-таки постараюсь стать актером.

Принц недовольно поморщился.

— Однако ваш протеже упрям, — заметил он Гульдбергу. — Боюсь, что ему придется горько пожалеть об упущенной возможности. Можешь идти, мальчик. А если передумаешь, смело приходи ко мне. Я сдержу свое обещание. Проводите его, Хольтен!

Летом 1819 года в Оденсе гастролировали копенгагенские актеры и для массовых сцен то и дело брали любителей из местного драматического общества. Хансу Кристиану тоже удавалось попасть на сцену в толпе статистов, и это было для него огромным счастьем. К бессловесной роли кучера он готовился с замиранием сердца, в вечер спектакля явился раньше всех, оделся и загримировался, когда артисты еще только начали собираться. Один из актеров, смеясь, потрепал его по плечу:

— Ого, вот так усердие! Видно, надо тебе поехать в Копенгаген: такой старательный паренек пригодится королевскому театру!

Из этой тут же забытой им шутки вырос целый лес фантазий и надежд. Ханс Кристиан окончательно убедился, что ждать в Оденсе больше нечего, а надеяться можно только на самого себя — это стало ясно после неудачи с принцем. Вне театра он уже не

мог себе представить жизни. Постоянное пребывание за кулисами нисколько не развеяло очарования сцены. На его глазах творились чудесные превращения обычных людей — часто даже вовсе не красивых и не молодых! — в статных, величественных королей и королев, блистательных рыцарей, девушек с цветами в руках, печальных и нежных, как лунный луч. Значит, и он, бедный некрасивый мальчик, может преобразиться в гордого и смелого Акселя, который говорит такие трогательные вещи своей возлюбленной Вальборг. Говорят, что писатель Эленшлегер, сочинивший про них трагедию, тоже живет в Копенгагене и всякий может его увидеть, а может быть, и поговорить с ним. В общем надо ехать в Копенгаген!

Каждый день он возобновлял атаки на мать, доказывал, умолял, плакал, и постепенно ее сопротивление слабело. Заметив это, он удвоил усилия и в один прекрасный день добился некоторых успехов.

— Все-таки у меня язык не поворачивается разрешить тебе ехать! — в сотый раз сказала она в ответ на его уговоры. — Ну что ты будешь делать один, без гроша в большом городе? Подумать страшно…

— Но я же стану знаменитым, мама! Правда, ты поверь мне! Так всегда бывает: вытерпишь ужас сколько плохого, а потом зато станешь знаменитым. Это я слышал в театре, и в книгах то же написано.

Ссылка на книги не могла убедить Марию, но она пошла на уступки и обещала сходить к гадалке. Пусть та раскинет на картах, погадает на кофейной гуще, а тогда посмотрим… Ханс Кристиан ухватился за это обещание и не давал ей покоя, пока она не отправилась в госпиталь к старухе, славившейся умением предсказывать будущее.

Наверно, гадалка сочувственно отнеслась к желанию мальчика уехать, а может быть, просто хотела польстить клиентке, расхвалив ее сына, потому что и карты и кофейная гуща напророчили юному искателю счастья ослепительное будущее.

— Цветок счастья мальчика цветет не здесь, его надо искать далеко отсюда! — бормотала старуха, вглядываясь в кофейную гущу. — Сейчас как раз наступает подходящее время для этого.

— Неужто ему вправду надо ехать? — дивилась Мария, ловившая каждое слово гадалки. — Поглядите еще, матушка, хорошенько!

— Теперь я вижу звезды, — объявила гадалка, помолчав. — Вот еще и еще… Так и вспыхивают кругом!

— Да что бы это могло означать?

— Наверно, это фейерверк. Их ведь зажигают по праздникам в честь важных особ. Так вот, не иначе, как в честь вашего мальчика будет такой фейерверк!

Мария была побеждена. Ханс Кристиан прыгал по комнате, натыкаясь то на стол, то на верстак.

— Видишь, мама, я же говорил тебе! — кричал он.

— Интересно, где это мы возьмем денег ему на дорогу? — проворчал из своего угла Гундерсен. — Даром-то ведь в Копенгаген не повезут, а своей кареты у парня вроде еще не завелось. Разве что старухины звезды предложить вместо платы…

Но оказалось, что и это препятствие преодолимо. Недаром Ханс Кристиан уже два года с железной твердостью опускал в копилку каждую монету, полученную от своих состоятельных доброжелателей. Теперь копилка была разбита, и в ней набралось целых тринадцать ригсдалеров. Эта сумма представлялась огромной и матери и сыну. Окончательное разрешение на отъезд было дано, и Мария сама договорилась с почтальоном, что он за три ригсдалера довезет мальчика до Копенгагена: он будет «слепым», то есть безбилетным пассажиром и сядет в дилижанс за воротами Оденсе, а вылезет у ворот Копенгагена.

— Я это так, только чтобы он отстал, ему разрешила, — оправдывалась Мария перед соседками. — Он ведь мне ни минуты покоя не давал. Ясное дело, что он ни в какой Копенгаген не поедет. Пусть себе прокатится до Нюборга, а там, как увидит море — сразу испугается и вернется домой. Тут-то я его и отведу, наконец, к Стегману.

6 сентября 1819 года худенький длинноногий четырнадцатилетний мальчик с узелком в руках смотрел с Фредрикоборгского холма на расстилавшийся перед ним Копенгаген.

Голова его слегка кружилась. Прямо не верится, что это он, Ханс Кристиан с улицы Монастырской мельницы, стоит здесь и смотрит на все эти башни, шпили церквей, на огромные дома… Где-то среди них должен быть и королевский театр — его замок, его заветная цель. Ему казалось, что он попал в совершенно другой мир и Оденсе где-то в недостижимой дали, а не в тридцати двух милях. Неужели только три дня назад почтальон затрубил в рог, тронулась тяжелая карета, замахали платками плачущие мать и бабушка?

На минуту он почувствовал себя таким одиноким и крошечным перед лицом большого незнакомого города, что не удержался от слез. Но они быстро высохли: не время плакать, надо действовать решительно и энергично. Сейчас он найдет

какой-нибудь постоялый двор и оставит там свой узелок, а потом — в театр, не медля ни минуты. Одет он был, по его мнению, наилучшим образом: сшитый к конфирмации костюм и сапоги — почти новые! — дополняла старая шляпа, съезжавшая до бровей. Ее он получил в подарок от аптекаря. А в кармане у него лежало рекомендательное письмо к знаменитой балерине Шалль, добытое довольно-таки необычным способом.

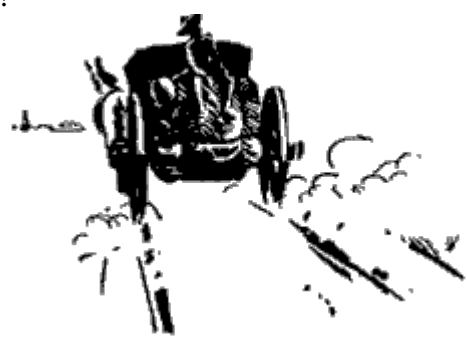
Полковник Гульдберг уехал на маневры в Гольштейн, и Ханс Кристиан, мысленно перебрав именитых граждан Оденсе, остановился на издателе газеты и владельце типографии Иверсене. Старик пользовался в городе большим уважением, известен был любовью к театру. Нечего сомневаться, что его рекомендация и в Копенгагене будет иметь вес!

Правда, Ханс Кристиан не был знаком с Иверсеном, но в таких крайних обстоятельствах этим можно было пренебречь. Он явился в усадьбу Иверсена «Маркин холм», смело прошел по длинной тополевой аллее, идущей вдоль оденсейского канала, мимо деревянной пушки и деревянных гренадеров, поставленных на берегу возле игрушечной вахты, отдал глубокий поклон веселым девочкам, внучкам Иверсена, игравшим в саду, а затем старый слуга провел его прямо в кабинет к хозяину. Тот с удивлением выслушал просьбу незнакомого мальчика, попытался отговорить его от рискованного путешествия, но Ханс Кристиан с убеждением ответил, что это был бы очень большой грех — отказаться следовать своему призванию. Старик улыбнулся и взялся за перо. Правда, он не был знаком с балериной, но Ханс Кристиан уверил его, что это не имеет значения.

— Все-таки я уверен, что мадам Шалль о вас слыхала, — сказал он. — Ведь вас все знают!

И вот плотный конверт, надписанный твердым изящным почерком, у него в руках. Теперь он не сомневался в успехе, ведь знаменитой балерине достаточно сказать несколько слов, чтоб ее протеже немедленно приняли в актеры!

Все продумано, не надо тревожиться, как бы то ни было, а он добьется своего!



ГЛАВА III
ПОИСКИ ВОЛШЕБНОЙ ЛАМПЫ

Копенгаген, насчитывавший тогда до ста тысяч жителей, должен был показаться огромным пришельцу из Оденсе. Но по сравнению с Лондоном или Парижем датская столица выглядела тихой провинцией, сохранявшей живописный средневековый облик и обычаи старины.

Под мелодичный перезвон колоколов на многочисленных древних башнях (Копенгаген так и называли — «город башен») проходили вечерами по улицам ночные сторожа с лесенками и зажигали заправленные ворванью фонари, служившие уже добрую сотню лет. Ровно в полночь запирались городские ворота, а ключи от них хранились во дворце. Пожелавшим войти в Копенгаген или выйти из него без ведома самого короля пришлось бы карабкаться через высокий вал, окружавший город, а это было не так-то легко. Если в городе случался пожар, король Фредерик скакал на своем белом коне к месту происшествия и лично отдавал нужные распоряжения. Из него, несомненно, вышел бы хороший брандмейстер, но, к сожалению, судьба распорядилась иначе.

Слабоумный король Кристиан VII, наконец, умер, и после окончания войны Фредерик мог торжественно надеть корону, давно ему фактически принадлежавшую.

После этого он еще больше — если это только было возможно — укрепился в отношении к стране как к своей усадьбе. Подобно заботливому помещику, он лично входил в мельчайшие детали, и это было бы еще ничего, но беда в том, что «большую политику» он тоже упорно делал сам, несмотря на все неудачи. В 1813 году ему представлялась возможность разорвать союз с Францией и примкнуть к антинаполеоновской коалиции, но он, пренебрегши советами приближенных, отказался от этого, хотя было совершенно очевидно, что мощь Наполеона рухнула под ударами русских войск и конец его владычества близок.

Уже через год Фредерик пожинал плоды своего упрямства, подписывая Кильский мир, по которому Дания теряла Норвегию, а вместе с ней примерно четыре пятых своей территории и миллион жителей из двух с половиной миллионов. Норвегия перешла под власть Швеции, и торговля с ней стала невыгодной из-за таможенных пошлин, а для тяжело пострадавшей от войны датской экономики это был еще один удар. Датские государственные деятели понимали, что нужно принимать срочные меры, чтобы страна могла выйти из сельскохозяйственного, торгового и финансового кризиса. Для этого следовало как-то обуздать не в меру ретивого монарха, и под их давлением Фредерик возобновил замершую было деятельность государственного совета и коллегий.

Но об ограничении своей абсолютной власти он и слышать не хотел. Даже робкая просьба отменить введенную им строгую цензуру показалась ему просто неприличной.

«Мы не ожидали, что кто-нибудь из наших дорогих подданных попросит нас не ограничивать свободу печати», — обиженно ответил он и далее разъяснил почему: его отеческое внимание и без того целиком направлено на то, чтобы обеспечить все нужное для блага государства и народа, а о том, что полезно и что вредно, судить в состоянии только король.

И все же патриархальные традиции были так сильны, а политическая жизнь так неразвита, что даже в послевоенные тяжелые годы, когда уныние сменило волну национального подъема 1801–1813 годов, в глазах народа Фредерик ухитрился сохранить ореол доброго короля. Прежде всего в памяти датчан его имя прочно связывалось с реформами 80-х годов XVIII века, давшими свободу крестьянам, хотя, в сущности, роль семнадцатилетнего принца сводилась тогда к тому, что он просто не мешал их проведению. Кроме того, людей подкупал его облик патриархального бюргера, образцового семьянина, благочестивого и бережливого, ведущего скромный образ жизни, простого и добродушного в обращении.

За умиленными рассказами о том, как король со своей семьей гуляет пешком, из собственного кошелька помогает беднякам или заходит в крестьянскую хижину запросто потолковать с хозяевами, как-то забывалось, что именно по милости этого самого короля страна терпит горе и нужду.

Под господством абсолютизма общественная жизнь Копенгагена пребывала в спячке. Интересы общества были сосредоточены на узко литературных, театральных и бытовых новостях. И в светских гостиных ив мещанском кругу за чашкой чаю, кроме придворных сплетен, предметом оживленного обсуждения служили достоинства и недостатки какой-нибудь балерины или актера, успех или провал новой пьесы. Имена певца Сибони, балерины Шалль или актера Линдгрена были знакомы каждому.

Копенгагенский театр и балет действительно имели в своем составе немало блестящих исполнителей. Но на сцене царили немецкие мелодрамы (часто довольно-таки низкопробные) и эффектные «костюмные» оперы и балеты, большей частью переводные. Правда, от XVIII века в наследство театру остались прекрасные комедии Гольберга, но они не могли заполнить пробел в национальном репертуаре. Очень большую роль в развитии датского театра сыграло появление молодого поэта и драматурга Эленшлегера, трагедии которого еще в первое десятилетие XIX века несколько потеснили иностранные пьесы.

Мытарства первых дней подействовали на Ханса Кристиана ошеломляюще. Все было совсем не так, как мечталось в Оденсе. Напрасно он демонстрировал свои таланты перед балериной Шалль: сняв сапоги для легкости и заменив бубен шляпой, танцевал и пел, изображая Сандрильону. Маленькая полнеющая женщина смотрела на него усталыми светлыми глазами, в которых было слегка презрительное недоумение. Нет, нет, она ничем не может помочь ему! — оборвала она на полуслове поток его просьб и доказательств. Разве что иной раз покормить его на кухне — это все. Похоже было, что она просто приняла его за сумасшедшего нищего. Не привел ни к чему и визит к директору театра: камергер Хольстейн, важный, осанистый господин, тоже не проявил интереса к юному кандидату в актеры.

— Вы слишком худы, и вообще у вас совершенно не театральная внешность, — свысока уронил он, смерив взглядом долговязого мальчика, похожего на молодого аиста. Ханс Кристиан настаивал: может быть, ему можно поступить в балетную школу? Он будет так стараться! А что касается худобы, то если господин директор назначит ему хорошее жалованье —

ригсдалеров сто! — то он живо растолстеет!

Это предложение не встретило отклика. Напротив, директор подозрительно посмотрел на странного просителя: уж не насмехается ли тот над ним? Это было бы слишком!

— Приема в балетную школу не будет до мая! — сухо сказал он, дотрагиваясь до колокольчика в знак того, что разговор окончен.

Ханс Кристиан пытался еще что-то сказать, но директор уже углубился в свои бумаги и не обращал на него внимания. Ничего не поделаешь, надо уходить… В мае, сказал он, в мае! А сейчас только сентябрь…

Десять ригсдалеров, казавшиеся в Оденсе целым состоянием, таяли, как весенний снег. На одну из последних монет он купил билет в театр — будь что будет! Шла опера «Поль и Виргиния». На сцене — огромной, прекрасной и недоступной — несчастные влюбленные оплакивали свою разлуку в жалобных ариях. Рядом жевали бутерброды и растроганно ахали завсегдатаи галереи. Ханс Кристиан расплакался: злоключения гонимого судьбой Поля живо напомнили ему собственные невзгоды. Толстая добродушная соседка в огромном чепце старалась его утешить: ведь актеры только изображают, что они страдают или умирают, а на самом деле они живехоньки! Для пущего ободрения она сунула ему пухлый бутерброд, и он съел его, обливаясь слезами. А потом взволнованным шепотом поведал доброй фру всю свою жизнь и теперешнее отчаянное положение.

— Я так же страдаю, как Поль! — объяснил он. — У него отняли Виргинию, у меня тоже…

— Неужели? — удивилась соседка. — Ведь вы еще так молоды…

— Нет, нет, я не в этом смысле… Театр — вот моя Виргиния!

— Ах, так! Ну, не отчаивайтесь, может быть, все еще уладится, — сочувственно отозвалась добрая женщина и протянула ему сладкий пирог: больше она ничего не могла для него сделать.

Теплое участие и неожиданное угощение вызвали у него новый прилив мужества. Но куда же еще идти и что предпринять? Кажется, все возможности исчерпаны…

В поисках доброго совета он отправился к своей спутнице по дилижансу, мадам Германсен. Она встретила его приветливо, выслушала горестный рассказ и посоветовала немедленно возвратиться в Оденсе, обещая снабдить едой на дорогу.

Это предложение потрясло его. Вернуться? Признать, что все были правы, что нечего сыну сапожника метить слишком высоко? Выносить обидные слова, насмешки, косые взгляды? Нет, лучше

умереть!

— Ну, тогда наймитесь к какому-нибудь мастеру здесь, в Копенгагене, — предложила мадам Германсен. — Вот вам деньги, купите газету с объявлениями, и мы выберем что-нибудь подходящее!

Да, по-видимому, больше ничего не оставалось.

Столяр Мадсен, к которому он отправился, охотно согласился взять его в ученики. Контракт, как полагается, на девять лет.

— Будешь сыт и одет, паренек, а через девять лет сделаешь пробную работу — и сам себе господин. Чем это плохо?

На это Ханс Кристиан мог бы кое-что ответить, но он был совершенно подавлен и, против обыкновения, не стал рассказывать столяру о своих мечтах и надеждах. Значит, на девять лет…

В мастерской его встретили неприязненно: это что еще за птица? Сразу видать, нездешний: говор не такой. А, с Фюна! Что, все там такие неуклюжие? А вид-то какой похоронный, просто смех! Насмешки, прибаутки, обидные предположения сыпались со всех сторон. Рубанок не слушался неумелых рук. Доски падали, норовя побольнее отдавить ногу. Но все это были пустяки по сравнению с главным. Еще бы ему не иметь похоронного вида! Ведь он хоронит свою Виргинию, своими руками разбивает свой заветный хрустальный замок… Все кончено, все потеряно… Неужели все? А может быть, это просто слабость? Как он убеждал мать: чтобы стать знаменитым, надо вынести ужас сколько несчастий! Ну вот, несчастья и начались — все правильно. Но вместе того чтобы дождаться их конца, он струсил и отступил. Уж, наверно, не меньше месяца или двух надо потерпеть, а тут всего несколько дней прошло!

К концу дня он явился к хозяину и сообщил, что раздумал заключать контракт.

— Что так быстро? — удивился Мадсен. — Или мои ребята очень уж тебя обижали? Так это же всегда так на первых порах, пока не привыкнут к новичку. А там все пойдет как по маслу.

Но Ханс Кристиан был тверд: нет, нет, не в этом дело, он очень благодарен за сочувствие, но никак не может остаться.

— Не сердитесь, господин Мадсен! Спасибо вам, всего хорошего.

Удивленный столяр долго смотрел ему вслед: чудак, ничего не скажешь. Ну, пусть себе поищет места по нраву! Скоро узнает, что у других хозяев бывает куда хуже…

А Ханс Кристиан был уже далеко: он мчался по улицам, окрыленный новым планом. Мастерская напомнила ему оденсейскую фабрику и то, как звонко он пел там, легко

перекрывая шум вокруг. Голос, ведь у него есть голос! Ясное дело, с этим не к балерине надо было идти. В оденсейской газете недавно писали про известного певца… как его звали? Да, Сибони, Джузеппе Сибони! К нему-то он и отправится, не теряя ни минуты. Только забежать в театр, узнать адрес — и в путь!

В комфортабельной гостиной профессора Сибони, итальянской знаменитости, приехавшей покорять Копенгаген, собралось оживленное общество. Имена многих гостей были широко известны в Дании: композитор Вейсе, создатель датской национальной оперы, поэт Баггесен, о споре которого с Эленшлегером много говорили в то время.

После хорошего обеда с множеством тонких вин все были настроены благодушно. Сибони, усиленно жестикулируя и сверкая черными глазами, разразился было длинной речью о достоинствах итальянской оперы, но его перебила вошедшая экономка. Отозвав хозяина в сторону, она рассказала ему, что в прихожей ждет проситель… Да, конечно, сейчас не время, она это понимает. Но мальчик такой забавный, и жалко его тоже… Он ей рассказал всю свою жизнь. Говорит, что хорошо поет, так, может, господам было бы интересно его послушать?

— Поет? Вот как, значит мой коллега! — пошутил Сибони. — Ну что же, если гости не возражают…

— Что за мальчик? — заинтересовался Вейсе. — Из Оденсе, сын сапожника? И голос хороший? А, это стоит послушать! Я вот тоже когда-то пришел в Копенгаген без гроша в кармане в поисках счастья…

Любопытствующие гости во главе с Сибони потянулись за экономкой в прихожую. За дверями стоял, теребя шляпу, видавшую лучшие дни, длинноносый подросток с напряженным, страдальческим лицом.

— Не бойся! Не бойся! Иди сюда! — закивал ему Сибони. Он говорил по-немецки, и мальчик не понял слов, но жесты были достаточно выразительны. Незваного гостя привели в комнату, где стоял рояль, общество расселось и приготовилось слушать. Все были довольны неожиданным развлечением. Сибони откинул крышку инструмента.

— Что же ты хочешь нам спеть? — спросил он.

— Господин Сибони спрашивает, какую песню ты знаешь! — перевел Вейсе, поняв недоуменный взгляд мальчика. Тот сразу оживился и похорошел от ясной доверчивой улыбки.

— О, я знаю много-много песен! Я даже арии из опер умею петь! Из «Сандрильоны», из «Деревенской любви» — «Никогда другая дева…»

— Ну, вот эту и спой! — решил Вейсе и назвал арию Сибони. Тот кивнул головой и ударил по клавишам.

Сначала голос мальчика звучал прерывисто, непривычный аккомпанемент казался ему помехой. Но скоро дело пошло на лад, и чистые струйки высокого альта свободно разлились по комнате. Слушатели одобрительно кивали в такт пению: что вы думаете, а ведь у малыша и вправду неплохой голосок!

Юного дебютанта осыпали похвалами. Он заикнулся о желании декламировать — и это было встречено с одобрением. В чувствительных местах его голос дрожал и на глазах выступали слезы. Все были окончательно растроганы.

— Я предсказываю, господа, что из мальчика впоследствии выйдет толк! — торжественно сказал Баггесен.

— Но для этого хорошо бы ему помочь, — вставил Вейсе, — голос у него необработанный, ему надо долго учиться…

— Я буду его учить! — воскликнул легко воспламенявшийся Сибони. — Да! Джузеппе Сибони всегда готов прийти на помощь истинному любителю муз! И какая-нибудь старая одежда и обед — все это найдется. Решено!

Вейсе перевел слова Сибони, и «любитель муз», ошалевший от свалившегося счастья, забормотал несвязные слова благодарности. Он пошатывался от волнения, усталости и голода.

— А что, наверно, неплохо бы нашего найденыша подкормить? — проницательно заметил Вейсе.

— О, разумеется! — И Сибони подозвал стоявшую у двери экономку.

— Устройте мальчику настоящий пир! — распорядился он. — Своим талантом он заслужил это.

Сопровождаемый улыбками, кивками и добрыми пожеланиям«, Ханс Кристиан отправился за экономкой на кухню. Да, вот так удача! О такой он и мечтать не смел. Теперь уже не страшно, что в кармане у него осталось всего четыре скиллинга.

А в гостиной догадливый Вейсе устранял и это затруднение. Пользуясь общим настроением, он устроил в пользу мальчика подписку, и гости охотно раскошеливались. Набралось семьдесят ригсдалеров; при экономном расходовании этого могло хватить на несколько месяцев. Начало было обеспечено.

Через несколько дней в Оденсе обсуждалась удивительная новость: подумать только, ведь сыну сапожниковой Марии и вправду привалило счастье в большом городе! Только надолго ли?

Большие афиши объявляли копенгагенцам, что 12 апреля 1821 года состоится премьера балета «Армида». Знатоки

предрекали успех, и билеты брались нарасхват. Сама мадам Шалль будет танцевать Армиду, в числе ее партнеров солист Дален — о, это первоклассный танцор, хотя и отяжелел немножко за последние годы… Но этот балет он сам готовил, и в массовых сценах примут участие его ученики и ученицы из балетной школы. Маленькая Лина Шалль танцует Амура — это ее первая большая работа, а девочка, кажется, много обещает в будущем…

Все эти разговоры повторялись в городе на разные лады. Но никому не приходило в голову обратить внимание на то, кто будет танцевать седьмого из восьми троллей, участвующих в балете. Только самого исполнителя это чрезвычайно волновало. Он не мог наглядеться на афишу и показывал ее всем знакомым. Ведь там черным по белому была напечатана его фамилия: седьмой тролль — Андерсен! Разве это не шаг на пути к славе? Квартирная хозяйка, сухопарая, желтолицая вдова, кисло поинтересовалась, сколько он за это получит. Бог мой, конечно, ничего, кто же платит ученикам? Честь важна, а не деньги! Наконец-то он спокойно, на законном основании выйдет на сцену королевского театра. До сих пор это удавалось лишь в тех случаях, когда требовалась толпа для заполнения сцены. Да и то приходилось держаться в самой глубине, подальше от света рампы, иначе слишком заметны были бы бесконечные заплатки и побелевшие швы на обветшавшем конфирмационном костюме…

Среди учеников балетной школы Ханс Кристиан существовал, что называется, на птичьих правах.

Еще осенью 1820 года он получил из театра бумагу с сообщением, что дирекция считает своим долгом отсоветовать ему пробовать свои силы в какой бы то ни было области театральной деятельности.

Все это произошло после того, как Сибони отказался держать его у себя и давать уроки. Полгода длились их занятия: Ханс Кристиан покорно выносил вспыльчивый нрав своего учителя (впрочем, громовые раскаты итальянских и немецких проклятий обычно относились не к нему, к тому же вспышки Сибони кончались быстро), пел скучные гаммы и учил нотную грамоту. Про себя он не раз думал, что проще было бы прямо выйти на сцену и запеть, но все вокруг считали, что надо долго и кропотливо учить разные вещи. Ну что ж, надо так надо! Все любили его в доме Сибони, он был сыт, донашивал кое-какое старье из одежды итальянца, изредка декламировал перед его гостями — словом, лучшего, по его мнению, трудно было желать. Но весной у мальчика неожиданно пропал голос. Тут сказались и переходный возраст и рваные сапоги, в которых он месил снег и грязь.

Ужас охватил Ханса Кристиана. Он отчаянно цеплялся за надежду, что это пройдет, что вот на следующее утро голос непременно вернется. Но этого не случилось, да и Сибони не хотел ждать. В эту весну у него было полно неприятностей: копенгагенцы, не привыкшие к итальянской опере, освистали его в роли Ахилла, его лучшей, коронной роли! Это вывело бы из равновесия и более спокойного человека. Домой он приходил мрачным как туча, и вид вертевшегося вокруг мальчишки еще более портил ему настроение. Видит бог, он, Сибони, сделал все, что обещал! Но голос-то пропал — ничего тут не поделаешь, один хрип остался, слушать противно. То ли дело его новая ученица, маленькая Ида Вульф! Красотка девочка с огоньком в глазах, а голосок — лучше и в Италии найти трудно… В конце концов он категорически заявил мальчику, что нечего ему больше приходить сюда. Пусть возвращается в Оденсе и берется за ремесло — не всем же быть певцами!..

От этих слов фундамент хрустального замка, казавшийся уже таким прочным, рассыпался в прах. Все надо было начинать сначала. Как назло, и деньги, собранные Вейсе, подошли к концу.

Ханс Кристиан сумел найти новых покровителей: танцора Далена, старую фру Юргенсен, мать известного копенгагенского часовщика, и поэта Гульдберга, брата оденсейского полковника. Все они старались что-нибудь сделать для него. Фру Юргенсен отдала ему старое пальто с настоящим лисьим воротником, которым он очень гордился, Дален разрешил посещать балетную школу, а Гульдберг обеспечил деньгами, устроил бесплатные уроки латыни да еще сам занимался с ним датским и немецким языками. Правду сказать, этими занятиями Ханс Кристиан частенько пренебрегал: негде было готовиться, да и театр отнимал слишком много времени и сил. Теперь он мог смотреть все спектакли из-за кулис или из лож фигуранток: маленькие балерины смеялись над ним и дразнили его, но он не обращал на это внимания. А репетиции «Армиды»! Он готовился к ним целыми часами, старательно выламывая у станка свои длинные ноги.

И вот пожалуйста! Выходит, что он старался недаром. Наступил, наконец, вечер его торжества.

Радости Ханса Кристиана не омрачило даже то, что ему досталось самое ветхое трико. С замирающим сердцем он стоял за кулисами и ждал минуты выхода. Рядом с ним хихикали и перешептывались девочки, изображавшие свиту Амура. В центре кружка была хорошенькая темноволосая Ханна Пэтгес, считавшаяся одной из самых талантливых учениц балетной школы.

— Андерсен, вы, кажется, восьмой тролль? Самый последний? — окликнула мальчика одна из маленьких балерин.

— Нет, что вы, — живо откликнулся сияющий Ханс Кристиан. — Я седьмой, а восьмой Вильгельм. Вы же видели афишу!

— Андерсен, а у вас трико на спине вот-вот лопнет. То-то будет потеха!

Обеспокоенный мальчик попытался, глядя через плечо, установить размеры опасности, и тут озорница кольнула его в бок булавкой.

Еле сдержав крик, седьмой тролль укоризненно поглядел на свою обидчицу. Вот и на последней репетиции она наступила ему сзади на ногу и запачкала чулок. Ясно теперь, что это было нарочно! Ну что он ей сделал плохого? Правду говорят, что путь актера усыпан не только розами, но и терниями…

— Уймитесь, наконец, девочки! — возмутилась Ханна. — Подумайте, ведь нам скоро на сцену. Если мы осрамимся, то monsieur Дален ужасно огорчится… — Слова Ханны подействовали, и девочки притихли, прислушиваясь к звукам музыки.

Все выходы прошли как нельзя лучше, и когда занавес упал, Ханс Кристиан со счастливой улыбкой прислушался к долгим аплодисментам. Хоть крохотная доля их, да принадлежит же и ему!

В этот вечер он заснул поздно и во сне слышал плавную музыку, видел прекрасную волшебницу Армиду — только она была больше похожа на Ханну, чем на мадам Шалль! — а в руке его так и осталась зажатой драгоценная афиша с фамилией «Андерсен» в списке троллей.

Придвинувшись поближе к окошку, Ханс Кристиан углубился в книгу. Рядом кричали и возились ребятишки, его новая хозяйка хлопала дверьми и ворчала что-то о задержанной квартирной плате, но все это не доходило до его сознания. Пропало даже чувство голода, хотя ни вчера, ни сегодня ему не удалось пообедать. Все это оставалось где-то позади, за воротами разноцветного, сияющего мира, который открывался на каждой странице. Книги утешали и поддерживали его всю эту трудную зиму. Иногда они даже заслоняли театр, где ему время от времени удавалось выйти на сцену в хоре пастухов или воинов.

Он подружился с университетским библиотекарем Нюропом и получил свободный доступ к полкам. Глаза разбегались при виде множества толстых томов. Выбрав два-три из них, он уходил, утешая себя, что завтра придет опять; он глотал книги с

молниеносной быстротой. Он перечитывал Шекспира в новых переводах Петера Вульфа. Вальтер Скотт, его новый любимец, разворачивал перед ним вереницы живописных образов, увлекательных событий минувших времен.

А история датской литературы предыдущего двадцатилетия раскрывалась перед ним не только в книгах. Он знакомился с людьми, имена которых привлекали его на обложках, слушал разговоры в гостиных, споры, воспоминания. И здесь в центре всего стояла высокая фигура красивого голубоглазого человека, автора прославленных в Дании трагедий, Адама Эленшлегера. Его называли «солнцем датской литературы», и Ханс Кристиан преклонялся перед ним, плакал над его трагедиями, твердил наизусть его стихи.

А ведь двадцать лет назад Эленшлегер был ничем не замечательным молодым человеком, и близкие упрекали его за легкомыслие: он не хотел становиться адвокатом или коммерсантом.

Однажды, когда цвет копенгагенской интеллигенции собрался у молодого физика Эрстеда, только что получившего тогда докторскую степень, двадцатилетний Адам Эленшлегер молча слушал разговоры об упадке датской литературы. И вдруг, вспыхнув, ударил кулаком по столу:

— Да, опустилась наша литература! Но черт меня побери, если я ее не подниму!

Эти слова были сочтены неуместной похвальбой, и Эленшлегера иронически называли «человеком скрытого таланта». Но вскоре этот скрытый талант действительно проявился и завоевал общее признание.

Героическая защита Копенгагена от английских кораблей в апреле 1801 года вызвала волну патриотического воодушевления. Впечатлительный Эленшлегер с большой силой пережил это событие.

«Это был день счастья для меня и для Дании, — говорил он впоследствии о битве на рейде. — Какое-то божественное дуновение пронеслось над Копенгагеном, мелочный бюргерский дух уступил место общенациональному стремлению защитить отечество от врагов, несмотря на их численное превосходство». Великие исторические события, напряженная борьба страстей, сильные, суровые характеры героев — вот о чем хотелось писать Эленшлегеру. И он обратился к величественным, поэтическим образам скандинавского эпоса, к сюжетам народных баллад и исторических хроник.

В 1803 году датское общество заговорило о молодом поэте, авторе стихотворения «Золотые рога». Это было начало весны

датского романтизма. «Гром пушек битвы на рейде разбудил датскую музу», — говорили тогда. Одна за другой появлялись и завоевывали славу трагедии Эленшлегера. Он изображал в них свободолюбивого охотника Пальнатоке — его называли «датским Вильгельмом Теллем». Стрелы Пальнатоке били без промаха, и одна из них поразила жестокого трусливого короля Гаральда, который вместе с католическим епископом угнетал Данию.

В трагедии «Аксель и Вальборг», знакомой Хансу Кристиану еще в Оденсе, нежная, возвышенная любовь героев противопоставлялась происках коварных монахов, жестокому произволу короля.

Любимыми писателями Эленшлегера были Гёте и Шиллер, их драмы больше всего вдохновляли датского поэта. Он далек был от преклонения перед рыцарями и монахами далеких времен, от мистики, свойственной некоторым немецким романтикам. Но с ними его сближало отношение к поэту как к «наивному гению», близкому к природе, следующему голосу непосредственного чувства, отдающегося потоку вдохновения. В пьесе-сказке «Аладдин и волшебная лампа» изображалось торжество чувства над сухим рассудком. Мечтательный, жизнерадостный и простодушный «сын природы» Аладдин становился владельцем волшебной лампы — поэзии, несмотря на все происки расчетливого, хитрого волшебника Нуреддина, пытавшегося завладеть этим сокровищем. Ни одно из произведений Эленшлегера не было так близко и понятно Хансу Кристиану, как история Аладдина.

Бедная комнатка портного, пестрые мечты босоногого мальчика, его игры на узких уличках окраины, заботливая мать, которая хочет пристроить своего любимца Аладдина в ученики к сапожнику… Право, можно было бы подумать, что Эленшлегер тайком побывал на улице Монастырской мельницы в Оденсе и там увидел все это, если б драма не была написана в 1805 году. Но какое удивительное совпадение: ведь именно в этом году Ханс Кристиан родился! Нет сомнения: он настоящий Аладдин, хотя никто пока еще не подозревает об этом. Эленшлегер нашел свою волшебную лампу — и вся Дания дивится ее яркому свету, а вслед за ним найдет ее и Ханс Кристиан Андерсен! Он бесстрашно спустится за ней в темное подземелье и выдержит все неизбежные испытания и невзгоды… Тогда сам великий Эленшлегер улыбнется ему и пожмет руку как своему достойному собрату!

Страстное увлечение Эленшлегером поддерживалось и тем, что почти все новые знакомые и покровители Ханса Кристиана принадлежали к кругу, близкому знаменитому поэту. Ханс

Кристиан стал бывать у добродушного, приветливого поэта Ингемана, считавшегося последователем Эленшлегера. Ингеман в те времена тоже писал трагедии, которые Ханс Кристиан охотно читал, в своем увлечении не замечая их недостатков.

Так называемые «ученики» Эленшлегера — Ингеман, Гаух — не могли создать сильных, значительных произведений: на них пагубно отразилась эпоха упадка и застоя, пережитая датским обществом после неудачной войны. Гордые и сильные, смелые герои трагедий Эленшлегера сменились у них религиозными мечтателями, битвы суровых викингов — рыцарскими турнирами и серенадами в честь «прекрасных дам». Оба они стремились уйти в царство религии и фантазии от «грубой действительности». И, защищая теорию «наивного гения», они вносили в нее свой смысл, отличный от эленшлегеровского.

В 1816 году произведения Ингемана подверглись остроумной критике молодого поэта Иохана Людвига Гейберга. Герои Ингемана — не живые люди, а какая-то смесь слез, вздохов, туманов и лунных лучей, говорил он. Кому нужны такие сентиментальные, вялые, унылые трагедии, где платонические влюбленные медленно умирают от нервной лихорадки, сходят с ума или кончают самоубийством, встают, походят немного и снова кончают самоубийством… Удар был меткий, но Ингеман уклонился от полемики. За него вступился суровый, раздражительный Грунтвиг, пастор и поэт, который подобно Ингеману отличался страстной религиозностью и преклонением перед прошлым.

Сам король Фредерик VI был недоволен Гейбергом. Когда-то он приговорил к изгнанию отца молодого поэта, Петера Андреаса Гейберга, осмелившегося резко критиковать не только чиновничество, но и абсолютизм. Теперь король подозрительно косился на пародии молодого Гейберга: мальчишка уже позволяет себе насмешки над святыми патриархами, а там, глядишь, и вовсе пойдет по стопам отца! По поручению Фредерика VI один из министров прочел Гейбергу соответствующую нотацию, но «мальчишка» отнесся к ней иронически и полемику с Грунтвигом продолжал. Вскоре он на несколько лет уехал из Дании.

Упоминания о Гейберге Ханс Кристиан слышал в доме поэта Раабека, куда ему удалось попасть. Фру Камма Раабек, умная, энергичная женщина, в гостиной которой собирались поэты, художники и музыканты, несколько лет воспитывала Иохана Людвига после ссылки его отца. Но критическим выпадам Гейберга у Раабеков не сочувствовали: и фру Камма и ее муж любили устоявшиеся мнения, признанные авторитеты.

Впрочем, самому Эленшлегеру не удалось избежать нападок.

Несколько лет его ожесточенно атаковал сатирик Баггесен, страстный противник романтизма и поклонник французской литературы XVIII века.

Баггесен обвинял романтиков в неуважении к логике, к грамматике, к традиционным правилам, в, приверженности к «южной фантазии», противной «северному здравому смыслу». Он написал несколько стихотворных памфлетов и пародийную драму, где изображался сумасшедший дом, обитатели которого возомнили себя поэтами и драматургами, — конечно, и Эленшлегер был в их числе.

У Баггесена нашлись сторонники, тоже приверженные к правилам классицизма, к господству логики над фантазией. Но сочувствие большинства было на стороне Эленшлегера, создателя датской национальной трагедии.

Конечно, и Ханс Кристиан, узнав о споре Баггесена и Эленшлегера, встал на сторону творца «Аладдина».

Чем дальше, тем сильнее увлекался Ханс Кристиан литературой. Он стал писать стихи о своей любви к театру и посылал их влиятельным людям, особенно тем, к которым не решался обратиться лично: известному своей суровостью Грунтвигу, строгому Коллину, новому члену театральной дирекции. Одно из стихотворений было посвящено обожаемому Эленшлегеру. В нем Ханс Кристиан пророчил поэту бессмертную славу.

Вкруг твоей урны гробовой
Венок дубовый обовьется, —

восторженно писал он. Может быть, напоминание об урне было и не очень-то уместным, но Эленшлегер все же принял стихи благосклонно.

Однако эти поэтические опыты Ханс Кристиан сам не принимал всерьез: они были для него средством, а не целью. Другое дело, если бы удалось написать трагедию…

Наконец он сделал такую попытку. Гордый своим творением, он помчался с ним к фру Камме Раабек, жене поэта. Она согласилась его выслушать, но уже через несколько минут остановила разошедшегося чтеца:

— Бог с вами, Андерсен, ведь тут у вас целые отрывки из Эленшлегера и Ингемана!

Ханса Кристиана очень удивило это замечание: ну, конечно, так что же из этого? Они так хорошо пишут, Эленшлегер и Ингеман! Он сам пока еще не может придумать лучше. Воспитанному на народном творчестве, где сказка или песня

являются общим достоянием, ему это казалось совершенно естественным. Но фру Камма разъяснила ему, что так делать не годится, надо сочинять самому, а не пользоваться чужими трудами. И все-таки после этого — пусть даже в шутку — она назвала его поэтом. Это потрясло его до глубины души. «Поэт!» — впервые он услышал это слово от старушек Бункефлод, произносивших его с благоговейным трепетом. «Мой брат — поэт!» — говорила одна. «Мой муж — поэт!» — как эхо, отзывалась другая, и на их поблекших щеках выступал слабый румянец. Обожаемый Эленшлегер был поэтом. Поэт выше артиста — он сочиняет слова, которым аплодирует публика, а артист их только передает. И все чаще Ханс Кристиан думал, что, может быть, его волшебная лампа — это все-таки поэзия… Непременно надо написать еще одну трагедию и завоевать право на имя Аладдина!

Был сырой вьюжный март с неожиданными оттепелями, толпами облаков, несущимися по бледному небу, резким морским ветром, швыряющим за воротник горсти мокрого снега. Прохожие зябко ежились и проклинали непостоянство копенгагенского климата. Но Ханс Кристиан находил погоду чудесной. Смотрите-ка, пока он две недели сидел взаперти, зима кончилась! Какие причудливые формы принимают облака, как свежо пахнет морем и талым снегом, а что до холода, то его не чувствуешь, если у тебя в кармане лежит только что законченная трагедия, которая, несомненно, прославит твое имя. Недаром же на ее создание ушло целых четырнадцать дней. Это была уже вторая попытка схватит ускользающую ручку волшебной лампы. Первая — трагедия «Лесная часовня» — целый месяц казалась ему прекрасной, но потом он ясно увидел ее недостатки. Теперь он согласился, что, пожалуй, Гульдберг был прав, когда запретил посылать ее в театр. Но «Виссенбергские разбойники» — это совсем другое дело! Уж они-то вполне могут рассчитывать на постановку в королевском театре. На всякий случай он решил это свое мнение Гульдбергу пока не сообщать, а поделиться им со своей юной приятельницей, фрекен Лаурой Тёндер-Лунд, той самой девочкой, которая подарила ему розу во время подготовки к конфирмации. Он нашел ее в Копенгагене, и она сразу приняла в нем горячее участие и постаралась заинтересовать его судьбой своих знатных родственников. К ней он и спешил теперь с готовой рукописью. Хорошенькая, розовая фрекен Лаура встретила его, как всегда, ласковой улыбкой, хотя при некоторой наблюдательности он мог бы заметить, что она чем-то озабочена. Но он еще на пороге вытащил рукопись и сразу приступил к

чтению.

— «Разбойники в Виссенберге», акт первый. Кнуд Виссенберг, Хеннинг, Ульрик и Роллер сидят вокруг стола, на котором стоят бутылка водки и стаканы. Иорген Кло сидит со стаканом водки в руках и греется у камина. Все они — разбойники…

Он уже начал читать разговор о жутких стонах, раздающихся ночами около виселиц, и о том, как выглядит волшебный корень альраун, приносящий богатства, но юная хозяйка перебила его:

— Милый Андерсен, это просто ужасно интересно, и вы мне непременно все прочтете в следующий раз, но сейчас мне придется одеваться: тетя ждет меня, чтобы ехать с визитами. Может быть, вы мне оставите рукопись? Я ее быстро прочту, хотя почерк у вас, признаться, жуткий. Там все будет про разбойников?

— Да, и события самые потрясающие. Виссенберг — это ведь около Оденсе, там до сих пор рассказывают легенды про разбойников, которые скрывались в лесу. Их атаман, прикинувшись знатным господином, стал женихом одной молодой девушки, а потом она попала в разбойничье логово, увидела там кучу золота и драгоценностей, ей удалось спрятаться, когда разбойники пришли и при ней убили пленницу, а отрубленный палец с кольцом покатился прямо под кровать, где она пряталаеь. Эту самую легенду я и использовал, ну и, конечно, от себя порядочно прибавил, вот увидите!

Ханс Кристиан выпалил все это одним духом. Ему хотелось внушить своей слушательнице живой интерес к подвигам разбойников из Виссенберга. Во-первых, он всегда нуждался в сочувствии, а во-вторых…

— Вы правы, почерк у меня отвратительный, — жалобно сказал он, — да и ошибок небось не мало. А я ведь хочу послать трагедию в театр! И вдруг они не станут ее читать из-за того, что неразборчиво написано? Вот досада-то будет!

— Вы, наверно, хотите меня просить переписать рукопись? — догадалась с улыбкой фрекен Лаура.

— Ах, если б вы согласились это сделать… Ведь решается моя судьба, вы же понимаете! Только знайте: это тайна, что я ее посылаю. Никто, кроме меня и вас, не должен об этом знать!

— Тайна? О, это интересно! Нет, нет, я не пророню об этом ни слова. Ну, давайте сюда вашу трагедию, я запру ее в мой туалетный столик и завтра же начну переписывать.

Выйдя на улицу, Ханс Кристиан рассмеялся вслух от радости. Итак, дело сделано! Через несколько дней дирекция получит аккуратно переписанную трагедию анонимного автора. Не могут они остаться равнодушными, прочтя ее: она такая увлекательная!

Немножко совестно, что сегодня он опять пропустил урок

латыни, но ведь трагедия важнее! До грамматики ли, когда ищешь волшебную лампу…

Ханс Кристиан неподвижно сидел на берегу озера Пёблинг. Город давно затих, и даже влюбленные парочки, охотно бродившие в этом уединенном месте, отправились спать. Ветер тоже улегся на покой, и озеро казалось стеклянным. Но небо на западе продолжало слабо светиться, и вместо ночной темноты вокруг были обманчивые розоватые сумерки. Белая ночь путала обычные представления о времени.

Во всяком случае, не могло быть сомнений в том, что фру Хенкель видит уже десятый сон, и будить ее стуком было бы весьма неблагоразумно. Но Ханс Кристиан и не собирался идти домой. Вновь и вновь переживал он каждое слово сегодняшней ссоры с Гульдбергом. Теперь он находил убедительнейшие доводы в свою пользу, придумывал неотразимые мольбы о прощении. Но было уже поздно. После того как Гульдберг его выгнал, он не посмеет снова идти объясняться. А если б и посмел, вспыльчивый поэт, возмущенный его поведением, и слушать его не станет… Позор, какой позор!.. Ты на дурном пути, Ханс Кристиан, ты стал бесчестным человеком! Стоит ли жить после этого? Все равно жизнь испорчена, никогда больше не будет хорошо…

Все вышло, разумеется, из-за латыни. Сначала аккуратно ходить на уроки и готовиться к ним мешал балет, потом хор, а теперь еще прибавилось и писание трагедий.

Ханс Кристиан готов был поклясться, что в каждом случае нельзя было поступить иначе. Но Гульдберг был другого мнения, и сегодня гнев, давно накапливавшийся в нем, наконец, прорвался. Как только он не называл своего нерадивого питомца! И легкомысленным невеждой, и жалким комедиантом, и бумагомарателем, а под конец сказал, что он просто неблагодарный лицемер, и это было самое обидное. Лгать и притворяться Ханс Кристиан совершенно не умел, а что касается благодарности — да он ни одного доброго слова, сказанного ему, никогда не забывал!

И все же он не мог отрицать, что Гульдберг вправе был бранить его: когда делаешь добро людям, очень обидно, если они тебя не слушаются. А Гульдберг не только обеспечил его небольшой ежемесячной суммой после краха с Сибони, но и хотел позаботиться о будущем неудавшегося певца. По его просьбе известный актер Линдгрен выслушал декламацию мальчика.

— Чувства у вас много, но актера из вас никогда не получится, — был его приговор. — Лучше всего бы вам заняться

латынью: все-таки это шаг к университету.

Тогда Гульдберг устроил Хансу Кристиану бесплатные уроки латыни (это было нелегко: «Латынь — самый дорогой язык», — говорила мадам Германсен), а сам стал заниматься с ним немецким и датским языками. Потом его подопечный вздумал написать трагедию «Лесная часовня», и поэт внимательно прочитывал и правил каждый акт.

Словом, этому человеку Ханс Кристиан был многим обязан. Но одной благодарности оказалось мало, чтобы преодолеть природное отвращение к зубрежке сухих грамматических правил. В том же, что они ему действительно пригодятся, он втайне сомневался: и актеру и поэту можно как-нибудь прожить и без латыни.

Но тут снова рухнули все его надежды: театральная дирекция полностью отказалась от его услуг в качестве хориста и фигуранта и вернула ему «Разбойников в Виссенберге» с весьма неудовлетворительным отзывом. Каким-то непонятным для него путем они узнали, что анонимному автору недостает образования…

Ну хорошо, пусть он даже был бы готов как следует засесть за ученье. Для университета нужно выучить массу всяких вещей, кроме латыни, — это не так быстро, как написать трагедию. И бесплатных учителей для всего не отыщешь. Понадобятся деньги, а где их взять? Гульдберг собрал для него небольшую сумму, но она вот-вот кончится, да и хватает ее только на квартиру и завтрак… Прямо голова крутом идет; хорошо еще, что за писаньем как-то забываешь про все это…

Третий год он полностью зависел от чужой благотворительности, и ему все тяжелее становилось обращаться то туда, то сюда с просьбой о помощи, всегда рискуя получить отказ. Раньше он верил, что всякий человек — разве уж кроме очень злого! — должен охотно заняться судьбой талантливого и бедного мальчика. Оказалось, что это вовсе не так-то просто. Конечно, все время находились люди, относившиеся к нему с искренним сочувствием. Сам Эленшлегер снисходительно принимал его робкое обожание. Радушно встречали его новые знакомые: поэт Ингеман, молодой поэт Тиле, знаменитый физик Эрстед.

Подвижной и энергичный, с живыми пытливыми глазами и улыбкой, полной юмора, Эрстед вовсе не принадлежал к тем педантичным ученым, которые с головой ушли в свою науку и знать не знают, что делается кругом. Его все интересовало: и природа, и люди, и искусство. Поэтому он охотно разговаривал с любознательным мальчиком, с улыбкой выслушивал его мечты,

давал ему книги. Но во многих домах его принимали просто, чтобы позабавиться патетической декламацией с фюнским произношением, неловкими манерами и восторженными речами. Комическое впечатление усиливала растущая худоба, слишком короткие рукава и панталоны, странные, связанные движения, вызванные необходимостью скрыть заплату или лопнувший шов.

Над ним насмехались в гостиных купцов и аристократов.

Когда он попал на прием к принцессе Каролине, то белокурая длиннолицая дочь Фредерика и ее фрейлины целый час веселились, слушая его, и упражнялись в остроумии на его счет, наградив, впрочем, за это мешочком лакомств и десятью далерами.

Смеялись над ним и в театре. Девочки-фигурантки фыркали ему в лицо. Актер Бауэр во время массовой сцены тащил его к рампе, чтобы потешить публику плачевным видом долговязого подростка в потрепанной одежде. Хорист Брандт, пользуясь его беззащитностью, на репетициях совал ему в рот нюхательный табак, подставлял ногу, а в ответ на слабые протесты отвешивал пощечины.

Но хуже всего было, когда он со своей не знающей границ откровенностью выкладывал всюду мечту стать знаменитым поэтом. Даже друзья только плечами пожимали: им это казалось совершенно невероятным. Посторонние же хохотали до упаду: ну и хватил! Да разве так выглядят знаменитые поэты? Нет, у этого Андерсена просто мания величия!

Иногда эти насмешки были такими явными и грубыми, что пробивались даже сквозь броню его наивной доверчивости. В минуты усталости он чувствовал себя страшно одиноким. Никто всерьез не верил, что из него выйдет что-нибудь путное.

И белой ночью на берегу озера, под свежим впечатлением гнева Гульдберга, перебрав всю цепь своих неудач и обид, он был близок к отчаянному решению разом оборвать ее.

Всколыхнется на миг розоватая гладь озера, разойдутся круги — и снова все станет спокойно. Точно и не жил никогда на свете смешной мальчик из Оденсе, вообразивший себя Аладдином… Все его великие планы будут похоронены на скользком темном дне, и люди так и не узнают, сколько он мог дать миру… Ах, до чего же это грустно! Никак нельзя удержаться от слез, когда хорошенько представишь себе такую возможность.

Но пока Ханс Кристиан оплакивал навзрыд безвременную гибель талантливого мечтателя, в его сознании начал рождаться протест. Как! Добровольно уйти из жизни, не доказав своих прав на волшебную лампу? Остаться в памяти людей просто зазнавшимся выскочкой? Нет, это было бы слишком обидно! Ведь

он знает, знает наверняка, что способен создать кое-что получше, чем все сделанное до сих пор. Надо только изловчиться и поймать за хвост одну из прекрасных золотых птиц, сотнями летающих в его воображении, то есть найти такие слова, чтобы все увидели перед собой эту птицу как живую — переливчатую, звонкоголосую…

…Утро вступило в свои права. На деревьях радостно защебетали птицы — серенькие, а не золотые, но все же очень симпатичные. Хлопотливые хозяйки с большими корзинами торопились на рынок за рыбой и овощами. Оглушительно заскрипела неподалеку тележка молочника.

Ханс Кристиан почувствовал, что отсидел ногу и отсырел от ночного тумана. Выпить чашку горячего кофе со свежим хлебом и спать… А выспавшись хорошенько, он засядет за новую трагедию. Ее поставят на сцене, он получит за это деньги и потратит их на ученье. Тогда и Гульдберг его простит, и все будет прекрасно!

Дела шли полным ходом. Новую трагедию «Альфсоль», которую он читал вслух всем и каждому, многие признавали несомненно талантливой. Старая фру Юргенсен даже прослезилась, а ее приятель пастор написал рекомендательное письмо, с которым трагедия была отправлена в театр.

Стремясь расширить круг своих ценителей, Ханс Кристиан отправился к известному переводчику Шекспира Вульфу. Петер Вульф, бравый моряк и страстный любитель литературы, как раз собирался усесться за завтрак, когда молодой поэт с объемистой рукописью явился к нему. В надежде отсрочить чтение проголодавшийся хозяин предложил гостю разделить с ним компанию.

— Нет, нет, я спешу, — решительно отказался Ханс Кристиан. — Я пришел к вам потому, что вы любите Шекспира, я тоже перед ним преклоняюсь. И я хочу прочесть вам свою трагедию «Альфсоль».

— Ладно, читайте! — согласился Вульф. Чтение шло галопом: у Ханса Кристиана на этот день было намечено еще много дел. Кончив, он откланялся. На предложение Вульфа заходить еще он ответил, что сделает это с радостью, но не раньше, чем напишет новую трагедию.

— Но ведь это, наверное, будет не скоро? — удивился Вульф.

— Почему же? — удивился Ханс Кристиан в свою очередь. — Если я сейчас возьмусь за нее, она будет готова недели через две… А пока прощайте! — И, отвесив глубокий театральный поклон, он скрылся, оставив морского волка добродушно посмеиваться и покачивать головой за остывшим завтраком.

Множество хлопот было у Ханса Кристиана с задуманным им изданием сборника своих произведений. Название будет скромное — «Юношеские опыты». Туда войдут и «Разбойники в Виссенберге» и, разумеется, «Альфсоль». Во вступлении будет стихами изложена полная драматизма жизнь молодого автора. Туда же он включит свой первый рассказ — «Призрак на могиле Пальнатоке». Можно, конечно, легко понять, что вещь навеяна Вальтером Скоттом, но, право же, в ней есть кое-что свое. Вечерние рассказы о призраке Палле-охотника в крестьянском доме — он их не раз слышал в детстве, когда бегал за молоком в соседнюю деревеньку, а описывая сумасшедшую старую Стину, он видел перед собой своего деда…

В рассказе выяснялось, что бледное лицо, появляющееся вечерами за темным окном и пугавшее жителей деревни, принадлежало вовсе не призраку, а старой Стине. И вообще все чудеса имели естественное объяснение. Разве разумный человек поверит, что ночами на холме Палле действительно плачет его призрачная возлюбленная, а сам Палле сбрасывает камни на головы запоздавшим прохожим? В этом отношении Ханс Кристиан полностью встал на точку зрения, близкую взглядам его отца. Но разница была в том, что сапожник начисто отрицал суеверия и фантастические легенды, не интересуясь их поэтической стороной. А живое воображение его сына эта поэтичность неотразимо привлекала и после того, как ему стали чужды суеверные страхи матери.

Итак, «Призрак на могиле Пальнатоке» должен был показать, что юношеские опыты автора не ограничиваются стихами и трагедиями (во вкусах читателей они уже неприметно уступали место роману).

Так как главными его вдохновителями были Вильям Шекспир и Вальтер Скотт, можно бы взять псевдоним «Вильям Вальтер». Но и себя нельзя уж совсем оставить за бортом! Значит, пусть будет «Вильям Кристиан Вальтер». На этом он и остановился. Посвятить книгу он хотел Гульдбергу, но на его робкое письмо об этом поэт ответил с горечью и раздражением.

Теперь надо было собрать не менее пятидесяти подписчиков: без такой гарантии издатель не соглашался рискнуть выпустить книгу. В этом не было ничего обидного: почти все датские писатели тогда прибегали к предварительной подписке, только Эленшлегер мог позволить себе без этого обходиться.

И Ханс Кристиан бегал по городу с подписным ластом, энергично завербовывая охотников обеспечить выход в свет «Юношеских опытов». Дело подвигалось туговато, но он был полон надежд. Чтобы подбодрить себя, он то и дело вынимал

вырезку из «Ежедневного листка», где знакомый рецензент поместил несколько прочувствованных строк о предстоящем издании произведений молодого талантливого поэта, которое должно помочь ему собрать средства, необходимые для учения.

В августе на его долю выпала огромная удача: газета «Арфа» опубликовала первый акт «Виссенбергских разбойников». Сияя от гордости, он немедленно преподнес экземпляр «Арфы» фрекен Тёндер-Лунд — вышло, что все-таки не зря она ему помогла, переписав трагедию!

Редактор «Арфы» вручил ему маленький гонорар, и это показалось Хансу Кристиану неслыханным великодушием: господи, да он сам с радостью отдал бы все, что у него есть, чтобы увидеть свое творение напечатанным! Впрочем, деньги были отнюдь не лишними: одними надеждами не прокормишься…

До волшебной лампы было рукой подать: оставалось только дирекции театра благосклонно отнестись к посланной ей трагедии.

Нетерпеливо ожидаемый приговор трагедии «Альфсоль» должен был вынести профессор Раабек, один из четырех членов театральной дирекции.

Этот медлительный и усталый старик в старомодном жабо был незначительным поэтом, но признанным знатоком и ценителем искусства.

Его дом в окрестностях Копенгагена — Баккехуз — посещался и светскими дамами, и артистами, и поэтами. Центром общества был, впрочем, не сам Раабек, с годами больше всего полюбивший тишину и уединенные размышления над любимыми книгами в своем кабинете, а его жена, фру Камма, энергичная, жизнерадостная и умная женщина.

В теплый сентябрьский день Раабек вернулся из театра с несколькими рукописями пьес молодых безвестных авторов, о литературных достоинствах которых ему предстояло дать отзыв. Он относился к этой обязанности очень добросовестно, читал рукописи неторопливо и внимательно, а потом, взвешивая каждое слово, писал строгие, но беспристрастные заключения.

Увидев на обложке первой рукописи фамилию Андерсена, старик задумался. Он вспомнил, что три года назад ответил отказом на мольбы мальчика помочь ему стать актером. Нарушать свой покой и хлопотать за какого-то чудаковатого юнца не было ни малейшей охоты. С кандидатами в актеры пусть разбирается главный директор, а с него хватит и начинающих авторов! Но вот теперь в их числе оказался и этот «маленький декламатор», как его называют фру Камма и ее приятельницы. Как видно, он не из тех, кто отступает перед неудачами. Это

похвально. Но есть ли у него та божественная искра, без которой всякая настойчивость бесполезна? Посмотрим, посмотрим…

Уже на первой странице он недовольно поморщил свой тонкий нос: так и есть! И куда только торопятся эти молодые поэты? Вскачь через ритмические ошибки, неточные, вялые выражения… Все им кажется, что этим можно пренебречь, потому что на следующей строчке они поразят мир чем-то великим. Глянь — а сказать-то и нечего… Видно, и с литературой дело не выгорит, милейший Андерсен!

Но чем дальше он читал, тем снисходительнее становилось его меланхолическое круглое лицо, а к концу на нем появилась даже тень улыбки.

Кто бы мог подумать, ведь в мальчике что-то есть! Конечно, он подражает по очереди всем любимым писателям, конечно, у него нет ни знания сцены, ни общего плана, ни ясно очерченных характеров… И все же в этой незрелой мешанине нет-нет да и сверкнет золотая крупинка! На этот счет у него, Раабека, глаз наметанный и нюх тонкий, ошибки быть не может.

Так писать при полном отсутствии образования, при недостатке даже простой грамотности может только очень талантливый человек. Да, выходит, что стоит ему помочь. По подписке, что ли, собрать денег, чтобы он мог учиться? Или просить короля дать стипендию? Ох, трудно все это… Тут нужен человек влиятельный, энергичный, а не какой-нибудь нелюдимый больной старик. Государственный советник Коллин, экономический директор театра, — вот кто должен бы за это взяться…

Раабек тихонько спустился в сад и прошел в цветник, где фру Камма заботливо подстригала кусты, покрытые тяжелыми нежными розами.

— Как хорошо, что ты вышел, — сказал она, — тебе так полезен свежий воздух! Скоро ведь наступят холода, я уже думаю, как получше укрыть розы… Ты хотел мне что-нибудь сказать?

— Да, — ответил Раабек, опускаясь на скамейку. — Я хотел тебя расспросить об Андерсене. Он прислал в театр свою трагедию, и кое-что в ней меня заинтересовало. На какие средства он живет? Хочет ли он учиться? Что, если попросить Коллина похлопотать о королевской стипендии для него?

13 сентября 1822 года, через десять дней после беседы Раабека с фру Каммой, автора трагедии «Альфсоль» вызвали на заседание дирекции театра.

— Ваша пьеса обнаруживает недостаток образования и литературную неопытность. Она не годится для постановки на

королевской сцене, — вежливым, но бесстрастным тоном сообщил ему Коллин.

Сердце неудачливого Аладдина упало. Ясное дело: от этого Коллина ничего другого нельзя было и ждать! Недаром несколько дней назад, когда он зачем-то пригласил к себе Ханса Кристиана и целый час расспрашивал о его житье-бытье, ему и в голову не пришло похвалить «Альфсоль»! Строгий, важный чиновник — и все тут, какое ему дело до судьбы нищего мечтателя!

А Коллин продолжал тем же спокойным голосом:

— Тем не менее профессор Раабек нашел в вашей трагедии искры таланта. Поэтому дирекция считает, что необходимо дать вам возможность получить образование. С этой целью мы решили рекомендовать вас для получения королевской стипендии. Как только будет получено согласие на это его величества, вы поступите в латинскую школу. Разумеется, это возможно только при условии, что вы согласитесь всецело посвятить себя необходимым школьным занятиям. Подумайте серьезно и дайте нам ответ.

Четыре директора выжидающе глядели на ошеломленного Ханса Кристиана. Неожиданный поворот дела вызвал в его мыслях полную сумятицу.

Латинская школа, недоступная мечта отца… Как бы он сейчас радовался! Вот уж подивятся все в Оденсе… До чего же, оказывается, хорошие люди директора, а он-то их осуждал…

А как же его хлопоты с изданием сборника? Неужели все бросить?.. Прощай, свобода! Видно, от латыни не уйдешь!.. Королевская стипендия — значит, с заботой о куске хлеба покончено… К гимназистам все относятся с уважением… Да, но будет ли у него время писать новую трагедию? «Всецело посвятить себя…»

Вопросительное молчание сидевших перед ним сгустилось до осязаемости.

— Я вам страшно благодарен… Я… я просто не знаю, что сказать… Вы так заботитесь обо мне… Но вы увидите, я буду стараться изо всех сил! — прерывающимся голосом выговорил он.

«…что он и принял с благодарностью», — было записано в протоколе.

— Мы надеемся, что вы действительно чувствуете размеры оказываемого вам благодеяния, — внушительно сказал главный директор, камергер Хельстёйн.

— А самое главное — серьезность принятого вами решения, — не столько дополнил, сколько вежливо поправил его Коллин.

— Мы все от души желаем вам успеха, — сказал Раабек.

— У господ директоров нет больше вопросов или пожеланий? Тогда вы можете быть свободны, Андерсен, — заключил Хольстейн.

И Ханс Кристиан, вошедший в комнату начинающим драматургом, а вышедший из нее кандидатом в гимназисты, помчался сообщать знакомым и писать письмо матери о происшедшей в его жизни крутой перемене.

ГЛАВА IV
АЛАДДИН ЗА ЛАТИНСКОЙ ГРАММАТИКОЙ

Ходатайство театральной дирекции о предоставлении королевской стипендии Хансу Кристиану Андерсену еще совершало свой неторопливый путь по канцеляриям, а будущий студиозус уже садился в дилижанс, Йонас Коллин, — взявший на себя все хлопоты и расходы, связанные с первоначальным устройством, выбрал для своего подопечного слагельсейскую латинскую школу. Туда недавно был назначен новый ректор, известный переводчик и, по слухам, дельный педагог, — казалось, лучшего руководителя для молодого поэта, семнадцати лет поступающего в школу, было бы трудно найти.

Дождливым октябрьским вечером 1822 года Ханс Кристиан шагал по тихим улицам Слагельсе. Его долговязая фигура привлекала живейшее любопытство прохожих: приезд нового человека был для них событием, а события в Слагельсе случались весьма не часто.

Когда Ханс Кристиан устроился на своей новой квартире, к его хозяйке фру Хеннеберг зачастили под всякими предлогами соседки: всем было любопытно разглядеть как следует королевского стипендиата, а может быть, и побеседовать с ним. Общительный и доверчивый Ханс Кристиан охотно вступал в

разговоры, и вскоре у него уже было несколько знакомых, сгоравших от желания послушать, как он читает свои произведения. Ханс Кристиан надеялся, что так же легко ему удастся сблизиться и с ректором Мейслингом: ведь тот принимал горячее участие в споре Баггесена с Эленшлегером и даже сам как-то написал трагедию. Вероятно, ученику и учителю нетрудно будет найти общий язык, раз они оба любители поэзии.

Поэтому, собираясь к ректору с первым визитом, Ханс Кристиан захватил с собой рукописи своих трагедий и не сомневался, что после чтения их Мейслинг станет его другом.

Однако все вышло не так, как ему представлялось. Грязная, захламленная ректорская квартира, засаленный капот толстой фру Мейслинг, чумазые ребятишки, копошащиеся среди общего разгрома, — уже это неприятно поразило сына чистоплотной Марии, с детства привыкшего к порядку и аккуратности.

А вид самого Мейслинга — низенького обрюзгшего человечка с физиономией раздраженного мопса, выглядывающей из высоких воротничков далеко не первой свежести, — заставил его приуныть.

Пытаясь согнать желчную гримасу с лица ректора, Ханс Кристиан поверил ему свои мечты стать поэтом и даже прочел вслух трагедию «Альфсоль». Но Мейслинг отнюдь не выразил восторга.

— Достаточно, мне уже все ясно… Насколько я знаю, вы обещали господину Коллину всецело посвятить себя школьным занятиям?

— Да, но я думал, что в свободное время…

— Ни в каком случае! В вашем возрасте слишком многие мнят себя поэтами и на этом основании терзают уши окружающим. Запомните: я со всей строгостью буду следить, чтобы вы не обманывали доверие своих благодетелей и не тратили время и бумагу на писание всякой дребедени.

Огорченный Ханс Кристиан со вздохом спрятал рукопись в карман и поспешил откланяться. Надежда на дружеское сочувствие ректора лопнула как мыльный пузырь.

Результаты проверки знаний нового ученика оказались далеко не блестящими. Ханс Кристиан долго беспомощно топтался у географической карты, пытаясь найти на ней Копенгаген. Не лучше обстояло дело с геометрией, латынью и греческим. Да и по-датски он писал с грубыми ошибками. Мейслинг презрительно фыркал: вот тоже сокровище! Такой человек, как Коллин, мог бы, кажется, с большей пользой употребить свое влияние, а он тратит его на какого-то неуча, сына сапожника! Впрочем, может быть, через нового ученика

Мейслингу удастся сблизиться с могущественным Коллином? Это было бы совсем неплохо. И под действием этого соображения Мейслинг выдавил кислую улыбку.

— Вы зачислены во второй класс, Андерсен, — объявил он. — Дальнейшее будет зависеть от вашего усердия. Помните, что это большая честь для вас — быть принятым в ту самую школу, которую окончили многие выдающиеся люди Дании!

Второклассники встретили новичка с насмешливым любопытством: это что за фигура? Действительно, в этом обществе мальчиков двенадцати-тринадцати лет Ханс Кристиан выглядел довольно странно. Всем — и возрастом, и манерой держаться, и происхождением, и жизненным опытом — он отличался от них.

Но высокий рост и «солидный» возраст имели свою хорошую сторону: они внушали некоторое уважение.

Конечно, дело не обошлось без шуток и поддразниваний, но добродушие и откровенность новичка чаще всего обезоруживали насмешников. Скоро было установлено, что «длинный Андерсен» не подлиза и не ябеда, а к тому же умеет рассказывать очень интересные истории и ничуть не «воображает о себе». Ханс Кристиан нисколько не делал тайны из своего невежества и доверчиво жаловался товарищам на то, как ему трудно одолевать целую кучу новых предметов, особенно латынь и греческий.

— И что тут такого трудного? — иронически усмехаясь, пожимал плечами Эмиль Хундроп, лучший латинист в классе.

— Ах, ты счастливый, Эмиль, тебе латынь так легко дается, а у меня просто голова пухнет от всех этих окончаний и исключений, — уныло откликался Ханс Кристиан.

— Ну, давай я тебе помогу, чего ты там не понимаешь? — снисходительно предлагал Эмиль и с легкостью переводил запутанные латинские фразы.

На уроках Ханс Кристиан изо всех сил старался не упустить ни слова из объяснений учителя, но бывали и минуты рассеянности, когда какой-нибудь пустяк — сосулька за окном, блеснувший солнечный луч — завладевал вниманием. Или вдруг приходила мысль: «Хорошо бы написать трагедию из жизни Леонардо да Винчи!» — и сразу начинали звучать какие-то строчки стихов, мелькать смутные образы… Вернувшись к действительности — монотонному голосу учителя, тесноте и духоте классного помещения, унылой перспективе еще несколько часов сидеть на узкой скамеечке, неудобно подогнув свои длинные ноги, — он тяжело вздыхал. В такие минуты копенгагенское приволье представлялось ему в розовом свете: голод и холод тех дней забывались. «Вот так, наверно, чувствует

себя дикая птица, запертая в клетку», — грустно думал он. Потом им овладевало раскаяние, и он с удвоенным вниманием принимался слушать или зубрить.

Дома Ханс Кристиан засиживался за учебниками до глубокой ночи. Давно уже фру Хеннеберг сложила свое бесконечное вязанье и удалилась на покой, давно затихли голоса и смех ее веселых дочек. Старый дом наполнялся ночными звуками застенчиво скреблась мышь, потрескивало во сне старое кресло, сухая ветка дикого винограда легонько стучалась в окно… Когда в усталом мозгу останавливалось какое-то колесико и строчки в книге вытягивались в сплошную черную линию, Ханс Кристиан, робко оглядевшись, вытаскивал заветную черную тетрадку и принимался за стихи. Он писал о благодарности к Коллину, о воспоминаниях детства, о любимых книгах, открывших перед ним прекрасный неведомый мир. И это освежало его, как глоток живой воды. Право, если бы копенгагенские покровители знали, какой поддержкой и утешением для него была поэзия, они бы не стали так дружно и настойчиво советовать «Не пишите стихов, Андерсен, ни в коем случае не пишите стихов!»

Первый год в школе был позади. Ханс Кристиан не помнил себя от радости его старания не пропали даром, он хорошо сдал экзамены (правда, по греческому языку удалось получить только «посредственно», но на большее он и надеяться не смел!), и Мейслинг перевел его в третий класс с блестящей характеристикой. Товарищи поздравляли его, Коллин радовался его успехам, впереди были рождественские каникулы в Копенгагене с визитами, подарками, посещениями театра.

Но хорошие дни всегда проходят слишком быстро. Не успел он оглянуться, как снова надо было приниматься за зубрежку… Правда, к этому он уже успел немного привыкнуть. Худшие испытания ждали его впереди. В третьем классе уроки греческого вел сам грозный ректор, и пощады ждать от него не приходилось.

Лучшими средствами педагогического воздействия Мейслинг считал окрик и насмешку. Прекрасный знаток древних языков, он глубоко презирал тех учеников, которые не могли схватить на лету его объяснения. Видя непонимание, он немедленно раздражался и вместо того, чтобы растолковать трудное место, осыпал свою жертву бранью и колкостями.

Особенно нравилось ему срывать досаду на самых чувствительных и легко уязвимых, и здесь лучшей мишени, чем «господин сочинитель Андерсен», он не мог найти.

Уроки греческого языка превратились для Ханса Кристиана в сплошную пытку. Съежившись на своей скамейке, он с тоской

следил за движениями Мейслинга, ожидая минуты, когда сердитый взгляд маленьких зеленых глаз ректора устремится на него. «И за что он только меня ненавидит? Ведь я же стараюсь изо всех сил. Конечно, он и с другими обращается не лучше, — может быть, он действительно хочет нам добра, а мы выводим его из себя своей тупостью? Вот Эмиль, например, так думает… Да, я обязан стараться полюбить его!»

Но Мейслинг не давал никакой возможности укрепиться в этом добром намерении. Даже когда Ханс Кристиан назубок выучивал трудный урок, ректор ухитрялся застигнуть его врасплох, засыпать ехидными вопросами и, стоя над ним, как кот над трепещущей птицей, подстерегал неудачный ответ. А потом разражалась буря.

— Вы жалкий болван и тупица! — гремел Мейслинг. — Стоило бы вам закатить хорошую оплеуху, чтоб вы слетели со своего места: все равно вы недостойны его занимать. И такой идиот еще смеет воображать себя поэтом! Это же курам на смех!

Заметив слезы на глазах своей жертвы, торжествующий ректор резко менял тон:

— Ах, любезнейший, пролейте ваши драгоценные поэтические слезы на эту стенку рядом с вами! — ядовито-сладким голосом предлагал он. — Глядишь, и стенка начнет сочинять стихи. Почему бы нет? Ведь ваш лоб сделан из родственного с ней материала.

Чтобы внести в эти сцены разнообразие, Мейслинг не жалел изобретательности. Он приглашал запутавшегося ученика подойти к окну и взглянуть на своих «братцев» — стадо баранов, бредущее мимо, или, безнадежно махнув рукой, обращался к печке и делал вид, что получает от нее быстрые и верные ответы. Но ничто его не выводило из себя так, как сведения о том, что Ханс Кристиан вопреки всему все-таки пишет иногда стихи.

Мейслинг сам был непризнанным поэтом с ущемленным авторским самолюбием. И этот «Шекспир с глазами вампира» смеет надеяться на то, что не удалось ему, образованному, мыслящему человеку… Нет, такого безобразия он не может стерпеть!

Когда ему донесли однажды, что Ханс Кристиан читал стихи у своих слагельсейских знакомых, он пригрозил непослушному воспитаннику немедленным исключением и запретил ему ходить в гости без особого на то разрешения. Он бы и на каникулах с удовольствием держал Ханса Кристиана в Слагельсе — его возмущала мысль, что перед юношей открыты двери домов Коллина, Вульфа, Эрстеда и даже самого Эленшлегера, — но тут пришлось бы столкнуться с волей Коллина, а этого Мейслинг

старался избегать. И каникулы оставались для Ханса Кристиана желанным оазисом, короткой счастливой передышкой перед полосой новых мучений.

Иногда он проводил каникулы в Оденсе, чаще в Копенгагене и повсюду находил радушный прием. Когда в Оденсе он гулял по улицам с постаревшей, сгорбленной, но сиявшей от гордости матерью, он чувствовал себя в центре общего внимания. Люди специально открывали окна, чтобы поглядеть на сына «сапожниковой Марии», сделавшегося важной особой. Шутка ли, королевский стипендиат!

Он навещал старых знакомых — полковника Гульдберга, старушек Бункефлод, семью типографщика Иверсена, — и все они слушали с интересом его рассказы о копенгагенском житье-бытье и о его школьных успехах и трудностях.

Старшая из шестерых внучек Иверсена, мечтательная и болезненная Генриэтта, тоже горячо увлекалась поэзией и всей душой сочувствовала ему. Впоследствии она стала его близким, верным другом, и до самой смерти Генриэтты оба делились в письмах самыми задушевными мыслями и чувствами.

Много друзей было и в Копенгагене: Ханс Кристиан легко сближался с людьми, если они выказывали симпатию к нему. Но на первом меете были дома Коллина и Вульфа.

Сам капитан Вульф — тот самый переводчик Шекспира и моряк, которого когда-то начинающий драматург оторвал от завтрака своей трагедией, — не очень-то много уделял времени слагельсейскому гостю, но зато его жена и дочь приняли искреннее участие в судьбе Ханса Кристиана. Выражали они это участие каждая по-своему. Фру Вульф терпеливо выслушивала его жалобы на Мейслинга, ободряла и наставляла его, стремясь привить ему собственные взгляды и понятия и искоренить из его головы «несчастную блажь» — надежду стать поэтом. Ее дочь Генриэтта, или Иетта, как сокращенно звали ее в семье, этой надежде сочувствовала, так же как и ее оденсейская тезка. Когда Ханс Кристиан впервые познакомился с Иеттой Вульф, он испытал тяжелое чувство горячей и беспомощной жалости и неловкости: эта крохотная девушка с нежным голоском была горбата.

Но очень скоро неловкость рассеялась: Иетта держалась так непринужденно-весело, разговаривала с таким остроумием и живостью, что Ханс Кристиан был совершенно очарован. У них оказалось много общего: умение подмечать смешное (в Слагельсе эта способность Ханса Кристиана была подавлена гнетом Мейслинга, но в Копенгагене она вновь вспыхивала в нем),

склонность к причудливым и забавным фантазиям, мечты о далеких теплых странах, страстная любовь к чтению.

В просторной, изящно обставленной квартире Вульфов Ханс Кристиан снова начинал чувствовать себя Аладдином, попавшим, наконец, в замок из нищей лачуги.

Постепенно осваивался он и в доме Коллинов, куда его покровитель открыл ему свободный вход, но здесь дело шло не так гладко. Старшие дети Коллина, Эдвард и Ингеборг, были далеко не в восторге от вторжения чужого в их замкнутый семейный кружок. Они не выражали этого прямо — воля отца была законом в доме, — но каждый их жест, каждый взгляд говорили Хансу Кристиану: ты чужой, совсем чужой нам. И он краснел, терялся, чувствовал себя скованным. А ему так хотелось понравиться им обоим — и сдержанному, остроумному, самоуверенному Эдварду и его бойкой насмешливой сестре. Но они мало обращали на него внимания и предпочитали перекидываться через его голову шуточками и намеками, понятными только посвященным. И характер Ханса Кристиана и его стихи совсем не соответствовали их требованиям: слишком много чувствительности и неуравновешенности — был их приговор.

«Хотел бы я знать, каковы были бы они, если б выросли на оденсейской окраине, а не в этом счастливом, богатом доме с мудрым, деятельным, добрым отцом, руководившим каждым их шагом», — вздыхал про себя Ханс Кристиан.

Но, может быть, ему еще удастся, несмотря на эту разницу, подружиться с Эдвардом? Пока что сердечную теплоту, в которой он так страшно нуждался, проявлял к нему только старый Коллин да еще, пожалуй, маленькая Луиза — ведь он вырезал ей из бумаги забавные фигурки и рассказывал сказки.

***

Осенью 1825 года в поведении Мейслинга произошла неожиданная перемена, с удивлением обсуждавшаяся учениками: ректор стал почти ласков с Хансом Кристианом.

— Я же тебе говорил, что ты напрасно на него обижаешься! — сказал Эмиль. — Вот ты стал лучше отвечать по греческому — и пожалуйста! — он сразу изменил к тебе отношение.

— Ох, как у тебя все гладко выходит! — возразил ему Хансен, предпочитавший музыку латыни и испытавший на себе переменчивый нрав ректора. — Будто Андерсен и раньше не мог бы хорошо отвечать? Просто «чудище» сбивал его, а теперь не

сбивает, вот и все. И в гости стал вдруг приглашать по воскресеньям… Держи-ка ты ухо востро, Андерсен, «чудище» — он хитрый.

— Верно! — подтвердил Иенс Виид, живший на квартире у ректора. — С ним никогда не знаешь, что он сейчас сделает: обругает последними словами или пуншем угостит.

— Да здравствует ректорский пунш! — провозгласил, смеясь, Хансен. — «Чудище» от него всегда добреет… И потом, когда он выжимает лимоны для пунша, у него хоть кончики пальчиков становятся чистыми — тоже польза!

И ученики углубились в обсуждение частенько возникавшего у них вопроса: моет ли когда-нибудь ректор руки и снимает ли сюртук, когда ложится спать? Большинство склонялось к отрицательному ответу.

Ханс Кристиан вообще легко переходил от полного отчаяния к радужным надеждам, а три года общения с Мейслингом еще сильнее развили в нем это свойство. «Андерсен или парит в облаках, или с размаху бухается в пропасть — середины не бывает!» — шутили одноклассники. Сейчас он готов был «парить в облаках»: Мейслинг подобрел, значит с греческим дело пойдет на лад, по другим предметам отметки хорошие — глядишь, и времени будет скоро больше оставаться. А время так нужно! Ведь он, Ханс Кристиан, задумал серьезную вещь. Он будет писать исторический роман, как Вальтер Скотт! Конечно, это большая, трудная работа, но некоторые сцены он уже сейчас видит перед собой до мельчайших подробностей… Толчком к возникновению этого замысла были встречи и беседы с поэтом Ингеманом, недавно поселившимся в соседнем городке Сорэ. В маленьком уютном домике Ингемана, сидя за чашкой чаю, налитого приветливой хозяйкой, Ханс Кристиан с увлечением слушал рассуждения хозяина о прошлом Дании: о кровавых битвах и подвигах воинов, о добродетельных и прекрасных дамах, о королевских указах. Ингеман работал над романом из далеких времен короля Вальдемара. Разумеется, и Ханс Кристиан загорелся желанием попробовать свои силы в этой области. Он поделился этим планом с учеником Ингемана — Карлом Баггером (поэт читал лекции по датской литературе в академии, находившейся в Сорэ, и студиозусы охотно захаживали к снисходительному, кроткому преподавателю).

Ханса Кристиана привлекал к себе XVI век — эпоха Кристиана II. Историки отзываются об этом короле очень дурно из-за его кровавых расправ с непокорной знатью. Бароны и епископы упрятали его в тюрьму, и за годы во мраке, в цепях, в одиночестве он искупил все дурное, что сделал на своем веку. А в

народе Кристиан оставил добрую память: ведь он сочувствовал тяжелому положению крестьян и старался облегчить его как мог. И потом как поэтична история его любви к простой бедной девушке Дювеке… Да, но на первом плане в будущем романе будет все же не фигура короля, а народные массовые сцены. Жестокие, буйные феодалы, травящие крестьян собаками, католические священники, хладнокровно посылающие на костер женщин, обвиненных в колдовстве… Вот эта-то сцена сожжения и представлялась Хансу Кристиану со всеми деталями. Грубый палач (как две капли воды похожий на Мейслинга) хватает за волосы бедную старуху Метту — ведь ее считают ведьмой! — и тащит к пылающему костру, а суеверные люди толпятся вокруг и смотрят на ужасное зрелище. Ханс Кристиан чувствовал на своем лице обжигающее дыхание пламени, слышал крики жертвы и мерный голос священника… Карл Баггер уверял, что это будет потрясающая вещь!

Да, было бы только время все это написать… Ведь он кое-чему научился за эти годы, недаром учитель Квистгор хвалит его сочинения за живость образов и плавность стиля.

Тут Ханс Кристиан чувствовал себя во всеоружии — не то что в греческом — и сам охотно помогал товарищам. Последнее сочинение особенно удалось ему требовалось написать «об одном из лучших, благороднейших качеств, отличающих человека от животного». И его работа была посвящена прославлению фантазии. Он вдохновенно описывал в ней «светлого духа Фантазуса, прекрасного юношу с сияющими глазами». Фантазус приходит к детям и учит их понимать мир раньше, чем это делает его серьезный брат, Разум. Кто поддерживает бодрость в юноше, который поднимается в своем жизненном пути на высокие скалы, переходит через бурные потоки? Конечно, Фантазус!

Ну, а теперь Фантазусу предстоит помочь одному из своих питомцев написать исторический роман. Только бы Мейслинг снова не сменил на гнев свою неожиданную милость!

Дни шли, а мрачные предсказания Хансена все не исполнялись Мейслинг был весел и снисходителен. Он увлекательно рассказывал о том, как в древней Греции происходили состязания поэтов, читал стихи, а на неудачные ответы реагировал коротким «осел!» или «болван!», не вдаваясь в подробности.

«Ослы» и «болваны», отпущенные с миром, были очень довольны, и, несмотря на близость экзаменов, в классе царило бодрое настроение.

Однажды вечером, когда Мейслинг удалился на свою

обычную прогулку, его супруга позвала к себе Ханса Кристиана. Она угостила его чаем и долго сетовала на грубость и воровство служанок с ними у нее шла вечная война.

— Весь дом на моих плечах, а ведь я только слабая женщина! — вздыхала она. — Мейслинг занят своей наукой, ему некогда вдаваться в домашние мелочи. Кроме того, я обожаю искусство, и мне не с кем бывает поделиться своими чувствами…

«С чего это она так разговорилась?» — удивлялся про себя гость. Но спросить напрямик о цели приглашения было бы невежливо, и он покорно ждал. Наконец все разъяснилось. Фру Мейслинг рассказала, что у них в доме пропадает масса свободного места, и хотя в комнатке рядом со спальней хозяйки живет уже Иенс Виид, там, безусловно, может поместиться еще один жилец.

«Неужели?..» — сердце Ханса Кристиана заныло от мрачного предчувствия.

— Мой муж совсем не такой сердитый, как иногда кажется! — вкрадчиво щебетала фру Мейслинг. — И вас, милый Андерсен, он в душе любит. («Ох, вряд ли… А впрочем, бог его знает!») Да, да, и он очень озабочен вашей судьбой. Ведь вам надо хорошенько подготовиться к экзамену в университет, иначе ваш покровитель Коллин будет очень огорчаться. А мой муж так уважает Коллина, что просто слов нет! Ради него он готов посвящать вам сколько угодно времени и сил, сидеть с вами целые вечера. («Еще и вечера! Вот ужас-то!») Но для этого надо, чтоб вы жили у нас. («Ну, так и есть! Господи, что же мне делать?») Поверьте, я буду заботиться о вас как о родном. Ведь мы оба с вами дети природы, и никто не способен так глубоко вас понять, как я!

Кокетливые кудерьки на низком лбу супруги ректора затрепетали от томного вздоха. Нежно глядя заплывшими глазками на Ханса Кристиана, она ждала ответа.

— Я очень благодарен… Я не сомневаюсь, что вы будете добры ко мне… — пролепетал он. — Но, знаете, я ведь не могу ничего решать сам! Я должен написать господину советнику Коллину…

— Да, да, конечно, это ясно без слов! Но вы должны написать ему, какие выгоды вам сулит переезд к нам. И тогда он, без сомнения, охотно даст согласие.

Так все и вышло. Коллин идею переселения к Мейслингу одобрил, и Ханс Кристиан, обливаясь слезами, написал письмо добрейшей мадам Хеннеберг, сообщая, что он вынужден оставить ее дом. Устно объясняться с ней он чувствовал себя не в силах.

На другой день слагельсейцы горячо обсуждали эту новость,

и общее мнение было далеко не на стороне ректора.

— Срам какой! Мало ему, что он мучит мальчика на своих уроках! — возмущалась пасторша, благоволившая к Хансу Кристиану. — Теперь ему понадобилось перетащить его в свой дом. А что это за дом, всякому известно: просто свинарник, если сказать прямо.

— Господин Мейслинг запретил Андерсену ходить на репетиции хора в наш дом! — напомнила аптекарша. — Это будто бы мешает занятиям, видите ли! А ведь собираемся-то мы только по воскресеньям. Все дело в том, что я не пригласила фру Мейслинг: кому охота видеть у себя эту особу? Ей бы только с офицерами гулять да хихикать, пока муж в Копенгагене, а нет того, чтобы за своими детьми посмотреть. И потом от нее так и разит пуншем, когда с ней заговоришь…

В конце концов все согласились на том, что цели Мейслингов понятны и ребенку: им вечно не хватает денег, вот они и решили, что надо перехватить у мадам Хеннеберг двести ригсдалеров в год за содержание пансионера — все-таки это кругленькая сумма, особенно для тех, кто по уши в долгах! К тому же Андерсену покровительствует сам Коллин — важная птица! И ректор надеется получить кое-какие выгоды от сближения с ним, вот он и хитрит, уверяя, что печется о благе своего воспитанника.

И хотя нередко злые языки в Слагельсе преувеличивали недостатки своих ближних, на этот раз они говорили сущую правду.

По зеленым равнинам, окружавшим Слагельсе, медленно катилась тяжелая карета, до отказа набитая людьми и вещами. Дети пищали, узлы и корзинки давили со всех сторон, и длинные ноги Ханса Кристиана, неестественно согнутые из-за недостатка места, совсем затекли.

Иенс Виид блаженно похрапывал рядом — ему-то, коротышке, было достаточно просторно! — а фру Мейслинг изредка прикладывалась к фляжке с пуншем и распевала фальшивым голосом чувствительные арии. Ректор ехал на верху кареты.

Семейство Мейслингов вместе с обоими жившими у них учениками переезжало в город Хельсингер: глава семьи недавно добился назначения ректором в тамошнюю латинскую школу.

В первый день путешествия мысли Ханса Кристиана то и дело возвращались в Слагельсе: шутка ли сказать, почти четыре года он провел там! Вспоминались дружеские напутствия знакомых, прощальные прогулки по любимым местам. Он увозил с собой альбом, наполненный стихами и рисунками. Один из учеников

Ингемана старательно скопировал портрет Шиллера и подписал под ним:

Царя поэтов профиль
Я рисовал любя,
Но вот вернее образ,
Что в сердце у тебя!

Дальше шли прощальные стихи Ингемана, Карла Баггера. Потом Пегас с лебедиными крыльями и невероятным изгибом шеи — рисунок сентиментальной слагельсейской девицы, верившей в поэтический талант студиозуса Андерсена… Словом, каждая страница альбома говорила, что за четыре года он приобрел немало друзей. Придется ли им еще когда-нибудь встретиться?

Тропинки разбегутся вдаль,
И между нами море ляжет,
Но память светлая нас свяжет, —

шептал он про себя стихи Карла, глядя в окно кареты.

Но на второй и третий день путешествия его полностью захватили новые впечатления. Чем ближе к Хельсингеру, тем живописнее становилась местность. Вместо унылого однообразия полей и низеньких холмов виднелись лесистые берега фиордов, большие рыбацкие села, старинная церковь над крутым обрывом. Нет, все-таки хорошо, что он уехал из Слагельсе! Но не только жажда перемен заставила его согласиться на переезд. Главное было в другом: Мейслинг клялся, что без его помощи не видать Хансу Кристиану университета как своих ушей, а ведь через два года — конец королевской стипендии! И Коллин счел, что нельзя идти на такой риск: Мейслинг, конечно, бывает груб и резок, но ведь и другой может оказаться в этом отношении не лучше, а такого знающего свой предмет человека вряд ли удастся быстро найти. Конечно, Ханс Кристиан никак не мог отрицать учености ректора. Хорошо бы еще, если б удалось позабыть все вынесенные от него обиды и несправедливости! Ханс Кристиан совершенно не был злопамятен, но вечно выходило так, что не успеешь забыть одно, а уже случается что-нибудь другое, еще похуже…

Но этой весной, перед отъездом в Хельсингер, ректор вел себя по отношению к Хансу Кристиану вполне сносно, и так хотелось надеяться, что на новом месте все пойдет еще лучше…

Ночь перед прибытием путешественники провели на

постоялом дворе около Фредриксборга. Старый замок с башнями и подъемными мостами высился невдалеке, как иллюстрация к историческому роману Вальтера Скотта или Ингемана. Ханс Кристиан наспех поужинал и отправился туда. Во внутреннем дворе замка каждый шаг рождал гулкое эхо. Каменные плиты были покрыты облезлым бархатом мха, там и сям между ними пробивалась трава. Поднялась луна, тени заплясали под столетними деревьями, а в высоких окнах замка замелькал беглый призрачный свет. Эхо было эхом гремевших здесь когда-то пышных празднеств. Тени принадлежали прекрасным дамам и храбрым рыцарям.

Из рва, окружавшего замок, поднялся белый прозрачный туман и раздался радостный хор лягушек. Ханс Кристиан, вздрогнув, очнулся от нахлынувших средневековых видений. Конечно, все это живописно и романтично, но как ужасно было бы всегда жить в этих мрачных стенах, где зеленые пятна сырости ползут по роскошным коврам и гобеленам, а из глубоких подвалов выходят полчища дерзких крыс!.. Нет, ни за что на свете он не хотел бы перенестись в эти давние времена, они куда лучше выглядят на расстоянии.

На следующий день они приехали в Хельсингер. Да, это получше, чем Слагельсе или мрачный Фредриксборг. Здесь можно было бродить по шумным пестрым улицам, смотреть с холма на синюю воду пролива и белые паруса кораблей, мечтать о путешествиях в дальние края, сочинять стихи…

Радостное оживление охватило Ханса Кристиана. В школе — просторные светлые классы (не то что слагельсейские закутки!), шумные, бойкие, но довольно приветливые товарищи, Мейслинг в новом костюме, вычищенный и приглаженный и — на счастье! — по горло занятый своими делами. До Копенгагена рукой подать: утром выйдешь, а к вечеру уже там. По дороге можно собирать землянику, читать «Тысячу и одну ночь», а в перерывах с жадным любопытством глядеть вокруг, каждая мелочь так и просилась в стихи!

Плодом такого путешествия было стихотворение «Вечер». Там были и душистые фиалки и прозаические белые гуси, закатные лучи вспыхивали в разбитых стеклах окон рыбачьей лачуги, заросли терновника вместо цветов или ягод были украшены развешанным тряпьем, а ласковое синее небо сияло над головой устало плетущейся домой рыбачки и старого крестьянина, считающего скиллинги в потрепанном кошельке. А взгляните на эту длинную фигуру там, на пригорке! Нос как пушечное дуло, глаза-горошинки, и лицо бледное, как у покойника Вертера… Ах, это, оказывается, сам поэт!

Да, когда у Ханса Кристиана было хорошее настроение, он совсем не был слеп ко всему на свете, кроме самого себя, как его упрекали, и прекрасно мог сам посмеяться над собой, не ожидая, пока это сделает кто-нибудь другой!

По мере того как на новом сюртуке Мейслинга накапливались слои пыли, а в его доме рос обычный беспорядок, настроение ректора становилось все более мрачным. Дела его шли плохо: он вообще не годился для того, чтобы руководить школой, а такой большой, как хельсингерская, и подавно. У него не было ни хозяйственных, ни административных способностей. В короткое время он успел восстановить против себя и учителей и учеников. Дома возились грязные крикливые дети, хлопали дверями, требовали расчета и задержанного жалованья служанки, закатывала истерики фру Мейслинг.

— Кто хочет посмотреть на барынину истерику? Четыре гроша за вход! — иронически провозглашала служанка, вместо того чтобы бежать за водой. Вечером начиналось примирение. Та же служанка, по наущению хозяйки, прокрадывалась в кабинет и отливала ром из заветной фляжки Мейслинга, чтобы сварить пунш себе и фру. Хозяин, обнаружив это, приходил в ярость и разом допивал остатки: надо же и ему было иметь хоть какое-то утешение!

Жизнь в Хельсингере была дороже, чем в Слагельсе, и долги Мейслинга росли как снежная лавина. Всю накопившуюся в нем желчь этот непризнанный поэт, педагог поневоле и несчастный муж изливал на окружающих, и, как и в Слагельсе, чаще всего козлом отпущения служил ему Ханс Кристиан.

К прежним поводам для придирок, насмешек и недовольства прибавился новый: Мейслинг стал упрекать своего жильца, что тот слишком дорого ему стоит. «Этот мальчишка просто объедает нас!» — думал он, косясь на быстро пустевшую тарелку Ханса Кристиана. Разумеется, умалчивать об этом он не считал нужным, и каждый день за столом поднимались разговоры о том, что продукты дорожают и за двести ригсдалеров в год кормить и содержать человека — это просто себе в убыток!

Постепенно хозяева начали экономить за счет жильцов: нельзя ведь лишить мяса или другого блюда подороже главу дома, детям тоже нужно хорошенько поесть, а у фру Мейслинг слабое здоровье, при ее предрасположении к истерикам надо как следует подкреплять свои силы! Ну, а Иенс и Ханс Кристиан могут обойтись и чем похуже, все равно их не накормишь досыта! Чтобы избавить служанку от лишних хлопот, их скудная порция накладывалась на одну тарелку. Под пристальным взглядом Мейслинга кусок застревал в горле, и Ханс Кристиан вставал из-

за стола полуголодный. Вскоре он стал почти так же худ, как в тяжелые копенгагенские времена. Сшитый «на рост» костюм свободно болтался вокруг костлявой фигуры. Во время ночных занятий он часто ощущал страшную слабость, волной пробегавшую по телу: голод и переутомление давали себя знать. К тому же в комнате стоял адский холод: дрова тоже надо было экономить, и в жадную пасть печки клалось всего пять-шесть тоненьких поленец. А пойти куда-нибудь в гости и обогреться от приветливой улыбки хозяев, теплой печки и чашки чаю было невозможно: Ханс Кристиан жил на положении узника. После конца уроков двери школьного здания запирались, и он не мог выйти. Даже в церковь Мейслинг запретил ему ходить. Оставались две возможности: сидеть за книгами или возиться с ректорскими детьми. Иной раз это было бы и неплохо: Ханс Кристиан умел забавлять детей и сам всей душой мог отдаться игре. Но чаще всего выходило так, что дети бесцеремонно оставлялись на его попечении, а его мучила мысль о неприготовленных уроках. Кое-что все-таки ему удавалось: по математике в Хельсингере он стал получать отметку «очень хорошо», в Слагельсе казавшуюся недоступной. Но языки оставались слабым местом, и он с ужасом смотрел на толстые черные томики древних авторов. Иногда он явственно видел, как над ними кривляется, злобно ухмыляясь, костлявый призрак: латинская грамматика. Господи, никогда ему не одолеть ее, он и вправду, видно, безнадежный болван! Не лучше ли бросить все, не дожидаясь, пока Мейслинг исполнит свою угрозу выгнать его из школы?

Письма Ханса Кристиана в Копенгаген превратились в сплошной стон. Но жаловаться на голод и холод, на безобразные сцены, происходящие в доме, на попойки хозяев он не считал возможным. Поэтому Коллин только головой качал, удивляясь отчаянию и унынию своего питомца и объясняя все это его нервным, неустойчивым характером: ведь Ханс Кристиан и из Слагельсе писал о грубости Мейслинга и о собственной неспособности, а потом благополучно переходил в следующий класс и получал от ректора блестящие характеристики. Это особенно сбивало с толку Коллина: не далее как в августе Мейслинг писал, что ученик Андерсен обладает тремя превосходными свойствами, редко встречающимися вместе — стремлением хорошо учиться, редким прилежанием и абсолютным послушанием. А из писем Ханса Кристиана выходило, что ректор не признает за ним ни того, ни другого, ни третьего…

В конце концов Коллин написал Мейслингу, прося объяснить

причину такого противоречия. Ответ он получил очень резкий, местами даже грубый, но отнюдь не способный прояснить дело. По-видимому, действительно надо бы забрать оттуда беднягу, думал Коллин, ведь для успешных занятий так важно спокойствие души! Да, но куда же его определить, что с ним делать? Неужели прахом пойдут все четыре года стараний? Нет, это не выход… Может быть, все-таки удастся дотянуть до конца, ничего не меняя? Фру Вульф, получавшая еще более пространные и жалобные письма, горячо сочувствовала Хансу Кристиану. Она угадывала, что ректорский дом — далеко не то место, где могут совершенствоваться нравственные качества юноши. Свое мнение она сообщила Коллину, оба согласились, что нужно бы принять какие-то меры, но к практическому решению не пришли, и пока что все оставалось по-прежнему.

Камнем на душе Ханса Кристиана было положение матери. Когда-то бодрая и энергичная Мария с годами очень изменилась. Последним толчком оказалась смерть Гундерсена: ей не о ком больше было заботиться, и жизнь потеряла смысл. К тому же и здоровье совсем расшаталось. Все чаще и чаще она прибегала к рюмочке — сначала, чтобы согреться, когда приходится стирать в холодной воде, потом, чтоб забыть обо всех потерях, о горькой нужде, об одиночестве… Теперь ее поместили в богадельню, и оденсейские друзья с плохо скрытым осуждением писали Хансу Кристиану о ней. И опять его, как когда-то в детстве, больно уязвляла человеческая жестокость: бедная старая мама, не всегда же она была такой! Много понадобилось ударов, чтоб она сломилась… Он жалел ее всем сердцем и, думая о ней, всегда обращался памятью к детству, когда она была его утешением, опорой, защитой.

Дрожа в нетопленной комнате, с горящей головой и стынущими руками он писал стихотворение о больном мальчике. В жару ему чудятся воздушные радужные видения, а мать плачет, слушая его предсмертный бред. Он и сам плакал, когда писал это: ведь точно так все было, когда он болел корью! Да и теперь бывают похожие минуты, только матери нет рядом…

— Опять я слышу, что вы сочинили какие-то стишки, вместо того чтобы заниматься делом! — разбушевался Мейслинг. — Покажите мне их немедленно! Я в этом деле достаточно разбираюсь, и если найду там хоть искру таланта, то, так и быть, прощу вас…

Ханс Кристиан молча принес стихотворение «Умирающее дитя» и с тревогой ждал приговора. Лицо Мейслинга скривилось презрительной усмешкой.

— Чепуха! — отчеканил он, бросая на пол смятый листок. — Сентиментальная дребедень, ничего больше! Безграмотные писаки, которые царапают на заборах или распевают на ярмарках свои произведения, — родня вам во всех отношениях. И ради этой пачкотни вы обманываете доверие своих благодетелей, которые пригрели вас, нищего бродяжку! Никогда вам не стать студентом — университет не для таких, как вы. Сумасшедший дом — вот ваше будущее!

Медленно, как слепой, добрался Ханс Кристиан до своей комнаты и там долго сидел, уставившись в одну точку. «Сумасшедший дом! Сумасшедший дом!» — грозно звучало в ушах. Он упал на кровать и спрятал голову в подушку, но страшные слова не хотели оставить его в покое.

«Сумасшедший дом, сумасшедший дом!» — Костлявая фигура с отсутствующим взглядом голубых глаз промелькнула перед глазами. Его дед!.. А может быть, это он сам? Он испуганно огляделся. Нет, все на своих местах, он пока что все видит и понимает. «Это» еще не началось. Кажется так, кажется… А может быть, именно из-за «этого» он не такой, как все? Ведь никто вокруг не чувствует так остро малейший укол, никто не может и радоваться так от каждого пустяка: мелькнувшего солнечного зайчика или капли росы на листе. Никто не сидит целыми часами, ничего не видя и не слыша, погруженный в свои фантазии… Нормальные люди так не ведут себя!

Он вскочил и, рывком выдвинув ящик стола, стал рыться там. Необходимо сейчас же найти одно письмо Коллина и перечитать его. Оно всегда на него хорошо действовало. Как это там? «В трудные минуты говорите себе в утешение, что вы знаете многих хороших людей, которые вас любят». Но это письмо куда-то затерялось, как назло, подворачиваются совсем другие…

«Выбросьте из головы вашу мечту стать знаменитым…» Не надо этого сейчас, дальше. «Вы думаете, дорогой Андерсен, что вы рождены стать великим поэтом. Нет, вы им не будете, не надо вам в это верить…» И потом о его неудачном стихотворении, где гекзаметры хромают на обе ноги… Нет, нет, не это, дальше! «У вас прекрасная душа, никакая мать не могла бы пожелать лучшей для своего сына…» Да, вот это уже лучше! Спасибо, фру Вульф! «Имейте мужество и терпение, сын мой!.. Не делайте из блохи слона…» Это полковник Гульдберг. И снова почерк фру Вульф: «Дорогой Андерсен, очнитесь от своей мечты завоевать бессмертие, — я уверена, что вы добьетесь здесь только одного: сделаете себя смешным…» Ну вот, опять! Дальше, дальше… А, наконец-то! Хоть это и не то, которое он искал…

«Будьте хладнокровны и благоразумны, Андерсен, берите

вещи так, как они есть, а не так, как они вам представляются! Огорчения, неприятности — без них не обойдешься в жизни, и нельзя из-за этого бросать начатое дело… не теряйте голову… Преданный вам Коллин». Ханс Кристиан ясно представил себе серьезное лицо, легкие седые волосы, крупноватый нос над сжатыми губами, проницательные глаза. Ах, если б услышать сейчас его спокойный голос хоть на минуточку! Но Коллин далеко, он сидит на каком-нибудь важном заседании и думать забыл про своего неудачливого питомца. А потом придет время университетских экзаменов, и исполнится пророчество Мейслинга: Ханс Кристиан Андерсен с позором провалится! Тогда и Коллин и все-все отвернутся от него. Тут и останется или сойти с ума, или… Ханс Кристиан взял тетрадку, на которой было тщательно выведено: «Стихотворения. Х. К. Андерсен», — и приписал около фамилии: «Умер в 1828 году».

Едва он кончил, как дверь с шумом распахнулась, заставив его сильно вздрогнуть. Это явилась фру Мейслинг. Она не помешала? Ей нужно было масло из бочонка в углу, ведь вчерашние остатки служанка уже своровала. Но что такое случилось, почему их милый жилец так страшно бледен?

— Вам опять попало от Мейслинга, да? Но, голубчик, зачем вы так близко принимаете это к сердцу? Ведь вы уже взрослый мужчина, вам целых двадцать два года! Что вам вечно думать о латыни, поухаживайте лучше за дамами, вот и грусть всю как рукой снимет!

— Ах, фру Мейслинг, до того ли мне, — слабо возразил Ханс Кристиан, занятый своими мыслями. — Да и какие могут быть дамы! Вы же знаете, что господин ректор запирает меня в доме после уроков…

Но фру Мейслинг это вовсе не казалось непреодолимым препятствием: ведь за ней-то «милый Андерсен» вполне может поухаживать! Она тоже скучает взаперти, пусть он будет ее рыцарем — как в романах Вальтера Скотта!

Ханс Кристиан ошеломленно тер лоб: да, вот только этого ему недоставало! Господи, и как у нее только язык поворачивается…

— Но, фру Мейслинг, что из меня за рыцарь… — он прикусил язык, чтоб не сказать «и что из вас за дама!»

— Бедняжка, вы страдаете оттого, что некрасивы? — фру Мейслинг участливо склонилась к нему, обдав его запахом пунша и кухонного чада.

Из затруднительного положения Ханса Кристиана вывел внезапно появившийся Мейслинг.

— Куда ты запропастилась? Не слышишь, что ли, как я тебя

зову? — обрушился он на жену.

— Ах, Симон, бедному Андерсену стало плохо, он чуть не упал в обморок! — затараторила находчивая фру. — Если б я не успела его подхватить, он бы уже лежал на полу.

— Чепуха! — буркнул Мейслинг. — Оставь его. Отлежится — и все пройдет. Нежности какие: «в обморок»!

И он удалился, сопровождаемый своей романтической супругой.

Утомленный обилием переживаний, Ханс Кристиан прилег на постель. Знакомая слабость волной проходила по телу. Вот он, сумасшедший-то дом, далеко его и искать не надо! Господи, когда же все это кончится!

Зимой к ректору часто заходил молодой преподаватель Берлин — он, как и Мейслинг, увлекался исследованием древних языков. Берлин с большой симпатией относился к Хансу Кристиану, и ему скоро бросилось в глаза, как невыносимо положение юноши. Будучи человеком энергичным и сообразительным, Берлин понял, что разговаривать на эту тему с Мейслингом нет никакого смысла, а медлить нечего: каждый день расшатывает здоровье и нервы Ханса Кристиана. На весенних каникулах он вместе с Хансом Кристианом отправился в Копенгаген, чтобы посоветовать Коллину поскорее взять своего питомца от Мейслинга и поручить занятия с ним молодому ученому Мюллеру, который сумеет подготовить его в университет не хуже, чем Мейслинг.

После часового разговора с Берлином Коллин сказал Хансу Кристиану, чтоб он немедленно ехал в Хельсингер за своими вещами и возвращался в Копенгаген.

Наконец-то пришло освобождение!

Синим сверкающим апрельским утром пыхтящий пароходик (новинка последних лет) высадил в Хельсингере своих пассажиров. Два высоких молодых человека остановились на берегу, взглянули друг на друга и рассмеялись.

— На твердой земле-то получше, да, Андерсен? — спросил у своего спутника профессор Берлин.

— Ох, еще бы! Меня прямо всего наизнанку вывернуло! — с комической гримасой пожаловался Ханс Кристиан. Но тут же его мысли приняли более возвышенное направление.

— Ах, какое чудное утро! — вскричал он, оглядываясь вокруг. — Море, и корабли, и старая крепость Кронборг, колыбель и могила бессмертного Гамлета… Нет, мир непередаваемо чудесен, верно ведь, господин Берлин?

— Помнится, неделю назад вы не были в этом так уверены! —

И молодой профессор с ласковой насмешкой покосился на своего ученика.

— Ну да, ну да, конечно, но что об этом вспоминать сейчас! — замахал руками сияющий Ханс Кристиан. — Я чувствую себя так, будто меня в живой воде выкупали… И все благодаря вам, дорогой, милый господин Берлин! Вы… вы просто меня спасли, вот как в сказках спасают от дракона. Я вам по гроб буду обязан!

— Ну-ну, спокойнее, друг мой. Что я такого особенного сделал? Пошел и рассказал государственному советнику Коллину всю правду о вашем положении в доме Мейслинга, вот и все.

— «Все»! Да, для меня это действительно было «все»… Но откройте же мне, ради бога, хоть теперь, что именно вы ему говорили целый час? Я чуть с ума не сошел, дожидаясь, пока вы кончите!

— Какой любопытный! — смеясь, покачал головой Берлин. — Ну, будто вы сами не знаете все, что я мог сказать? Да и не все ли равно теперь? Главное, что мы добились своего и завтра же вы будете в Копенгагене — счастливец!

— Да, да, вы правы, — заторопился Ханс Кристиан. — Только собрать вещи, проститься со всеми и… Ах, скорее бы завтра!

У крыльца школы они столкнулись с Мейслингом. Не отвечая на робкий поклон Ханса Кристиана, он бросил на него свой взгляд василиска.

— Как, вы опять здесь? Когда же вы соизволите, наконец, убраться из моего дома? Я уже собирался выкинуть на улицу ваше барахло!

— Но, господин Мейслинг, я только что с парохода…

Не слушая его, ректор пошел дальше своей прыгающей походкой. В сущности, можно было уже не лепетать таким испуганным тоном, но от четырехлетней привычки не так-то легко отделаться…

Ханс Кристиан покрутил головой, вздохнул и поспешил воспользоваться отсутствием хозяина, чтобы спокойно собраться. «Копенгаген, Копенгаген», — напевал он, аккуратно складывая книги и белье. Радость переполняла его, и он весело болтал с прибежавшими служанками и с фру Мейслинг, удивляясь, как он раньше не замечал, до чего они все милые и симпатичные.

— Да, да, господин государственный советник сказал, что лучше мне жить в Копенгагене, поближе к нему. О, я не брошу заниматься, ни, в каком случае! Мне будет давать частные уроки господин Мюллер, кандидат теологии, он мой ровесник и очень, очень знающий человек!.. Я буду зубрить и зубрить, развлекаться мне будет некогда, что вы, фру Мейслинг! Ведь через полтора

года я должен во что бы то ни стало сдать экзамен!

— Ну, желаю вам счастья! — с жеманным вздохом протянула фру Мейслинг. — Не поминайте лихом…

— О нет, за что же?! — в эту минуту даже сам ректор казался Хансу Кристиану, в сущности, неплохим человеком.

Когда незатейливый багаж был уложен, бывший ученик Мейслинга выпрямился и вздохнул в нерешительности. Все-таки, пожалуй, надо пойти проститься… Ведь во многом виноват он сам, Ханс Кристиан. Легко ли раздражительному человеку выносить его рассеянность, его тупость в вопросах латыни и греческого… Поневоле иной раз выйдешь из себя! Ханс Кристиан, сделав над собой усилие, вошел в библиотеку, где в дальнем углу сидел Мейслинг.

— Кто еще там? — прозвучал в тишине резкий скрипучий голос ректора.

— Это я, Андерсен… Не сердитесь, господин Мейслинг, прощайте и… спасибо за все хорошее, что вы мне дали! — залпом выпалил Ханс Кристиан.

Книга, которую Мейслинг держал в руках, с шумом полетела в угол.

— До чего же вы мне надоели, осел несчастный! Убирайтесь к черту в самое пекло, сумасшедший идиот! Бездарный стихоплет!

С этим прощальным напутствием Ханс Кристиан навсегда покинул малогостеприимный кров ректорского дома.

ГЛАВА V
ПРОБА КРЫЛЬЕВ

Наконец-то пришла долгожданная свобода! Опьяняющий весенний воздух, оживленные улицы Копенгагена, тысячи новых планов и надежд — как тут не чувствовать себя счастливым? «Теперь я был вольной птицей; все горечи, все обиды были забыты, и мой прирожденный юмор, подавленный до сих пор, бурно вырвался наружу. Все казалось мне веселым и забавным, и моя повышенная чувствительность, за которую столько насмешек и гонений я терпел от Мейслинга, мне самому теперь тоже представлялась смешной»; — так вспоминал об этом времени Андерсен несколько лет спустя. Избавление от мейслинговского гнета было толчком для расцвета тех мыслей и настроений, которые подспудно скапливались в сознании молодого поэта.

Несмотря на все старания Мейслинга, духовное развитие Андерсена в эти тяжелые годы шло своим путем. Он очень много читал, буквально глотал книги, его записные книжки наполнялись все новыми и новыми выписками.

Здесь можно было найти цитаты из датских и немецких, из латинских и греческих (уроки Мейслинга тоже не прошли даром!), из французских, английских и итальянских авторов. На первом месте по количеству выписок был Гёте, дальше шли Шиллер, Гофман, Эленшлегер, встречались здесь и Вольтер, и

Смоллет, и Гоцци, и старые любимцы Вальтер Скотт и Шекспир, а в конце тетради появилось новое имя, вскоре оттеснившее все остальные: Генрих Гейне. Фантастика и юмор Гофмана и гейневское сочетание лирики и иронии были особенно близки Андерсену, и это вскоре отразилось на его собственных литературных начинаниях. Стихи, написанные в Слагельсе, уже не нравились ему самому. «Что за плаксивый дурак это сочинял?» — пожимал он плечами, перечитывая их. Другое дело «Вечер», отразивший жизнерадостно-юмористическое настроение и жадный интерес к окружающему миру, которыми окрашивались первые месяцы в Хельсингере. Из грустных стихотворений он ценил теперь только «Умирающее дитя». Пусть себе Мейслинг считает это «сентиментальной пачкотней»: сухие педанты всегда готовы объявить сентиментальностью всякое искреннее, сильное чувство, недоступное им самим. Ничего, вещь еще найдет своего читателя, а кроме того, он напишет много других, лучших.

Никакие уговоры фру Вульф не могли заставить его потерять эту веру, а сейчас он чувствовал такой прилив сил и бодрости, что горы, кажется, мог своротить!

Перемену, происшедшую в Андерсене, заметили все его копенгагенские знакомые, но каждый оценил ее на свой лад. Фру Вульф больше всего боялась, что вся эта веселость, стремление всюду побывать и все видеть, а потом рассказывать друзьям комические истории о виденном помешают главному: усидчивой подготовке к университетскому экзамену. Для нее Андерсен оставался — и так было до конца — недоучившимся школьником, которого надо на каждом шагу для его же пользы одергивать и поучать. То, что он прочел тьму-тьмущую книг и следил за статьями по философии и эстетике в журналах, ничуть не прибавляло ему веса в ее глазах. «Разве это имеет отношение к солидному, настоящему образованию? — думала она. — Конечно, нет. Романы, стихи и статьи всякий может читать». Другое дело, если он сумеет, наконец, безукоризненно изъясняться на латинском языке и рассуждать о тонкостях классической филологии. Без этого и стихи писать нечего соваться. Фру Вульф отражала очень распространенное тогда убеждение, что знание латинской грамматики — это основа всех основ.

Для Эдварда и Ингеборг Андерсен сделался куда более приемлемым, когда он перестал говорить о школьных делах и обнаружил блестящие способности к обмену остроумными репликами. Даже такая признанная мастерица этого дела, как Ингеборг, признавала его достойным собеседником. Эдвард благосклонно отмечал, что костюм и манеры Андерсена тоже заметно изменились к лучшему. Но серьезными знаниями и

способностями бедняга отнюдь не блещет: в каких-нибудь пяти-шести страницах латинского сочинения он ухитряется сделать три-четыре ошибки! Эдварду это представлялось непростительным изъяном. Он снисходительно предложил Андерсену свою помощь в занятиях латынью, но в душе не очень-то верил в возможность успеха.

— У Андерсена превосходная память, но нет настоящей основательности, — говорил он отцу. — Правда, он много читает, но что в этом толку? Он, как пчела, высасывает только мед из книг, вместо того чтоб систематически, детально исследовать какой-нибудь вопрос.

Старый Коллин озабоченно покачивал головой: он тоже очень ценил в людях методичность и основательность, а кроме того, его беспокоила практическая сторона вопроса — успеет ли Андерсен подготовиться в университет до того, как кончится королевская стипендия? Конечно, тревожило это и самого Андерсена, но он утешал себя мыслью, что впереди целых полтора года. Пока еще можно позволить себе тратить часть времени на визиты, на театр, на знакомство с последними новостями литературной жизни Копенгагена.

А здесь за время его отсутствия и сразу же после его приезда произошло немало интересного.

В 1825 году в Копенгаген вернулся Иохан Людвиг Гейберг, девять лет назад обративший на себя внимание литературного мира своими остроумными нападками на Ингемана и Грунтвига. Спор Баггесена и Эленшлегера был теперь позади, но Гейберг считал, что его можно возобновить на новой основе. Смешно, конечно, сейчас призывать к соблюдению правил классицизма, как это делал Баггесен! Зато его сатирические выпады против теории «наивного гения» и защита прав рассудка были Гейбергу очень по душе. Но обосновать их он хотел при помощи тогдашней новинки — философии Гегеля, отрицательно относившегося к немецким романтикам. Кроме того, Гейберг надеялся произвести переворот в датском театре. К этому времени подросло новое поколение зрителей, которому величественное здание трагедии, населенное героями древности, стало казаться несколько обветшалым. А немецкие «раздирательные» мелодрамы давно приелись всем! И Гейберг собирался ввести на датскую сцену новый жанр — водевиль.

Комические бытовые сценки из современной жизни, живая разговорная речь вместо стихотворных монологов, всем понятные и знакомые герои — богатые купцы, педанты-учителя, мелочные торговцы, — несомненно, водевиль должен понравиться датской

публике!

Однако дирекция театра не разделяла этой уверенности. Главный директор, камергер Хольстейн, боялся, что новый жанр не понравится королю и придворной знати. А старый поэт Раабек вообще слышать не хотел слова «водевиль».

— Эти новомодные штучки унизят достоинство королевского театра! — волновался он. — Грубый комизм водевиля может нравиться только черни!

Но Йонас Коллин решительно поддержал молодого драматурга, и в конце концов водевиль «Царь Соломон и Йорген-шапочник», скроенный по парижским образцам, был принят к постановке. Успех его превзошел все ожидания. С раннего утра публика осаждала театральную кассу, переполненный зал бурно выражал свой восторг, мальчишки на улицах распевали песенки из водевиля, а в королевском дворце он был разыгран придворными с участием самого принца. Имя Гейберга было у всех на устах.

Не теряя времени, он написал еще несколько водевилей. Один из них, посвященный изображению любви копенгагенцев к своему королю, был встречен вежливо, но довольно вяло, а другой — «Первоапрельские проделки» — закрепил славу молодого автора. Героиню водевиля, бойкую школьницу Трину, блестяще сыграла пятнадцатилетняя Ханна Пэтгес. Она завоевала не только симпатии публики, но и сердце самого автора и через несколько лет стала женой Гейберга. Восхищенный талантом юной артистки, Коллин помог ее продвижению, Гейберг специально для нее писал лучшие роли, и ее игра еще увеличивала шумный успех водевилей.

После первых же триумфов Гейберг принялся за теоретическое обоснование своей деятельности. В декабре 1826 года вышла его брошюра «О водевиле как драматическом жанре и о его значении для датской сцены». Опираясь на известное изречение Вольтера: «все жанры хороши, кроме скучного», — Гейберг провозглашал полное равноправие водевиля с трагедией.

«Нельзя возражать против того, чтобы публика, уставшая от политических, религиозных и научных проблем, могла вечером в театре получить легкую передышку», — писал он. Немецкие мелодрамы, наводнявшие до сих пор датскую сцену, должны уступить место французским образцам. Надо соединить отточенную, блестящую форму парижского водевиля с комическими ситуациями и образами, взятыми из жизни копенгагенского общества, — в этом Гейберг видел путь к созданию современной датской комедии.

Брошюра завоевала себе множество сторонников. Гейберг

стал кумиром датской интеллигенции, особенно студенческой молодежи. Теперь он мог позволить себе атаку и на «солнце датской литературы» — Эленшлегера.

Целью Гейберга было разрушить «Аладдиновское» представление о поэзии как о потоке вдохновения, выражении наивного, непосредственного чувства. На первое место он выдвигал мастерство поэта, блестящее владение техникой «поэтического ремесла». Вдохновение должно уступить место строгой продуманности и ювелирной шлифовке каждой строчки, каждого слова.

И в газете Гейберга «Летучая почта» появились критические статьи, указывающие на технические, формальные погрешности трагедий Эленшлегера: небрежность рифм, композиционные недочеты, отступления от требований жанра. Кроме того, Гейберг упрекал Эленшлегера и в отсутствии четких философских воззрений. Тут-то и пригодились цитаты из Гегеля, считавшего, что искусство в сравнении с философией — это низшая ступень «самовыражения абсолютного духа».

«Какие-то воздушные абстракции, не за что ухватиться!» — пожимал плечами Эленшлегер, читая эти нападки. Он сокрушался, что «слепая мода» заводит молодежь на опасный путь: от критики всего и вся черствеют сердца, омрачается ясность души.

И стареющий драматург писал стихи о том, как «в Муз прекрасную страну» вторгается бесцеремонный гость — рассудок. «Толпу он одурачил миной знатока» и теперь, «как якобинец, шлет невинных к гильотине». Сравнение было многозначительным. Хотя легкий «вольтерьянский душок» нисколько не мешал Гейбергу быть примерным и благонамеренным подданным Фредерика VI, но старшее поколение невольно вспоминало, что вольтерьянцы в свое время проложили дорогу якобинцам…

Когда-то Эленшлегер чувствовал себя юным, полным сил Аладдином, которому смешон старый Нуреддин. Теперь в его трагедиях благородные старые короли молча гибли, уступая место дерзким, напористым, насмешливым юнцам с холодными сердцами.

Вернувшись в Копенгаген из Хельсингера, Андерсен с живейшим интересом следил за успехами Гейберга.

Раньше ему хотелось писать трагедии, как Эленшлегер, исторические романы, как Ингеман. Но пример Гейберга был очень соблазнителен: Андерсена куда больше тянуло к современным темам и к юмору, чем к глубокому средневековью, мрачным, свирепым викингам или блестящим рыцарям, которые

так жестоко обходились с крестьянами.

Правда, в споре Аладдина и Нуреддина его симпатии безоговорочно принадлежали первому, и он не мыслил себе поэзии без вдохновения, без яркой фантазии. Но ведь и Гейберг не отказывался от чисто романтических тем! Вслед за водевилями он написал пьесу-сказку «Эльфы» по новелле немецкого романтика Людвига Тика, который очень нравился Андерсену… Личные симпатии влекли Андерсена к Эленшлегеру и Ингеману. Кроме того, ему не нравились утверждения Гейберга, что в лирике поэт не должен поддаваться потоку вдохновения, а сохранять трезвую, скептическую ясность рассудка. Лирическое стихотворение для Андерсена было вылившимся на бумагу потоком впечатлений и непосредственного чувства. Но что, если попробовать писать прозу? Здесь есть чему поучиться у Гейберга!

Словом, молодому поэту, искавшему свой путь, было над чем подумать!

По установившемуся после его переезда в Копенгаген обычаю Андерсен проводил понедельник в гостях у Вульфов. Теперь, когда ему приходилось платить за уроки, королевской стипендии не хватало даже на самое необходимое. Платные обеды проделали бы зияющую брешь в бюджете.

Поэтому он, как и многие бедные студенты того времени, обедал по очереди в знакомых домах: в четверг — у Коллинов, в пятницу — у Эрстеда, в субботу — у Ольсена. Понедельник и среда были днями Вульфов.

За чаем шел оживленный разговор о городских новостях. Под влиянием романтической литературы копенгагенское общество увлекалось историями о призраках, о таинственных явлениях, происходивших под покровом ночи. Иетта Вульф, большая любительница романтиков, охотно слушала такие рассказы, хотя не прочь была и посмеяться над ними.

— Я знаю изумительный случай, происшедший недавно, — с серьезным видом заявил Андерсен. — Наверно, вы еще не слыхали о нем. Это все было на Хольмен-канале, недалеко от моего дома. Хотите, я расскажу?

— Вы, как всегда, стремитесь быть первым вестником новостей! — улыбнулась фру Вульф. — Ну хорошо, мы все вас слушаем.

— Так вот: в одной копенгагенской семье родители великолепно научились обращаться с призраками. А ведь из Вашингтона Ирвинга всем стало известно, что духи охотно вселяются в старую мебель!

И как-то вечером, когда дети остались одни дома, они

решили попробовать, не удастся ли им самим вызвать дух старого комода, стоявшего в углу…

Андерсен сделал страшные глаза и значительно оглядел слушателей.

— Вот тут-то и случилось нечто ужасное. Представляете себе? Вечер, дико завывает буря в каминной трубе… И вдруг старый комод начинает потрескивать, дрожать и медленно оживает!.. Но дальше он повел себя из рук вон плохо: ему не понравилось, что таким почтенным старцем пробуют командовать какие-то малыши. И вот он живо схватил бедных ребятишек, упрятал их в свои ящики и выбежал через открытую дверь на улицу. Ну и шарахались же от него прохожие!

— Ох, Андерсен, и мастер вы на выдумки! — смеялась фру Вульф. — Сколько раз я вам говорила, что это ваш истинный талант — рассказывать смешные истории…

— Что же тут смешного? — притворно возмутился рассказчик. — От таких вещей кровь стынет в жилах, а вы… Впрочем, вы же еще не знаете самого страшного. Ведь старый комод взял да и плюхнулся в Хольмен-канал, и несчастные ребятишки утонули. Вот оно каково общаться с духами! Конечно, злодея выловили из канала и предали суду за детоубийство, а потом торжественно сожгли согласно приговору… Но родителям-то от этого было не легче: ведь они сразу лишились и детей и комода!

И, довольный произведенным эффектом, Андерсен присоединился к общему смеху.

— Что вы тут веселитесь? — спросил хозяин дома, входя в комнату. — Наверно, Андерсен что-нибудь рассказывает? Не верьте ему: все выдумывает! Его послушаешь, так на каждом углу происходят необычайные вещи, а вот я сорок лет хожу по городу и ничего такого ни разу не видал.

— Это зависит от того, как смотреть, господин капитан! — заметил Андерсен. — У меня есть одна вещичка — на вид это просто пустяковое стеклышко, а если поднесешь его к глазам, то и увидишь такое, чего никто не видывал…

— Ну-ну, это вы уже взяли прямо из сказок Гофмана! — погрозила ему пальцем Иетта.

— Что ж такого? Я всегда ношу в кармане его книжку: надо же иметь кое-что про запас на случай, когда собственная фантазия иссякнет!

— Кажется, вам это не грозит, — заметил Вульф. — Но послушайте, я же пришел прочесть вам превосходные стихи из сегодняшней «Летучей почты»! Они подписаны буквой «h», и это, конечно, Гейберг. Вот молодчина — умеет писать стихи! Иным не

мешало бы у него немножко поучиться, как вы думаете, Андерсен?

По мере того как Вульф читал, на лице Андерсена все яснее читалось еле сдерживаемое торжество. Он вертелся на стуле и заговорщически переглядывался с улыбающейся Иеттой.

Ведь капитан читал тот самый «Вечер», который был написан по дороге из Хельсингера в Копенгаген!

Гейбергу понравилась новизна образов и юмор стихотворения, и он взял его для своей газеты «Летучая почта». Многие знали об этом, но Вульф остался в неведении: он редко соглашался слушать стихи Андерсена, раз навсегда решив, что таланта в них нет, а значит — нечего попусту тратить время.

— Довольно милая вещица! — неуверенно сказала фру Вульф, когда чтение было окончено: она уже заподозрила истину.

— Мало сказать «милая»! Это свежо, оригинально, талантливо! Такие стихи и нужны нам сейчас! — авторитетно заявил Вульф.

— Отец, но ведь это же стихи Андерсена! — не выдержала, наконец, Иетта. Покрасневший до ушей автор опустил глаза в чашку с чаем. Что-то теперь скажет капитан? В комнате воцарилось неловкое молчание. Потом громко хлопнула дверь: это рассерженный своим промахом Вульф ушел обратно в кабинет.

— Милая Иетта, я давно хотела тебя спросить: ты ничего не слышала о помолвке у… — и фру Вульф назвала фамилию общих знакомых, уверенной рукой повернув разговор в другое русло. Про себя она очень досадовала на случившееся: Андерсен и так страдает манией величия, и каждая похвала его стихам — это просто яд для бедняги! Иной раз ведь он такое скажет, что только руками разведешь: например, вздумает сравнивать себя с Эленшлегером или Ингеманом… И вообще какие там стихи, когда ему надо готовиться к экзаменам в университет! Вот если он здесь добьется успеха, за это с чистым сердцем можно будет и похвалить!

После сцены с Вульфом Андерсен как в рот воды набрал, и все попытки Иетты развеселить его и утешить остались безуспешными. Только на прощание он тихонько сказал ей:

— Спасибо, дорогая фрекен Иетта, вы всегда за меня. Не знаю, что бы я делал без вас…

«Вот у кого надо учиться мужеству! — думал Андерсен по дороге домой. — С такой чудесной душой, с таким светлым умом — и так обижена природой! Другая на ее месте давно превратилась бы из девушки в бутылку с уксусом. А у нее всегда ясная улыбка, она всем живо интересуется и находит еще силы,

чтоб утешать меня!

Милая Иетта, крохотный эльф, право же, я когда-нибудь напишу о тебе так, чтобы все увидели, как ты прекрасна… Стихи? Нет, может быть, лучше не стихи, а что-нибудь вроде волшебной истории… Ах, как жаль, что сейчас некогда этим заниматься, а надо писать скучные латинские сочинения!»

Погожими вечерами в каморку под крышей, улыбаясь, глядела круглая физиономия луны. Андерсен отрывался от книг и подходил к окну побеседовать с ней.

— Расскажи мне, что ты видела хорошенького? — спрашивал он. — Повезло тебе: можешь повсюду людей посмотреть и себя показать! И латыни с тебя никто не спрашивает… Гуляешь себе да глядишь на индийские лотосы, на египетские пирамиды, на снежные горы, на большие города… Эх, поменяться бы мне с тобой местами!

«Глупый ты, хоть и поэт! — молча отвечала луна. — Ишь, чего захотел! Да если б ты увидел сотую долю того горя, преступлений, нищеты, несправедливости, которые я вижу, ты бы просто рехнулся от ужаса».

— Так-то оно так, — упорствовал поэт, — да ведь и хорошего на свете есть немало! И добрых людей не меньше, чем злых, что ты там ни говори, а то и побольше. Да и нельзя с чужих слов судить о мире, надо все самому увидеть — и лучшее и худшее.

«Еще увидишь, не горюй! — обещала луна. — А пока что ты вполне можешь представить себе, что эти крыши под тобой — неведомая пустыня, а дымовые трубы — черные скалы… А вон и хищник бредет! Видишь, как он нетерпеливо помахивает хвостом, как блестят в темноте зеленым огнем его глаза!»

Тощий, ободранный хищник, подойдя поближе, пронзительным мяуканьем выражал какие-то обуревавшие его чувства: может быть, тоску и одиночество, может быть, несчастную любовь, а может, и мечту о жареной рыбе или сливках.

— Точь-в-точь как я в Слагельсе или в Хельсингере! — с улыбкой пробормотал Андерсен, возвращаясь к покинутым учебникам. Ну, теперь-то он вырвался из клетки, теперь самое худшее позади, а впереди столько радужных надежд, что и не счесть!

Вместо желчного деспотического Мейслинга его учителем стал приветливый и умный Мюллер; он почти ровесник своему ученику и держится с ним на равной ноге. Иногда они, отложив в сторону латынь, до глубокой ночи читают друг другу стихи или азартно спорят.

— В библии сказано, что надо жить по божьему закону! А грешники, его нарушающие, — те, кто жесток, слеп, лжив, развратен, — осуждены на адские муки в неугасимом огне! — с жаром проповедует Мюллер любимые идеи собственного учителя Грунтвига.

— Неверно это! Хоть и в библии сказано, а все равно неверно! — перебивает его возмущенный ученик. — Положим, человек ошибается, грешит по неразумности… или с горя, а вы вместо помощи грозите ему адским пламенем. Нет никакого ада! Любовь и сострадание — вот главное, что должно быть в сердце человека.

— Как это нет ада? — Мюллер в ужасе опускается на стул. — Андерсен, опомнитесь, вы же губите свою душу! За такое вольнодумство вы сами будете осуждены на вечную гибель!

— Это мы еще посмотрим!

И разрешение спора откладывается до предполагаемой встречи в загробном мире, куда оба молодых человека совсем не торопятся попасть.

Мюллер живет в Кристиановой гавани. Это южный конец острова Амагер, отделенного от Копенгагена узким проливом, острова — сада и огорода, снабжающего весь город овощами и фруктами. Андерсен два раза в день отмеривает огромные концы от Хольмен-канала, около которого находится его мансарда, до жилища Мюллера. Сколько забавного он видит по дороге, какие причудливые мысли у него возникают! Их накапливается с каждым днем все больше и больше, и они жужжат в голове, как рой пчел. Положительно обидно было бы уморить их там, они так просятся на свободу! Иногда он потихоньку пишет страницу-две. Но самое главное хранится в памяти. Вот пройдут страшные экзамены, и, если все кончится благополучно, он напишет книгу об этих прогулках. Другие описывают свои впечатления от путешествий по далеким странам — ну, что же делать, он пока может только написать о «путешествии» на Амагер! Зато как он напишет! Никакого нытья, книга будет веселой и забавной, и тут-то он и ухватит за хвост капризную птицу славы!

Резкий звук колокольчика возвестил начало экзамена, и Андерсен почувствовал, что он холодеет от ужаса… Кончено! Гибель! Провал! Разве он может сейчас без ошибок написать длинное сочинение на этой проклятой латыни? Да у него все слова из головы как вымело!

От волнения из носу хлынула кровь. Бледный как полотно, прижимая к лицу платок, он в изнеможении опустился на скамейку. Большой зал был наполнен молодыми людьми,

явившимися сдавать Artium (экзамен на аттестат зрелости, в то же время бывший вступительным экзаменом в университет). Все они выглядели весело и беззаботно — вот счастливцы! Только он один навек пропащий человек… Однако нельзя терять время, необходимо собраться с мыслями. Должны же они появиться! Ведь последние месяцы он работал как вол, даже в гости совсем перестал ходить и только по ночам отводил душу в длинных письмах к Иетте Вульф, изливая все свои тревоги и надежды. Огромным усилием воли он преодолел слабость и взялся за перо. Одна фраза, другая, третья… Смотрите-ка, а ведь дело идет на лад! К концу он совсем успокоился и, сдав сочинение с твердой верой, что оно написано прекрасно, завязал разговор со своим соседом. Как, этот юноша, оказывается, тот самый Арнесен, чей водевиль идет в королевском театре? Андерсен поспешил назвать себя: он тоже не кто-нибудь, а автор стихов «Умирающее дитя» и «Вечер», которые даже такой строгий судья, как Гейберг, нашел достойными опубликования!

— Как же, как же! — обрадовался Арнесен. — Мы все их читали, это здорово написано. Значит, нашего полку прибыло! Знаете, ведь из поступающих целых тринадцать человек — поэты, а вы — четырнадцатый. Ну и весело же мы заживем, когда станем студентами! Будем устраивать вечеринки, петь песни, пить на брудершафт, читать стихи…

Да, перспективы заманчивые, что и говорить, но ведь для этого надо еще сдать столько экзаменов! Андерсен сравнивал себя с пловцом на утлой ладье в бурном море…

Устная латынь была коварным рифом, чуть не пустившим его ко дну. После нее дело пошло легче. Наконец из главных препятствий осталась только математика, но тут-то он покажет себя! Недаром же хельсингерский математик ставил ему «весьма хорошо». Однако и здесь не обошлось без небольшой катастрофы: уже к концу экзамена он обнаружил, что неверно списал условия задачи. От ужаса он потерял сознание. Товарищи привели его в чувство, вылив на него целую склянку одеколона, оказавшегося под рукой. С лихорадочной поспешностью он заново переписал задачу, моргая воспалившимися от одеколонного душа глазами, и наскоро решил ее.

Но всему приходит конец, даже экзаменам!

В латинском сочинении экзаменаторы углядели-таки несколько ошибок, — а он был так уверен, что все правильно! — да и по другим предметам отметки были не выше «хорошо». Но как бы то ни было, а все-таки победа!

23 октября 1828 года — это был один из самых счастливых

дней в жизни Андерсена. Только что полученный блестящий, плотный лист с университетской печатью и подписью декана факультета Эленшлегера удостоверял, что Ханс Кристиан Андерсен выдержал экзамены и является теперь студентом Копенгагенского университета. Он читал и перечитывал эту драгоценную бумагу. Он немедленно помчался к Коллину показать ее — вот оно, доказательство, что занятый по горло государственный деятель недаром тратил время и деньги на сына оденсейского сапожника!

И Коллин поздравлял его, и вся семья поздравляла его, а потом то же было у Вульфа, у Эрстеда и у всех знакомых. Затем пошли обещанные вечеринки, несчетное количество тостов, веселая неразбериха смеха и болтовни, круговые песни в честь нерушимой студенческой дружбы, в честь прекрасных девушек, чьи имена живут в сердцах присутствующих (многие, в том числе и Андерсен, брали эти имена с потолка: с обычаем не поспоришь, полагается студенту быть влюбленным, да и только!), ночные возвращения, когда веселые голоса разносились далеко по спящим улицам, заставляя встрепенуться задремавших извозчиков и сердя ночных сторожей…

Да, жизнь необычайно хороша, но все-таки хор поздравлений и шумные сборища — это еще не главное. А главное — это засесть и написать задуманную книгу «Путешествие на Амагер». Наконец-то можно это делать с чистой совестью, не оглядываясь на латинскую грамматику, не боясь укоряющих глаз Коллина и фру Вульф!

Он строчил без остановки: стол был завален ворохом исписанных листов. «Путешествие» — это слово само за себя говорит. Он идет по вечерним улицам Копенгагена — вот вам и весь сюжет; фантастические встречи, латинские цитаты, рассуждения и веселые остроты вытягивались причудливой цепочкой, только успевай записывать.

Вот он встретил на пустынной заснеженной улице тощего кота. Бедняга раздирающе мяукал.

Но ведь поэт понимает и кошачий язык! Тем более, что кот оказался его коллегой — сочинителем. Жалобное мяуканье было стихами о страданиях юного поэта среди пустых и фальшивых кошек, думающих только о молоке да сале. Эти стихи явственно напоминали недавнее творчество самого автора «Путешествия», да и следующие за стихами жалобы страдальца толстой доброй тетушке-кошке были как две капли воды похожи на излияния Андерсена сочувствующим дамам.

В довершение комического сходства тощий лирик-кот любил петь. Но когда они с тетушкой затянули дуэт, жестокий ночной

сторож швырнул в них ледяшкой с криком: «Брысь, сатанинское отродье! Это еще что за визг?» — и оскорбленные певцы скрылись в подворотне.

Тощий кот, сочиняющий элегии, лунатик, появляющийся на страницах книги в одном плаще поверх ночной рубашки и рассуждающий о двойниках, — это были пародии на самого себя.

Веселая румяная девушка с Амагера с корзиной вишен на руке и бледная дама с загадочным взором тащили растерявшегося поэта в разные стороны — они тоже оказывались воплощениями его собственных качеств: склонности к описанию бытовых сценок и вполне земному юмору — и противоположной этому тяге к возвышенным, трагическим темам.

Изображая ночной спор путешественника с лунатиком, Андерсен пробовал решить волновавший его вопрос: как быть с чудесами? Двойники, призраки — весь этот обычный романтический арсенал вызывал у него иронию. Но с прозаическим бюргерским отношением к жизни он тоже никак не мог примириться. Ясно же, что жизнь — это не просто цепь обедов и визитов, служебных успехов и неудач… Ключ к решению Андерсен искал в поэтическом восприятии загадок природы, законов мироздания. (Он много разговаривал об этом с физиком Эрстедом.) Вот где подлинные чудеса, без всяких привидений! Разве не чудо, что земля, как мячик, летит себе в пустом пространстве и вовсе не думает падать? И смена времен года — тоже чудесная вещь, если вдуматься…

Путешествуя на Амагер по копенгагенским улицам, он много размышлял, учился смотреть и слушать. И хотя единственным героем книги пока что оставался он сам — со своими мечтами и выдумками, быстрой сменой настроений, смесью вздохов и юмора, но вокруг этого лирического героя уже вырисовывались очертания самых обыкновенных, будничных вещей, о которых, оказывается, можно рассказывать очень интересные истории: «Путешествие на Амагер» — это была присказка, а сказка маячила впереди.

— А неплохо все-таки жить на чердаке! — рассуждал сам с собой Андерсен, наводя порядок в своей каморке. — Мало места — значит мало вещей. Раз-два, один стул сюда, другой туда, стойте смирно! Богачи на первом этаже глотают уличную пыль и слушают грохот, а у меня тут тихо — разве что воробьи побранятся между собой! — и свежего воздуха хоть отбавляй. Крутая лестница — стало быть, можно не опасаться лишних визитов; по этим ступенькам решишься карабкаться или из бескорыстной дружбы, или уж по крайней необходимости. Вот и

выходит, что в бедности есть своя хорошая сторона.

Он окончил уборку и огляделся удовлетворенный: все чисто, нигде ни соринки. Вполне приличный вид у комнатушки, даром что потолок косой!

Андерсен умел находить хорошие стороны в самых, казалось бы, не подходящих для этого вещах. Особенно теперь, когда жизнь ему улыбалась.

Предчувствие на этот раз не обмануло его: «Путешествие на Амагер», после неизбежных волнений и хлопот с изданием благополучно увидевшее свет, принесло ему долгожданный успех.

Книга вышла в начале января 1829 года, а уже в конце месяца появилась благожелательная рецензия Гейберга. Он отмечал несомненный талант молодого автора и сравнивал вещь с музыкальной фантазией, где прихотливо чередуются пестрые картинки, окрашенные изменчивым настроением. Похвала Гейберга — это был настоящий диплом на звание поэта. Книгу покупали, читали, о ней спорили. Полковник Гульдберг прислал из Оденсе восторженное письмо с описанием своих впечатлений. Студенты дружно решили, что из четырнадцати университетских поэтов Андерсен звезда первой величины. Успех «Путешествия» разрешил и денежный вопрос — по крайней мере на ближайшее время, — а это значило, что ни у кого не надо просить о помощи (королевская стипендия прекратилась еще в ноябре, после зачисления в студенты). И главное, что его вера в свой поэтический талант наконец-то получила подкрепление извне! Правя корректуры, Эдвард Коллин стремился приблизить стиль книги к общепринятым образцам. «Так не пишут!» — то и дело замечал он, указывая на слишком вольные, не причесанные на обычный лад фразы. «Да, но так говорят! — восклицал Андерсен. — Почему это я должен писать засушенным книжным языком!» — «Ну, смотрите, достанется вам от критиков, и поделом…» — пожимал плечами Эдвард.

Теперь Андерсен мог торжествовать: даже такой строгий судья, как Гейберг, не сделал никаких замечаний о небрежности стиля.

Итак, мечты исполнились: он студент и писатель. Для полноты счастья оставалось завоевать еще одну крепость — королевский театр. Снова пробовать свои силы в трагедии Андерсен не хотел. Перечитав как-то свои прежние опыты, он с возмущением захлопнул рукопись: все это просто беспомощный набор высокопарных фраз. Как он мог не видеть этого раньше? Подумав, он пришел к выводу, что и в признанных драмах, идущих на сцене, монологи героев звучат до смешного напыщенно, ни один человек на свете не стал бы так выражать

свои чувства. Даже… Да, даже великий Эленшлегер иногда этим грешит, если говорить честно. Не лучше ли попытаться написать что-нибудь в духе водевилей Гейберга — изящных, остроумных, живых? Только бы напасть на подходящую тему…

Размышляя обо всем этом, Андерсен рассеянно глядел в окно своей мансарды. Там, за крышами домов, высилась Николаева башня, и каждый день можно было наблюдать за крохотной фигуркой сторожа, взбирающегося наверх. Как и многие другие — прохожие на улице, люди, мелькнувшие в окошках домов, — сторож, сам того не зная, получил от Андерсена имя, историю жизни и розовощекую дочку Элину.

Сегодня старик, по-видимому, устал и озабочен: он двигается, опустив голову, медленнее обыкновенного. Ах, наверно, упрямая Элина влюбилась в нищего портняжку и не хочет выходить замуж за степенного, солидного человека — сторожа соседней башни. Так часто случается в жизни и в водевилях тоже. Только в водевилях грозный отец бывает не сторожем, а графом, а отвергнутый им возлюбленный дочери — бедняком-лейтенантом. Но ведь можно написать и о стороже такую историю, почему бы нет? О, вот идея! Андерсен хлопнул себя по лбу и забегал по комнате, стукнувшись головой о низкий потолок. Сторож, Элина и веселый портняжка с ножницами и аршином станут героями водевиля, это решено. Но соль-то будет в том, что в уста влюбленных он вложит высокопарные монологи с обветшалыми «красотами стиля», и тут всем зрителям станет ясно, до чего все это комично звучит, до чего непригодно для выражения простых, обычных человеческих чувств. А ведь, в сущности, любовь принцессы ничем не отличается от любви дочки сторожа, разве только что последняя естественнее и проще… Да заодно можно будет посмеяться и над некоторыми искусственными приемами водевилей: они тоже не способны передать, не упрощая, самую простую жизненную ситуацию. Все трудности быстренько исчезают к концу действия, и счастливая развязка наступает неизбежно, как бы это ни было невероятно…

В старом доме Коллинов было темно и тихо: вся семья, кроме больной хозяйки, ушла в театр. Давным-давно было заведено, что Коллины не пропускают ни одной новой постановки, а к тому же сегодня, 25 апреля 1829 года, премьерой была «Любовь на Николаевой башне»!

— Ох, только бы не освистали нашего Андерсена! — со смесью иронии и тревоги говорила Ингеборг, собираясь в театр. — Он же тогда просто повесится с отчаяния… И притом непременно сделает это на наших глазах.

— Вполне возможно, — согласился Эдвард. — А кроме того, если пьеса провалится, это будет страшно неприятно отцу. Ведь он отстоял ее, когда Раабек кричал, что нельзя ставить пародию на Эленшлегера на той же сцене, где идут его великие трагедии.

— Бедный Андерсен, он, наверно, сейчас мечется за кулисами и совсем потерял голову от волнения! — вздохнула мягкосердечная Луиза.

— Идете ли вы наконец? Ведь мы опоздаем! — подал голос из прихожей Древсен, муж Ингеборг.

Наконец все ушли, и только полуслепая, прикованная к креслу фру Коллин, сидя в уютном углу библиотеки, предавалась неторопливым воспоминаниям и размышлениям.

Вот как дети растут! Давно ли, кажется, они по утрам галдели, собираясь в школу, и отец ходил от одного к другому, проверяя, все ли в порядке. А теперь вон у Ингеборг своя малышка, не успеешь оглянуться, начнет учить азбуку. И Луизе уже шестнадцать лет, скоро пора и о женихе подумать… И совсем уж недавно муж привел в дом неуклюжего долговязого юнца, которому предстояло сесть на школьную скамейку. Глядишь, а он уже поэт, водевили ставит в королевском театре… Правда, все считают, что талантишко у него не бог весть какой — и Гейберг-то, наверно, его похвалил только из уважения к дому Коллинов! — но сердце, ничего не скажешь, золотое. А что он такой суматошный, чудной, непрактичный, так это с годами пройдет. Бросит свои фантазии, женится, остепенится и станет как все люди…

Тишину нарушили торопливые шаги. Кто-то ворвался в библиотеку с невнятным возгласом, бросился на стул и разрыдался.

Фру Коллин всмотрелась, подслеповато щурясь: ну так и есть, это Андерсен… Ах, бедняжка!

— Да не расстраивайтесь вы так, с кем этого не бывает! — стала она его ласково уговаривать. — Ну провалилась пьеса, освистали, что ж такого? Другой раз, даст бог, больше повезет. Вы же знаете нашу публику: ее хлебом не корми, а дай посвистать! Ведь случалось, что и самого Эленшлегера освистывали…

Рыдания внезапно смолкли, и Андерсен вскочил со стула.

— Милая, дорогая фру Коллин, что это вы тут говорите? Меня же вовсе не освистали, ничего подобного! Мне хлопали и кричали: «Браво, Андерсен!» Ну, были там два-три свистка, но они совершенно потонули в аплодисментах. Там же было полно наших студентов, разве они дадут товарища в обиду?

— Так чего же вы тогда плачете, чудак?

— Ах, я никак не мог удержаться! Это от счастья, наверное!..

И потом я так устал, так переволновался…

Андерсен быстро заходил по комнате. Плакать ему больше совсем не хотелось. Напротив, он чувствовал себя заряженным радостью: ничего не было бы удивительного, если б в полутьме библиотеки заблестели бы искорки, летящие от него! Он засмеялся этой выдумке.

— Ох, фру Коллин, как это вы говорите о нашей публике? — весело заговорил он, стремясь разрядиться шутками. — Это самая добрая, самая отзывчивая публика на свете! Если завсегдатаи галереи и имеют привычку с хрустом есть яблоки во время трагедии, то ведь зато они эти яблоки поливают горькими слезами! А недавно, когда на сцене герой умирал голодной смертью в темнице, какая-то добросердечная толстая мадам кинула с галереи огромный бутерброд, да так ловко, что он угодил прямо в рот несчастному узнику. И поднялся же шум! Капельдинеры бегают, зал хохочет, а некстати спасенный страдалец давится колбасой… Ну, я побежал к Вульфам, они, наверное, как раз вернулись из театра!

Поздней осенью деревья Розенборгского сада дрожали от резкого ветра и роняли с голых сучьев крупные капли. На размякших дорожках глубоко отпечатывался каждый шаг. Темные, низко нависшие облака то и дело меняли причудливые очертания, будто на небе, кривляясь, вели хоровод сказочные чудовища.

Не обращая внимания на грязь, облепившую калоши, Андерсен пробирался между деревьями. Вот оно, знакомое место. Здесь стояло его любимое дерево, он заметил его еще в свою первую весну в Копенгагене. Тоскуя об оденсейских буковых лесах, он бродил тогда по парку и наткнулся на удивительно славное деревце. Оно первым рискнуло раскрыть почки и выпустить свежие светло-зеленые листики, и Ханс Кристиан обрадовался ему как другу. Он обнял тонкий ствол, говорил что-то бессвязное, вперемешку стихи и прозу, а сторож принял его за сумасшедшего. С тех пор он подружился с этим деревом.

Сейчас оно стояло такое же черное и унылое, как его соседи вокруг, оплакивая свою утраченную зелень и улетевших птиц.

Андерсен тяжело вздохнул и опустился на скамейку. Девять лет назад он сиживал на ней в часы обеда: приходилось уходить из дому, чтобы хозяйка не догадалась, как плохи его дела, и съедать припасенный кусок хлеба здесь, в саду… Да, но все-таки он был тогда счастлив — куда счастливее, чем сейчас. Он о чем-то мечтал, куда-то стремился и вовсе не понимал, что мир — мрачная пустыня, а человек — пылинка, гонимая злым вихрем

судьбы к отверстой могиле («пожалуй, это можно будет использовать в каком-нибудь стихотворении»).

Как подумаешь обо всех невзгодах и страданиях, на которые мы осуждены, так только диву даешься, что люди еще не разучились улыбаться…

Смеркалось, ветер пробирал до костей, и продрогший поэт меланхолически побрел к выходу из парка.

Сидя за вечерним чаем у Коллинов, он непривычно молчал и вздыхал так, что колебалось пламя ближней свечи.

— Что-то свеча слева плохо горит! — сказала Ингеборг. — Андерсен, вы забываете о своих обязанностях снимателя нагара!

Все так же молчаливо и безучастно он взял щипцы и поправил свечу. Коллины понимающе переглянулись: бедняга опять страдает от своей неудачной любви!

Эдвард сделал сестрам знак глазами: разговорите его как-нибудь, это по вашей части! На подвижном лице Ингеборг сменялись сочувствие и желание подразнить неутешного страдальца.

— Андерсен, может быть, вы хотите нам прочесть какие-нибудь стихи? — бодрым тоном предложила она наконец. Это был знак величайшей милости: обычно поэт терпел от нее жестокие насмешки за вечные попытки свести разговор на свое новое произведение. Но даже такое великодушие Ингеборг не смогло вывести его из мрачного отчаяния.

— У меня нет новых стихов, — грустно покачал он головой.

Это, конечно, была чистейшая ложь: исписанные листки торчали из его кармана. Но читать стихи о своей любви, подвергнуть обычной беспощадной критике эти стоны сердца, разбитого навек, — нет, это было свыше его сил!

Он рано ушел от Коллинов и долго ворочался без сна на своей скрипучей кровати. Наконец в уме его сложились стихи об осени, вереницах птиц, тянущихся на юг, о тоске; это как-то утешило его, и он смог уснуть.

Ураган любовных переживаний ворвался в его жизнь совершенно внезапно. Все шло прекрасно: он успешно сдал два университетских экзамена, дававших право на звание кандидата философии. После этого можно было оставить ученье или, решив стать юристом, пастором, учителем, продолжать занятия уже по выбранной специальности. С трепетом он ждал, что скажет старый Коллин.

«Идите по выбранной вами дороге, и дай вам бог успеха», — ласково сказал тот. С этим благословением человека, мнением которого он свято дорожил, Андерсен энергично ринулся в новые битвы. Он опубликовал небольшое описание Оденсе и его

живописных окрестностей, издал сборник стихов, встреченный читателями довольно благосклонно, а затем, стремясь создать что-нибудь крупное, значительное, задумал написать исторический роман «Карлик Кристиана Второго». Это оказалось делом не легким. С утра до ночи пришлось сидеть за книгами, изучая обычаи, костюмы, религиозные представления, язык датчан XVI века, утопая в ворохе цитат и выписок, но роман все не двигался вперед.

Наконец Андерсену пришло в голову, что толк из работы выйдет только тогда, когда он своими глазами посмотрит все те исторические места, где должно происходить действие. Коллин одобрил эту мысль, снабдил его рекомендательными письмами к крупным провинциальным чиновникам, и вот в прекрасный летний день пароход с поэтом на борту отплыл от копенгагенской пристани.

Суровая красота моря, песчаные берега Ютландии, меловые утесы, над которыми с криком вьются чайки, чистенькие крохотные города, старые замки и крепости — все радовало его, все прочно оседало в памяти. Он завязывал разговоры с самыми разными людьми: плотным, кряжистым крестьянином, медленно и скупо отмеривающим слова, и бойкой служанкой на постоялом дворе, старым ученым-историком и маленькой девочкой, гоняющейся за бабочками, — и все они становились его друзьями.

Но вот он заехал в городок Фоборг погостить несколько дней у университетского приятеля и тезки Кристиана Войта, и тут-то ждала его погибель! В богатой и безвкусно убранной гостиной Войтов ему навстречу поднялась черноглазая девушка в белом платье. Это была сестра Кристиана — Риборг. Краснея от смущения и удовольствия — столичный поэт в их скучном Фоборге! — она стала поправлять розу, приколотую к корсажу, и уронила ее. Андерсен галантно поспешил поднять цветок.

Та минута, в которую она благодарно взглянула на него, вертя розу в руках, решила все.

— Как удивительно, ведь несколько дней назад я видел ваш портрет в картинной галерее, старого замка! — сказал он после обмена обычными при первом знакомстве фразами.

— Мой портрет?! — удивленная Риборг широко раскрыла блестящие глаза.

Андерсен, не жалея красок, описал, как косой луч солнца озаряет мрачную стену и из старинной тяжелой рамы улыбается самое прелестное девичье лицо, какое только можно себе представить… Сияющие черные глаза, белое платье, роза в руках — все это поразило его. Девушка из замка снилась ему во сне, но мог ли он думать, что встретит ее наяву?

Риборг была неслыханно польщена: да, от фоборгских кавалеров этаких комплиментов не дождешься! Она поспешила сказать, что недавно перечитывала «Путешествие на Амагер». А какова была та девушка, о которой там пишется? В том месте, где поэт, занесшись в мечтах на триста лет вперед, видит в легких дрожках улыбающуюся красавицу, хочет вскочить на подножку… и, очнувшись, оказывается одной ногой в корзине старой торговки пряниками.

— Конечно, эта девушка была брюнеткой, с нежным румянцем, с выразительными глазами, сверкающими, как черные бриллианты, — описывал Андерсен, глядя на краснеющую собеседницу.

Три дня в Фоборге были волшебным сном. Риборг звонко смеялась, и на ее щеках выступали чудеснейшие ямочки. Риборг готова была часами слушать его стихи, особенно те, которые явно относились к ней. Риборг собирала цветы в саду, чтобы подарить ему на прощание красивый букет. Риборг была самой очаровательной, самой умной, самой доброй девушкой на земле. Героиню его исторического романа будут звать Риборг — разве есть на свете имя лучше этого?

Кристиан Войт, конечно, заметил, что сестра кокетничает с его приятелем, но не придал этому серьезного значения. Только осенью, в Копенгагене, он узнал, что Андерсен смертельно влюбился и нет ему без Риборг счастья на земле.

«Вот беда! — вздыхал про себя молодой Войт. — Кто бы мог подумать, что летний флирт обернется так серьезно…» Ему было от души жаль Андерсена: ведь Риборг-то уже помолвлена! Как бы об этом сказать половчее? А пока что Риборг приехала погостить в Копенгаген, и влюбленный поэт немедленно примчался с визитом. Опять пошли стихи, взгляды, вздохи, смех и многозначительные фразы, сказанные нарочито небрежным тоном.

Риборг радовалась этой интересной игре без всякой задней мысли. Почему не порезвиться напоследок? Скоро она выйдет замуж за своего нареченного, сына аптекаря, и заживет, как ее мать, как бабушка и прабабушка, жизнью хлопотливой хозяйки-домоседки. Ну, а пока… Бедный Андерсен, он так влюблен, просто с ума сходит! Не каждой девушке удается вызвать к себе такие чувства, да еще у поэта. Он все принимает всерьез — это даже опасно…

Да, Андерсен был полон самых серьезных намерений. Риборг благосклонна к нему, это ясно. Он любит ее так безумно, как никто никогда еще на земле не любил. Но ее родители — богатые люди, а он — бедный поэт с туманными надеждами и сотней-

другой ригсдалеров в запасе. «Куда вам, голубчик, жениться! — скажут ему. — Что ж, вы хотите, чтоб Риборг жила с вами на чердаке и питалась хлебом с колбасой? Нет, вы найдите себе приличную службу, накопите деньжонок, снимите хорошую квартиру, ну, тогда мы еще подумаем…»

В иные минуты он чувствовал прилив отчаянной решимости: ну что ж, ради Риборг можно пойти на все, даже… Ну да, даже на то, чтоб расстаться с поэзией, если уж иначе никак нельзя! Правда, где-то в тайниках души он чувствовал, что из этого ничего не выйдет. Он мог голодать, мог бедно одеваться и жить на чердаке — подумаешь, какая невидаль! — но он не мог не писать, это ему было так же необходимо, как дышать. Но пока что он отмахивался от таких мыслей. Сообщение Кристиана о женихе — сыне аптекаря толкнуло его на решительное объяснение с Риборг. До сих пор он выражал ей свои чувства при помощи стихов, и это не требовало от нее ясного ответа. Получив же письмо, где влюбленный поэт клал к ее ногам свое сердце и свое будущее, она растерялась. Выйти замуж за Андерсена — нет, нет, этого она никак не предполагала. Но все-таки ей было его очень жаль. Утирая слезинки, повисшие на длинных черных ресницах, она писала ответ: внезапный отказ разбил бы сердце ее жениху, она не вправе этого делать. В ее распоряжении только чувство нежной дружбы, не может ли Андерсен этим удовлетвориться? Ах, она от всей души желает ему поскорее утешиться и забыть ее!

«Не делайте меня несчастным! Я могу стать чем угодно ради вас, я буду служить и сделаю все, что потребуете вы и ваши родители!» — перечитала она еще раз его умоляющий призыв и, вздохнув, вложила в конверт свой отказ.

Поэтическая страничка ее жизни была перевернута.

ГЛАВА VI
ПТИЦА ДРУГОЙ ПОРОДЫ

Шел 1830 год, и из Франции веяло бурей. Снова на парижских улицах раздавалась «Марсельеза», снова были свергнуты ненавистные народу Бурбоны. Газеты приносили в Копенгаген известия об этом, и были, наверно, среди их читателей горячие головы, сочувствовавшие французам, но таким волей-неволей приходилось помалкивать.

В копенгагенских гостиных вообще не принято было думать и говорить о политике.

«Политика — это гиена, пожирающая все высокое и прекрасное», — сказала Иоганна Луиза Гейберг, звезда копенгагенской сцены. К этому мнению охотно присоединились и аристократы и обыватели, больше всего на свете ценившие свой покой. Так думали и многие писатели. Зато они вели долголетние и горячие споры о том, что важнее для поэта: голос вдохновения и близость к природе или голос рассудка и солидное образование. Ингеман и Гаух, последователи Эленшлегера, стояли за первое, Гейберг и Герц — за второе. Отсюда вытекал и спор о значении тщательной, ювелирной отделки формы. На эти темы охотно и много рассуждали и литераторы на страницах газет и светские люди в гостиных.

— Разумеется, нет ничего важнее формы! — утверждал какой-нибудь молодой юрист, сторонник Гейберга. — Посмотрите на прекрасную статую, и вам это станет ясно. С какой тщательностью и изяществом скульптор обработал грубый

материал, данный ему природой! То же и в поэзии: остроумный рассудительный человек с хорошим вкусом всегда напишет лучше, чем растрепанный мечтатель, вздыхающий на луну и не изучивший в совершенстве классических авторов.

— Но зато Ингеман, говорящий, что поэт должен жить в стороне от толпы и прислушиваться прежде всего к голосу сердца, больше обращает свои мысли к богу, а это так полезно в наш развращенный век! — возражал ему почтенный пастор.

— Все эти ваши стихи — пустые забавы и побрякушки! — высказывался богатый коммерсант. — Но против водевилей Гейберга ничего сказать нельзя: посмотрев их, можно от души посмеяться, а это хорошо освежает после делового дня.

Что думает по этому поводу народ, спорящих не интересовало: куда уж необразованному человеку судить о таких сложных вопросах!

И народу нужен был писатель, который заговорит на понятном всем языке и сумеет взволновать, заставит посмеяться, а потом и задуматься над прочитанным любого человека, даже если у него и нет университетского диплома.

Зимой 1831 года копенгагенские читатели, следившие за спором Гейберга с группой Эленшлегера, оживленно обсуждали стихотворный памфлет «Письма выходца с того света». Анонимный автор выступил от лица покойного Баггесена, старого противника Эленшлегера, и ядовито высмеивал писателей, не уделявших достаточного внимания вопросам формы. Больше всех досталось от него Андерсену.

Вон скачет Андерсен ретиво
На тощем ослике хромом.
Фантазии прокисшей пиво,
Стишки рождая, бродит в нем…

И дальше автор в грубом и высокомерном тоне издевался над невежеством вчерашнего бородатого школьника, не одолевшего грамматику, но претендующего на поэтическую славу.

Пусть бы сидел себе в темном углу да не смешил людей! На ледащем ослике вместо крылатого Пегаса не взобраться ему, недоучке, на священную гору Парнас!

Все это глубоко оскорбило впечатлительного Андерсена. Вскоре выяснилось, что памфлет принадлежал перу Герца, автора модных тогда пьес, приверженца Гейберга. Впрочем, Гейберг счел нужным вступиться в своей «Летучей почте» за Гауха и Ингемана, задетых Герцем. Для Андерсена же у него не нашлось доброго слова.

Сначала влиятельный критик благосклонно относился к молодому поэту, ценя в нем живость и юмор. В «Путешествии на Амагер» он правильно почувствовал близость Андерсена к его собственным позициям и приветствовал его. Но в блестящем салоне Гейберга не могли принять как равного, как своего неотесанного юнца с оденсейских окраин, с таким трудом пробившегося к образованию. Там превыше всего ценились шлифовка и лоск, полученные с колыбели.

В споре о форме окончательно выяснилось их коренное различие. Кое в чем Андерсен испытал на себе влияние Гейберга, хотя бы через Коллинов, восхищавшихся остроумным критиком. Так, он готов был в те годы признать, что «политика — гиена». Но врожденное демократическое чутье сына сапожника давало себя знать и в вопросах поэзии.

Андерсен не мог согласиться, что писать надо для избранного кружка знатоков и ценителей, и не хотел верить, что изящная отделка формы — главная задача поэта.

И, хотя его очень страшила немилость Гейберга, здесь он упорно стоял на своем.

— Чем проще, тем лучше! — говорил он о форме. — Что там ни говори, а внутреннее содержание, чувство и мысль поэта — это и есть главное, форма от них зависит.

— Это вы так думаете потому, что недостаточно изучили образцы и сами плохо владеете формой! — возражали ему и указывали на ошибки и слабые места в его стихах.

— Ну хорошо, пусть это так… — скрепя сердце соглашался он. — Но разве бесхитростные мелодии народных песен не прекрасны? Разве простенькие ромашки и подснежники радуют глаз меньше, чем пышные георгины и тюльпаны? И потом хотел бы я знать, станете ли вы есть пирожное самой затейливой и изящной формы, если в нем нет ни вкуса, ни запаха?

— Нет, Андерсен, не обижайтесь, — голубчик, но надо вам сказать прямо: не беритесь толковать о таких сложных вещах. Лучше уж слушайте, что говорят понимающие люди, да помалкивайте. И не вздумайте ссылаться на пример Эленшлегера, он не вам чета. Вам необходимо бороться с вашим опасным самомнением! — отповедь такого рода он мог услышать даже от своих друзей. А уж о посторонних и говорить нечего: смеяться над «чудаком Андерсеном» просто вошло в привычку.

Копенгагенские дамы злорадствовали, читая памфлет Герца: так и надо этому Андерсену! Принимают его в хорошем обществе, терпят его вечную декламацию, а он, вместо того чтобы радоваться и благодарить, взял да и написал стихотворение «Тараторки», где издевается над дамской пустой болтовней и

пересудами. Ну, разумеется, это гнусная клевета, ни в одной гостиной он таких глупых сплетниц не мог встретить, но ведь люди бывают так злы! Поверят поэту, а потом поди доказывай, что не тебя и твоих приятельниц он имел в виду… Нет, мало ему еще досталось от Герца!

Ему было очень трудно. Другое дело, если б он мог полностью примкнуть к одной из литературных «партий», тогда авторитетные, уважаемые люди с той или иной стороны взяли бы его под свою опеку. Но он не мог этого сделать: ему надо было искать собственный путь.

«Если бы я следовал всем их указаниям и советам, — думал он, слушая своих друзей или читая отзывы критиков, — я стал бы как две капли воды похож на их «образцы». Тогда они были бы довольны. Но зато во всех моих произведениях не осталось бы ни строчки своей, оригинальной. Нет, я не буду писать ни «как Эленшлегер», ни «как Гейберг». Я хочу писать «как Андерсен»! Что в этом дурного?» А когда он пытался это высказать, его назвали самонадеянным упрямцем.

Весной 1831 года, видя уныние и мрачность своего питомца, страдавшего от воспоминаний о Риборг и от ядовитых укусов критики, старый Коллин помог ему отправиться в путешествие по Германии.

Это оказалось чудесным целительным средством. Большие шумные города, живописный лесистый Гарц, воспетый его любимцем Гейне, встречи с немецкими поэтами — все заставляло поэта забыть домашние горести. Полный новых впечатлений, приободрившийся и оживленный, Андерсен к осени вернулся в Данию и новыми глазами увидел привычные места.

Оказывается, Копенгаген — вовсе не большой и шумный город: главная улица выглядит сонной и малолюдной даже в самые оживленные часы!

А в гостиных все то же переливание из пустого в порожнее, каждая сплетня все так же молниеносно обходит город — от дворца до мелочной лавочки — и по дороге растет, как снежный ком.

Каким огромным и сказочно прекрасным казался ему этот узкий мирок двадцать лет назад!

Теперь островерхие башни напоминали уже не о замке Аладдина, а о ехидно торчащих перьях придирчивых критиков. Ничего, он еще поборется!

Новая книга «Теневые картины» росла с каждым днем. Это была цепь зарисовок из альбома путешественника, где скользят легкие силуэты людей и вещей. В ней заметно было влияние

Гейне: и в заглавии, и в непринужденной манере изложения, и в сочетании блесток юмора с лирическими взлетами фантазии. Но создать вещь, равную гейневским «Путевым картинам», Андерсену мешала его аполитичность. Книга немецкого поэта была написана не только талантливым лириком и острым наблюдателем, но и человеком с пером публициста, будущим мастером политической сатиры.

Андерсен же, проезжая по Германии, в общественные вопросы не вникал и ухитрился просто не заметить в немецких литературных кругах возбуждения, связанного с отзвуками революционных событий во Франции. Это сильно сужало кругозор путешественника.

И все же «Теневые картины» были заметным шагом вперед по сравнению с «Путешествием на Амагер». Недаром впоследствии, говоря об истоках своих сказок, Андерсен вспоминал об этой книге. Здесь его фантазия устремилась к образам реальной действительности, и волшебный вымысел использовался для самых земных целей, а не уносил в заоблачный мир.

Сказки вмешивались в обычную жизнь.

…Дилижанс, везущий путешественника, медленно катится по Люнебургской степи. Кажется, что можно увидеть интересного в храпящих соседях и в унылом однообразии вокруг? Ну, это зависит от того, как посмотреть!

Глянь — что-то замелькало в потоке лунного света… Это крохотные эльфы пришли на помощь к поэту. Они решили позабавиться над спящими пассажирами. Это кто такой? Степенный старик аптекарь? Ну-ка, пусть ему приснится самый невероятный сон! Сказано — сделано. Аптекарь взвивается высоко над крышами на паре добротных крыльев. Вот так прогулка! А толстый дрезденский купец? Этот и во сне может увидеть только денежные махинации. Ему эльфы посылают ослепительное видение: он на бирже, где цены на акции достигают небывалых размеров, вздуваются, как чудовищный мыльный пузырь. Больше купца ничем не проймешь. Студенту снится лекция по философии — ох, сколько в ней туману, сколько ученых, заковыристых слов, прямо глаза на лоб лезут!

А вот эльфы добрались до бледного долговязого человека в углу. Э, да он не спит и видит все их проделки! Оказывается, это поэт. Ну, тогда о нем надо позаботиться как следует… Высунув голову в окно кареты, путешественник смотрит на унылую равнину кругом. Унылую? Да в том-то и дело, что это вовсе не так! Каждая песчинка блестит, как драгоценный камень, травы переплетаются, образуя легкие арки и мосты, разукрашенные сияющими каплями росы, а вдоль дороги таинственно шуршат

огромные черные сосны. Лунные блики, трепетные тени движутся, мелькают, живут. Это те же неугомонные эльфы пляшут в траве и катаются на шариках-росинках.

И над сказочной ночной жизнью степи — безбрежное прозрачное небо с переливчатыми звездами…

Эту сказку путешественник встретил по дороге, а другая пришла к нему в гости в городе Брауншвейге и отлично помогла высмеять нелепые «раздирательные» мелодрамы, раздражавшие его не только в Германии, но подчас и на копенгагенской сцене.

В брауншвейгском театре путешественника угостили как раз такой стряпней. «Три дня из жизни игрока» называлась пьеса. Боже ты мой, сколько там было криков и слез, тайн и убийств! К концу первого дня игрок учинил расправу над собственным отцом, к концу второго всадил пулю в живот неповинному человеку… А ну, как на третий день он, раззадорившись, примется и за зрителей? Лучше уйти из театра от греха подальше…

Отдыхая в номере гостиницы от бурных театральных переживаний и размышляя о пьесе, путешественник услышал стук в дверь. Это был старый король. В зубчатой короне, со скипетром в руке — все как полагается! — он явился к поэту прямо из сказки, которую тот припоминал. А сказка вот какая: жил-был король, до того доверчивый, до того простоватый, что самую чудовищную ложь он принимал за правду. И, как назло, ему до смерти хотелось услышать что-нибудь невероятное. Как тут быть? Он обещал руку своей дочери и полцарства в придачу тому, кто расскажет ему небылицу. Ясное дело, охотников явилось немало! Но как они ни старались, как ни врали без всякого удержу, старый король только годовой кивал: «Ну что ж, все это вполне могло случиться». Королевна так и зачахла, не дождавшись жениха, а король умер, горюя, что не слышал лжи. И вот до сих пор он не знает покоя.

Выслушав его жалобы, путешественник мигом сообразил, как помочь беде, и рассказал старику «Три дня из жизни игрока». Ну и обрадовался же король!

«Наконец-то я слышу ложь! — закричал он. — Ничего подобного на свете не бывает!»

Вот и выходит, что сказки нечего отправлять в далекие времена да в тридесятое царство, они вполне могут и сегодня пригодиться поэту, надо только знать, как за них взяться!

«Теневые картины» вышли осенью, и рецензии на них были в тон моросящему дождику и свинцовому небу. Разговоры, частенько достигавшие авторских ушей, тоже не радовали.

«Слышали? Этот Андерсен опять выпустил новую книгу. Он печет их, как блины!»

«Каких-то два месяца поездил по Германии! Тут и писать-то не о чем».

«Сидел бы лучше дома да учился, а то разъезжает…»

Из критиков главным его гонителем был ученый педант Мольбек, составитель словаря, в рамки которого Андерсен, употреблявший живую разговорную речь, никак не мог уложиться.

К первому сборнику стихов молодого поэта Мольбек, впрочем, отнесся снисходительно, но уже в рецензию на второй («Фантазии и эскизы», наполовину вдохновленные любовью к Риборг) подлил изрядную долю уксуса.

Талант кое-какой есть, писал он, но о форме поэт заботится мало. Притом же в стихах чувствуется влияние Гейне. («Это правда! — воскликнул Андерсен, прочитав рецензию. — И все же нигде я не писал еще так от себя, как здесь!»)

Теперь Мольбек обрушился на «Теневые картины». Он бранил книгу за легкомыслие, за отсутствие обстоятельных, последовательных описаний. Похоже было, что, раскрыв «Теневые картины», он ожидал найти там пособие по географии и был возмущен, когда его надежды не сбылись.

Как всякий педант, Мольбек терпеть не мог шуток.

Делая дотошные, тяжеловесные примечания к легким шутливым фразам книги, он все время доказывал, что шутить тоже надо по правилам, которыми Андерсен по невежеству пренебрегает.

«Природа — это дама, и притом очень старая дама: она существовала еще до Мафусаила», — читает Мольбек в «Теневых картинах». Нет, это не годится! Мафусаил, известный из библии своим долголетием, Мольбека не устраивает: здесь, по его мнению, автор обязан был упомянуть Адама и никого больше!

Не подозревая еще, какие упреки он на себя навлечет, Андерсен беспечно продолжает шутить: «…И эта старая дама очень хочет нравиться нам и удивлять нас». Мольбек и здесь находит ошибку. Старая дама… хочет нравиться… «А разве молодые дамы не хотят нравиться?» — строго спрашивает он в рецензии.

Да, пожалуй, такой разбор книги мог надолго отбить у автора охоту к шуткам…

Хуже всего было то, что Андерсен не умел — и никогда не научился — относиться к подобным статьям легко. Каждый раз с новой силой он приходил от них в отчаяние, и критики испортили ему много крови.

Друзья были утешением и поддержкой, но в отношениях с ними было много противоречий и острых углов, причинявших боль. Особенно ярко проявлялось и то и другое в доме Коллинов, занимавшем огромное место в жизни поэта.

Старый Коллин сделал все от него зависящее, чтобы Андерсен в его доме был принят на правах родного. У него было свое место за столом, он забегал к ним ежедневно и был единственным посторонним человеком, участвовавшим во всех семейных праздниках. В день рождения старого Коллина Андерсен вместе с его сыновьями писал поздравительные стихи. А впоследствии он, вызванный среди ночи запиской своего покровителя, стоял в кругу детей и внуков возле постели умирающей фру Коллин.

Раз навсегда признав его «своим», Коллин помогал Андерсену словом и делом и с полным правом подписывался в письмах к нему «отечески преданный Вам».

Но, питая к своему «второму отцу», как он его называл, безграничное уважение, Андерсен, естественно, не мог чувствовать себя равным в отношениях с ним — это определялось уже разницей в возрасте! — и старался не тревожить его по пустякам. Повседневные же отношения разворачивались прежде всего с Эдвардом и Ингеборг: из младших членов семьи они были самыми активными носителями «коллинского духа». И вот здесь-то постоянно выплывавшее неравенство часто огорчало и мучило Андерсена.

«Так относятся не к другу, а к облагодетельствованному бедному родственнику!» — с глубокой горечью думал он, слушая их бесцеремонные нотации и обидные подчас насмешки (чаще всего такие мысли вызывал Эдвард, Ингеборг поэт многое прощал за ее блестящее остроумие).

Правда, Коллины впоследствии доказали, что дело было не в его бедности: когда он добился, наконец, и славы и денег, они ни на волос не изменили отношения к нему. Меняться вообще было не в их привычках. Но в тяжелые годы, когда каждое теплое слово так много значило для него, этот недостаток чуткости с их стороны волей-неволей оборачивался высокомерием. Им это не приходило в голову: они сами не страдали излишней чувствительностью и ранимостью, а значит, не признавали ее и в других.

Уверенность в собственной непогрешимой правоте была одной из их характерных семейных черт. Недаром Андерсен писал о них в одной из своих сказок: «Я знаю одно семейство с единодушным мнением, — случись, что их дворовый петух запел

в полночь свое утреннее «кукареку», значит и было бы утро, что там ни говори часы».

Это были люди золотой середины — в меру способные и образованные, в меру практичные и расчетливые, в меру веселившиеся и грустившие. Безрассудствам в их жизни не было места: приличная служебная карьера — для мужчин, приличное замужество — для женщин. Все они прожили жизнь удобно и спокойно, чуждаясь резких изменений, опасных крайностей, сильных страстей.

Приняв Андерсена в свой замкнутый семейный кружок, вне которого их мало что интересовало, они приложили все усилия, чтобы «воспитать» его, то есть перекроить на свой лад, внушить свои понятия, привычки, вкусы. Мягче и осторожнее всех действовал сам старый Коллин, но он вообще был менее заурядным человеком, чем его дети. А Эдвард и Ингеборг не считали нужным соблюдать здесь осторожность: раз он наш, так пусть будет таким, как мы, и все тут! Зная наперечет его действительные слабости, Коллины причисляли сюда все, чем он от них отличался.

Но все многолетние усилия оказались тщетными: Андерсен и в могилу сошел таким же неугомонным, непрактичным мечтателем, страстным любителем неожиданностей и перемен, с тем же сочетанием крайнего великодушия и крайней обидчивости, таким же легко воспламеняющимся и склонным к безграничной откровенности, каким он был в двадцать лет.

Он не мог стать похожим на них, да, в сущности, и не хотел этого. Но, несмотря на эту непреодолимую разницу, он страстно тянулся к ним и нуждался в их близости гораздо больше, чем они.

С самого начала он мечтал найти в Эдварде Коллине настоящего друга, способного все понять с полуслова, помочь в трудную минуту и самому пойти за советом. Но для такой дружбы равенство было необходимым условием. Эдвард же смотрел на него сверху вниз. Суховатый, сдержанный, он осуждал «девичью чувствительность» Андерсена, считал излишней сентиментальностью всякое внешнее проявление чувств и без стеснения выражал это. Делиться с Андерсеном своими переживаниями он вовсе не стремился — да и переживаний-то особых не было! — и предпочитал держать своего неуравновешенного приятеля на некотором расстоянии, хотя и был, безусловно, по-своему привязан к нему.

Когда Андерсен, путешествуя по Германии, прислал ему письмо с робкой просьбой — перейти на «ты», Эдвард ответил вежливым, но решительным отказом: он терпеть не мог излишней фамильярности.

Получив уверения, что этот отказ не воспринят как обида (правда, из письма Андерсена легко было понять, что обида есть: «Я знаю, насколько я ниже Вас во всех отношениях», — уже эта фраза могла бы заставить задуматься), Эдвард через несколько дней забыл о случившемся, сочтя это пустяком.

Андерсен же на всю жизнь сохранил чувство глубочайшей горечи.

Почвой для размолвок была и склонность Андерсена читать вслух свои произведения, раздражавшая Эдварда. Он не понимал, как можно делать себя мишенью насмешек. Андерсен же не понимал, почему безголосой барышне прилично пропищать романс, а поэту неприлично читать свои стихи.

Эдвард был прав в своем стремлении оградить приятеля от насмешек, имели основания и его упреки в тщеславии. Но было и непонятое им важное обстоятельство: повышенная чувствительность Андерсена именно к живому звучанию слова. Он хотел слышать свои стихи и видеть, как они воспринимаются слушателями. Впоследствии, став знаменитым, он так же охотно читал вслух свои сказки, проверяя, как они звучат, и потом в соответствии с этим исправлял написанное.

Вообще по поводу своих произведений Андерсен предпочитал советоваться с Эрстедом, а к Эдварду Коллину прибегал преимущественно за помощью в практических вопросах. Такая помощь оказывалась охотно и быстро, но и она оставляла некоторый осадок: «Это нарушает равенство в отношениях», — жаловался Андерсен Иетте Вульф.

Коллины к Андерсену-поэту относились весьма критически, и на домашних празднествах стихи Эдварда, наполненные шутками и намеками из семейного обихода, пользовались несравненно бóльшим успехом. Это вызывало постоянное огорчение Андерсена, принимавшее несколько комический характер.

Видя, как Эдвард опять и опять побивает его в этом поэтическом соревновании за праздничным столом, поэт, не в силах сладить с собой, тихонько выходил в коридор и там в укромном уголке осушал слезы. Ингеборг или Луиза отправлялись его утешать и приводили обратно. Через несколько минут он совсем успокаивался и присоединялся к общему веселью. Долго сердиться он вообще не умел.

Но и мелкие, и мнимые, и серьезные обиды из-за постоянно возникавшего непонимания имели в конечном счете все тот же общий источник: Эдвард Коллин и его братья и сестры принадлежали к среде образованных бюргеров и чиновников с идеалом умеренности и рассудительности в жизни и гейберговского изящного острословия в искусстве, а Андерсен

был поэтом, притом поэтом, родившимся среди нищего городского люда и воспитанным на песнях и сказках старых прях из богадельни.

Новая любовь родилась и выросла незаметно. С удивленной улыбкой он оглядывался вокруг: что случилось с миром? Апрель, что ли, сделал все таким радостным, ласковым и светящимся? Воздух наполнился тихим звоном рифм и голубым сиянием девичьих глаз. В каждой лужице запутались солнечные брызги. Каждый булыжник, омытый апрельскими дождями, стал из серого розовым или голубоватым.

Куда-то в тень спрятались мелкие заботы: о плате за квартиру, о починке ботинок, и даже щипки и уколы критиков ощущались не так болезненно.

Проходя мимо зеркала, он косился на свое отражение: уж не свершилось ли чудо и тут? Если в сказке косматый медведь, которого пожалела и полюбила за его доброту кроткая девушка, превращается в прекрасного принца, то не может ли случиться что-нибудь похожее с непризнанным поэтом, бедным и некрасивым?

Слово «любовь» он боялся произнести даже наедине с собой. Любовь — это было с Риборг, когда он метался и изнывал, десятки раз описывал свои чувства друзьям, просил утешения и тут же клялся, что утешить его совершенно невозможно, размышлял о женитьбе…

Нет, теперь все было совсем по-иному. И не надо называть это любовью — так будет лучше.

Есть слова, которые открывают ход в волшебную пещеру, а есть и запретные, которые закроют его навсегда. Если окружающие истолкуют его чувство как любовь, все кончено. Он лишится возможности свободно разговаривать с самой чудесной девушкой на земле. Об этом страшно подумать! Лучше уж молчать, как это ни трудно… Но, может быть, она угадает все, и ее тронет его немая бесконечная преданность?

Он написал стихотворение о карих глазах, волновавших его когда-то, и о голубых, ясных и задумчивых, как апрельское небо:

Блеск темных глаз волнует и пленяет,
Сиянье голубых мне небо открывает.

Эти стихи он послал своей возлюбленной. Не довольствуясь длинными разговорами, он сочинял по ночам бесконечные письма к ней. «С каждым днем все вокруг меня превращается в поэзию, моя собственная жизнь тоже кажется мне поэмой, и Вы в ней играете роль, — ведь Вы не рассердитесь на это?» — писал

он.

Стремясь открыть перед ней каждый уголок своей души, поделиться своими воспоминаниями, он принялся писать автобиографию «Книга моей жизни». Конечно, ему самому хотелось оглянуться на свое прошлое и показать книгу ближайшим друзьям, но первой ее читательницей должна быть голубоглазая девушка с нежным, как звук арфы, именем Луиза.

У Луизы Коллин был спокойный, уравновешенный характер. Она обращалась с людьми мягче и ровнее, чем насмешливая Ингеборг и суховатый Эдвард. И в противоположность им она никогда не обижала Андерсена, была с ним приветлива и ласкова, умела часами терпеливо слушать его излияния и стихи. Сначала он поведал ей историю неудачной любви к Риборг, и это Луизу искренне заинтересовало: какой восемнадцатилетней девушке не хочется послушать про чужой роман? Письма Андерсена она тоже добросовестно прочитывала и отвечала на них двумя-тремя незначительными фразами. С тем же доброжелательным спокойствием прочла она и «Книгу моей жизни»: почему бы не прочесть, раз автор так уж просит? Но красочное описание его мытарств не произвело на нее того впечатления, на которое надеялся Андерсен. «Я думал о Вас, когда писал, а Вы не сказали мне о книге ни одного дружеского слова!» — грустно укорял он ее в очередном письме.

В конце концов этот растущий поток полупризнаний, это стремление добиться от нее чего-то большего, чем тепловатое сочувствие, начали беспокоить рассудительную Луизу.

Она посоветовалась с Ингеборг, прекрасно понимавшей, как и все Коллины, истинный характер чувств Андерсена, хоть он и пытался маскировать их под «нежную дружбу». Было решено своевременно и тактично пресечь все возможности слишком прямых объяснений. Как бы невзначай Андерсену сообщили, что все письма к Луизе предварительно проходят цензуру старшей сестры, разговоры наедине тоже прекратились как бы сами собой.

Разумеется, ни у кого из Коллинов не было и мысли о возможности брака между Луизой и Андерсеном. Дело было даже не в том, что она его не любила: для счастливого супружества, по их понятиям, вполне достаточно было спокойной, прочной симпатии. И не бедность поэта служила главной помехой: Коллины никогда не гнались за деньгами, хотя приличный достаток тоже считался вещью отнюдь не лишней для брака. Но деньги — дело наживное. А вот с отсутствием солидного, устойчивого характера, ясного общественного положения и бесспорных перспектив на будущее никто из них примириться в

таком деле не мог. Женихом Луизы должен был стать приличный, многообещающий молодой адвокат Линд. И чтобы Андерсен не вздумал питать каких-нибудь ложных надежд, Коллины решили сразу же устроить помолвку. С браком же можно будет потом не спешить: Луиза так молода, а Линд еще только начинает свою служебную карьеру…

В начале января 1833 года помолвка была отпразднована, и, против обыкновения, Андерсен не был оповещен об этом семейном событии. Это было сделано для общего спокойствия. Нечего сомневаться, что он достаточно скоро узнает о случившемся — в Копенгагене новости не залеживаются! — тогда волей-неволей сделает разумные выводы. Жаль, конечно, беднягу, на первых порах ему будет нелегко, но зато потом все станет на свои обычные места, а там и вовсе забудется. То ли еще люди забывают!

Распрощавшись с хозяевами дома, где он провел вечер, Андерсен вышел на улицу и поспешно свернул за угол, чтоб избавиться от попутчиков.

Белый, холодный, мертвый мир лежал вокруг. Белая мертвая луна висела на далеком холодном небе.

Несколько часов назад он услышал о помолвке Луизы. Чужие равнодушные люди лениво обсуждали эту новость в числе других и были совершенно уверены, что кому-кому, а уж Андерсену давно все известно, он ведь свой человек в доме Коллинов. Может быть, ему плохо удалось сохранять самое обычное выражение лица, но это не его вина: он старался изо всех сил…

Неторопливый ручеек светской беседы давно уже перемывал другие камешки, а он все еще не мог заставить себя вмешаться в разговор и сказать какие-нибудь безразличные слова. Оказывается, придумать самую пустую шутку может быть очень нелегким делом… У него даже капельки пота выступили на лбу от стараний. Он хотел во что бы то ни стало предупредить любезный вопрос хозяйки: «Что это с вами? Вы так молчаливы сегодня!» Наконец он выдавил из себя какой-то вздор о погоде. Слава богу, вздором в гостиной никого не удивишь… Ну, а теперь вполне прилично будет и взяться за шляпу!

Снег и тишина ночных улиц были подходящими спутниками. Он сворачивал то вправо, то влево, шел, не замечая дороги, не зная куда.

Ночные сторожа, притоптывавшие ногами, чтоб согреться, удивленно глядели ему вслед. Им страшно повезло, ночным сторожам, он очень завидовал им: ведь они и понятия не имеют о Луизе, о немой любви, о помолвке…

Вдруг он в ужасе остановился: белая луна вызвала в воображении совершенно отчетливую картину. Девушка с белым-белым лицом в белом платье лежит в белом гробу, а он смотрит на нее и плачет, потому что никогда еще так сильно не любил ее. И сами собой сложились стихи об этом:

Белей любимой моей
Нельзя на свете найти!
Я знаю: любовь моя к ней
Уже не может расти.

Но вот она умерла
И стала еще белей…
О горе! — как возросла
Теперь любовь моя к ней!

Нет, что это он тут выдумывает? Не надо смотреть на мертвую луну! Луиза жива, спокойна и довольна. Пусть она будет счастлива. Ему трудно сейчас думать об этом счастье — господи, ведь Линд такое ничтожество! — но он научится, должен научиться во что бы то ни стало.

А кто-то все-таки умер… Это не Луиза, это умерла та девушка, которую он сам придумал, а потом полюбил. Или даже не умерла, а ушла в монастырь: там тоже холод, молчание, белизна.

А может быть, поднялась вьюга, окутала ее белым облаком и унесла в неприступный ледяной замок королевы метелей…

Во всяком случае, настоящая, живая Луиза тут ни при чем: она спокойно подрубает белыми пальчиками салфетки для приданого и, меланхолически улыбаясь, прикидывает, куда поставить шкаф, а куда кресло в своей будущей уютной квартирке.

Мелкие досадные невзгоды облепляли со всех сторон, как туча комаров.

Война с Мольбеком продолжалась. Андерсен высмеял его в стихах за слепое преклонение перед «магией формы», а критик, не оставшись в долгу, разнес в пух и прах новый сборник стихов Андерсена «Двенадцать месяцев года».

Денег не было. Приходилось тщательно записывать каждый истраченный скиллинг и урезать себя во всем. Надо было как-то изворачиваться, чтобы купить себе новые перчатки или сходить к парикмахеру, иначе попадешь на зубок к тем же знакомым, которые колют глаза излишней плодовитостью. («Четыре

сборника стихов за два года — это просто легкомыслие. Это нежелание серьезно, не спеша поработать над каждой строчкой!») Он был одним из первых датских писателей, живших исключительно литературным заработком, и это многим казалось диким. Нормальный человек должен где-то служить! Почему этот Андерсен вечно все хочет делать по-своему? Сам виноват, если бедствует, надо бросить баловаться стишками и стать пастором, библиотекарем… Хорошо бы, конечно, юристом, но для этого у него основательности не хватит… как, впрочем, и для всякой службы. Потому-то он от нее и уклоняется!

Под нажимом благоразумных знакомых Андерсен начинал сомневаться в своем призвании. «Моя жизнь в поэзии — всего лишь падучая звезда, о которой скоро забудут!» — с горечью писал он в такие минуты и готов был согласиться идти служить.

Но с его репутацией непрактичного чудака это тоже было не так-то просто, и, махнув рукой, он снова брался за стихи.

Газеты и журналы случайным сотрудникам не платили, издатели смотрели на него косо и за сборники стихов давали гроши, в театре — единственное место, где можно было кое-что заработать, — сидел в качестве цензора тот же Мольбек и резал один за другим водевили, которые приносил Андерсен.

Пришлось взяться за составление оперных либретто. Он использовал для этого романы Вальтера Скотта, работал усердно и радовался, что вышло хорошо. Но тут же в какой-то газетке его назвали «палачом чужих произведений».

Все чаще раздавались голоса об упадке его таланта. Осанистые чиновники и высокомерные аристократы наперерыв поучали его, как жить и как писать стихи, а при случае напоминали, что сыну сапожника нечего особенно заноситься. Ну, конечно, будь он богат и знатен, все пошло бы иначе, сразу они отыскали бы в нем и ум и талант! Как знать, может быть, тогда и Луиза…

Да, но пока он чувствовал себя точь-в-точь как длинноногий унылый аист, запертый в тесный птичник, где важно лопочет индюк, дерутся из-за лакомого кусочка толстые утки, бессмысленно кудахчут курицы… И все они вместе ополчаются на аиста: зачем он не похож на них?

Хоть бы кто отпер двери да выпустил его из этого птичьего царства!

Жаль, что сходство с аистом неполное: тому не надо покупать билет, чтобы улететь в далекие теплые страны! А спасение только в этом, жизнь становится с каждым днем все невыносимее… Где же достать деньги на путешествие?

Эдвард Коллин посоветовал ему обратиться к королю с

прошением о пособии на заграничную поездку и при этом поднести ему сборник своих стихов. Стоя в толпе просителей, Андерсен чувствовал себя как на горячих углях.

— Что это у вас? — спросил его король, подойдя.

— Я… я принес вашему величеству цикл стихов и…

— Цикл? Цикл? Что вы хотите этим сказать? — нетерпеливо перебил его туповатый Фредерик.

— Это стихотворения о Дании, и я хотел…

— А, о Дании! — смягчился король. — Ну что ж, это хорощо.

И он уже готов был пройти дальше. Осмелевший от отчаяния Андерсен, пренебрегая всяким этикетом, остановил короля и стал горячо объяснять, кто он такой и зачем пришел.

— Я с таким трудом выбился в люди, а теперь я хочу расширить свои знания, путешествовать…

— Это очень похвально, — флегматически заметил Фредерик, привыкший к тому, что все просят денег. — Подайте прошение, а я его рассмотрю.

— Да оно у меня с собой! — с восторгом воскликнул Андерсен и вынул заготовленную бумагу. Его необычное при дворе непосредственное поведение позабавило короля. Улыбнувшись и кивнув, он взял прошение и отошел. Шатающийся от пережитого волнения Андерсен отправился к Коллинам. Эдвард имел по службе непосредственное отношение к фонду, откуда выплачивались подобные пособия, и хотел соблюсти в этом деле полную беспристрастность. Герц тоже подал такое прошение, и у него вполне достаточно оснований не бояться отказа! — было мнение младшего Коллина. Что же касается Андерсена, то пусть он подкрепит свою просьбу рекомендациями видных, уважаемых людей, тогда она будет выглядеть несколько солиднее…

Проглотив эту новую обиду, Андерсен отправился добывать рекомендации — который раз ему уже приходилось этим заниматься! Никто не отказал ему: ни Эленшлегер, ни Гейберг, ни Эрстед. Вскоре собралась целая кипа рекомендательных писем, и Эдвард, выразив свое удовлетворение, написал характеристики обоим кандидатам: Герцу — блестящую, Андерсену — сдержанную.

Результаты были соответственные: оба получили пособие, но Герцу досталась сумма покрупнее, Андерсену же помельче.

Ничего, экономить ему тоже не привыкать!

С нервной, лихорадочной поспешностью он собирался в путь: подальше от Мольбека, от болтливых дам, от немой любви, о которой до сих пор больно подумать, не то что сказать кому-нибудь («Есть страницы в дневнике сердца, которые прочтет

только бог», — писал он Иетте Вульф), от знакомых улиц и надоевших разговоров!

20 апреля 1833 года он стоял на палубе корабля и махал платком провожавшим его друзьям. Как во все переломные моменты, радость смешивалась с тревожной грустью. Вот голубые глаза Луизы, вот ободряющая улыбка Эдварда мелькнули в последний раз… А впереди — до сих пор не верится, что это правда! — Париж, Рим, Неаполь…

ГЛАВА VII
ЗАВЕТНЫЙ КЛАД

После многодневной тряски в битком набитой почтовой карете Андерсен чувствовал себя совершенно разбитым. Взяв номер в отеле и кое-как смыв дорожную пыль, он сразу улегся спать.

В едва начавшийся сон вдруг ворвался странный гул, потрясший комнату. Он разрастался, дошел до оглушительного грохота, потом упал до глухого ворчания и смолк. Сердце путешественника забилось в ожидании необычайных, удивительных событий.

Наспех одевшись, он подбежал к окну: из здания напротив валом валил народ. Мгновенная вспышка осветила комнату. Уж не зарево ли это дальних пожаров? Не началось ли восстание? Ведь это Париж, здесь всего можно ожидать!

Андерсен готов был уже выбежать на улицу, чтобы своими глазами увидеть возбужденную гневную толпу парижан, грохочущую, как море в бурю. Но на пороге комнаты он остановился в нерешительности. Не благоразумнее ли сначала разузнать, что произошло, чем соваться в воду, не спросивши броду? И он дернул шнур звонка, чтобы вызвать слугу.

Все разрешилось неожиданно просто: над Парижем грохотала майская гроза. А толпа напротив была всего-навсегдо потоком зрителей, выходивших из театра.

Успокоенный — и вопреки благоразумию слегка разочарованный — поэт снова улегся спать, посмеиваясь над собой: опять воображение сыграло с ним шутку! Парижские восстания — это уже дело прошлое, ведь три года назад народ

добился своего и прогнал бездарного и надменного Карла X, пытавшегося возродить феодальные порядки…

В последующие дни Андерсен без устали бродил по улицам, стараясь разглядеть и понять изменчивое и прекрасное лицо Парижа. Всюду он чувствовал отблески событий 1830 года. Память о них заставляла парижан особенно бурно аплодировать знаменитому певцу Нурри: ведь он сражался на баррикадах в июльские дни и своим пением воодушевлял борцов за свободу! На могилах погибших в те дни лежали груды свежих цветов.

Сторож охотно рассказывал коротенькие и полные драматизма истории безыменных героев. Особенно потрясла Андерсена одна из них: мальчик с парижских окраин сражался в первых рядах восставших, ворвавшихся в королевский дворец. Получив смертельную рану, маленький герой скончался на троне королей Франции, прикрытый бархатным знаменем с гербом Бурбонов. Какая прекрасная и трагическая судьба! Да, об этом стоило бы написать, только не сейчас, после. Сейчас надо набираться впечатлений, смотреть, слушать…

В длинных письмах на родину — Коллинам, Иетте Вульф, Эрстеду и многим другим — Андерсен с восторгом описывал Париж. Ему нравилось здешнее оживление, нравилось, что каждый кучер читает газету, имеет собственное мнение обо всем и свободно его высказывает. Шум, споры о политике в кафе и на улицах, карикатуры на короля в витринах — да, это не то что копенгагенская тишь да гладь!

Особенно подробно он описывал торжества, устроенные в годовщину июльской революции.

При огромном стечении народа под бурные рукоплескания был вновь открыт памятник Наполеону на Вандомской колонне. Король Луи-Филипп жал руки солдатам национальной гвардии, участвовавшим в июльской революции, и раздавал пенсии молодым девушкам, отцы которых погибли на баррикадах. Вечером небо озарилось снопами огня фейерверков, всюду гремела музыка, в ратуше был устроен роскошный бал, на который Андерсену удалось достать пригласительный билет.

Он видел вблизи весело улыбающегося короля и смертельно бледную королеву («Как видно, на нее слишком сильно подействовали события революции!» — не без иронии заметил поэт в одном из писем).

Все это было так — и все-таки совсем не так! Андерсен увидел в Париже много — гораздо больше, чем в Германии в 1831 году! — но остался на поверхности явлений. Прежде всего ему мешало противоречивое отношение к революции. Мешало и плохое знание французского языка. Мешала замкнутость в кружке

соотечественников, говоривших между собой больше всего о письмах из Дании и с педантичной добросовестностью посещавших обязательные для туриста достопримечательные места, — и не хочется, а неудобно: вернешься домой, будут спрашивать! Конечно, все это было интересно, живописно, грандиозно: и Лувр, и Версаль, и Собор Парижской богоматери. Но нельзя было услышать биение пульса тогдашнего Парижа в музеях и дворцах. Для этого следовало выбраться на рабочие окраины, побывать на фабриках и в мастерских. Для этого необходимо было как-то преодолеть барьер, стоявший между любопытствующим иностранцем и хмурыми небритыми блузниками, спорившими о политике в кабачках и на улицах.

Андерсен же увидел только то, что можно было увидеть, не переходя этого барьера.

Между тем отнюдь не только отблески отпылавших зарев освещали тогда Париж.

За показной стороной режима Луи-Филиппа многое скрывалось. И во время июльских торжеств из толпы неслись не одни приветственные возгласы.

Восстанавливая статую Наполеона, Луи-Филипп заигрывал с призраком покойного императора, надеясь этим привлечь к себе симпатии той части народа, для которой образ Бонапарта сохранил свое обаяние.

Празднуя годовщину революции, король в то же время употреблял все усилия, чтобы подавить новые вспышки народного недовольства, не без основания опасаясь, что Луи-Филиппа Орлеанского может постигнуть такая же судьба, как и Карла Бурбона.

В Париже в это время активно действовало «Общество прав человека и гражданина», члены которого называли себя наследниками якобинцев и вели пропаганду среди народа. Наиболее решительные из них призывали к восстанию и намечали его именно на дни июльских торжеств. «Ассоциация друзей свободы прессы» раздавала запрещенные книги и брошюры в мастерских и трактирах, уплачивала штрафы, наложенные правительством на авторов оппозиционных статей. Но и полиция не дремала: полицейский префект Жиске и генеральный прокурор Персиль, ненавидевшие все, что напоминало о революции, произвели многочисленные аресты.

Двадцать семь членов «Общества прав человека и гражданина» предстали перед судом. Персиль в громовой речи нападал на них как на врагов «священной частной собственности», наследников Марата, стремящихся «ограбить богатых людей в пользу нищих лентяев».

«Вы шайка лакеев, вы наемники короля, узурпаторы прав народа, я не признаю вас своими судьями!»— бросил в лицо обвинителям один из подсудимых. Присяжные признали обвиняемых невиновными. Полиции пришлось расстаться с намеченной добычей!

За год до приезда Андерсена в Париже проходили баррикадные бои под красным знаменем: их впоследствии описал Гюго в «Отверженных».

Уличные бои вспыхнули и год спустя, в апреле 1834 года.

Именно расходящиеся от Франции волны свободомыслия заставили даже такого закоренелого врага конституций, как датский король Фредерик VI, сделать уступку «духу времени» и ввести новый совещательный орган из представителей всех провинций, то есть сделать первый робкий шаг к парламенту.

Да, гром, услышанный Андерсеном в Париже, легко мог оказаться громом земным, а не небесным.

Запасшись рекомендательными письмами копенгагенских знаменитостей, Андерсен охотно посещал людей мира искусства, живших в Париже.

Казалось бы, прежде всего он должен был стремиться повидать Генриха Гейне, после 1830 года перебравшегося в Париж — поближе к очагу революций и подальше от прусской полицейской своры.

Но — странное дело! — Андерсен не искал встречи со своим литературным кумиром и вдохновителем. Он боялся показаться смешным и неловким немецкому поэту, известному своим острым языком. Андерсену за глаза хватало насмешек копенгагенцев — даже за границей они его достигали, и первым письмом с родины, которого он так нетерпеливо ждал, оказался злобный пасквиль на него, напечатанный «Копенгагенской почтой» и присланный анонимным «доброжелателем».

Но не только страх быть высмеянным удерживал его от визита к Гейне. В его отношении к Гейне была та же двойственность, что и в отношении к французской революции. Он страстно любил Гейне-лирика, но Гейне — атеист и вольнодумец и привлекал и отталкивал в одно и то же время. Андерсен-поэт умел быть смелым и самостоятельным. Андерсен — воспитанник умеренных и благоразумных копенгагенских интеллигентов и чиновников боялся политических и религиозных крайностей.

Знакомство с Гейне все-таки состоялось, но это вышло случайно.

На вечере в обществе «Литературная Европа» к Андерсену подошел невысокий человек с живым выразительным лицом.

— Я слышал, что вы датчанин, — сказал он, — а я немец.

Датчане и немцы — братья. Вот я и хочу пожать вам руку.

Это и был Генрих Гейне. Смущенный Андерсен вскоре приободрился и со свойственной ему непосредственностью объяснил Гейне, что не решался посетить его, боясь показаться смешным.

Завязался непринужденный разговор, в котором Гейне обнаружил хорошее знакомство с датской литературой и, к радости Андерсена, заявил, что Эленшлегер — один из величайших поэтов Европы.

Потом Гейне посетил Андерсена, и тот счел неудобным не ответить на визит: в оправдывающемся тоне он писал об этом фру Лэссе, своей набожной приятельнице.

Однако настоящей близости между поэтами не возникло, дело ограничилось несколькими прогулками по парижским бульварам и более или менее поверхностным обменом литературными мнениями и парижскими впечатлениями.

— Счастливого пути, поезжайте в Италию, а потом напишите о том, что видели, по-немецки, чтоб я мог прочесть! — сказал на прощание Гейне и по просьбе Андерсена записал это напутствие в дорожный альбом, с которым не расставался датский путешественник.

В середине августа Андерсен уехал из Парижа в маленький швейцарский городок Локль, расположенный высоко в горах. Там ему предложили гостеприимство дальние родственники его старой копенгагенской приятельницы фру Юргенсен, обещая тишину и покой, соблазнительные после парижского шума и грохота, живописные виды и практику во французском языке: волей-неволей придется бегло заговорить, ведь во всем Локле никто не знает ни слова по-датски! Отдохнув, можно будет двинуться дальше, в Италию.

Кроме усталости после трехмесячной беготни и всегдашней жажды перемен, он стремился к обещанной тишине Локля еще и потому, что хотел без помех отдаться завершению нового произведения, начатого в Париже. Это была стихотворная драма «Агнета и Водяной» на сюжет старинной народной песни, знакомой Андерсену с детства.

Бродя по парижским бульварам и слушая шум беспокойного людского моря, он вспоминал о морском прибое, бьющемся о берега Дании. Или о тихих летних днях, когда морская гладь спокойна и неподвижна и в легкой голубоватой дымке плавают острова на горизонте и скользят паруса рыбачьих лодок…

Именно в такие дни можно услышать далекий замирающий звон, несущийся невесть откуда: может быть, со дна морского. «Это прекрасная Агнета играет на арфе», — говорили старые

люди.

Андерсену хотелось рассказать о собственной смутной тоске, о надеждах, обманутых и вновь родившихся, о вечном стремлении вдаль, в завтрашний день, несущий что-то новое, неизвестное. И этими чувствами он решил наделить красавицу Агнету из старой песни: она повстречала на морском берегу золотоволосого Водяного и последовала за ним в его подводный дворец. Золотые туфельки и браслеты он подарил ей — у самой королевы не было таких! — и золотую арфу, чтобы играть на ней, когда охватит печаль. Но через восемь лет Агнета вернулась на землю — к людям, к зелени, к солнцу! — и навсегда покинула Водяного, несмотря на все его мольбы.

Эта простая и поэтическая история сильно разрослась и осложнилась под пером Андерсена, и ему казалось, что вещь выходит очень значительная и волнующая. Вокруг тоскующей Агнеты сгруппировалось множество новых лиц: и отвергнутый жених Хемминг (краски для его изображения дал поэту собственный печальный опыт), и грубый, жестокий помещик Петер Палле, хваставшийся своим бесчеловечным обращением с крестьянами, и старая цыганка, предсказывающая будущее…

Первая часть «Агнеты» была написана еще в Париже. В Локле, окруженный снежными вершинами гор, высокими темными елями, облаками, проходящими совсем близко, как стадо овец, и ярко-зелеными альпийскими лугами, Андерсен вдохновенно работал над второй частью. Не восемь лет, а целых полстолетия у него в драме прожила Агнета на морском дне среди подводных чудес.

Земной мир неузнаваемо изменился в ее отсутствие, она казалась там чужой, более чужой, чем в замке Водяного… И драма кончалась смертью Агнеты на песчаном берегу под вечный шум волн.

Посылая «Агнету» в Данию, Андерсен написал к ней коротенькое предисловие: ему хотелось по-своему выразить безотчетную грусть и стремление к чему-то новому, звеневшие для него в старой песне. И хотя Агнета родилась среди швейцарских гор, душа в ней чисто датская! «И вот я посылаю свое любимое дитя на родину. Примите его ласково, пожалуйста, ведь с ним я посылаю всем вам свой привет…»

Когда Андерсен упаковывал рукопись, его трясла лихорадка и бросало в жар. «Никогда в жизни я так не волновался», — думал он, прижимая ледяную руку к горящей щеке. Докажет ли «Агнета» друзьям и читателям, что он не напрасно получил возможность отправиться в путешествие, что талант его не иссяк, как утверждает Мольбек, что он может высоко взлететь на окрепших

крыльях?

Драма была послана Эдварду Коллину, ему и предстояло первым ответить поэту на эти вопросы.

Снежные вершины Альп, окутанные облаками, остались позади. Ласковое синее небо Италии улыбалось Андерсену, а ветер веял тонким запахом лимонных рощ.

Милан, Генуя, Флоренция, высокие соборы с потемневшими фресками великих мастеров, красные колпаки и бронзовые плечи рыбаков, огненные глаза и царственная осанка встречных крестьянских девушек, темные стройные кипарисы и узкие серебристые листья слив, мраморный взгляд Венеры Медицейской и страшные рассказы о нападениях разбойников… Голова кружилась от вихря впечатлений! В потоке света, тепла, красок тонули воспоминания о прошлом, забывались мелкие тяготы и неудобства путешествия.

18 октября 1833 года («Это мой второй день рождения», — говорил он впоследствии) Андерсен приехал в Рим. Полетели дни, и каждый был как драгоценный подарок. Карандаш Андерсена так и летал по бумаге, чтоб поймать, закрепить самые яркие краски, сценки, детали из калейдоскопа сменяющихся картин. По ночам он долго не мог уснуть: какие-то новые слова и образы мелькали как тени, какое-то зернышко нового замысла зрело, готовясь прорасти…

Однажды во время дневных блужданий он забрел на небольшую уютную площадь, где перед старинным палаццо медленно журчал фонтан, точно рассказывая длинную историю без конца и начала. Странное чувство вдруг охватило Андерсена: на миг ему показалось, что все это уже когда-то было, что вот так же он стоял и смотрел на седые струи фонтана давным-давно, совсем маленьким мальчиком. А что, если бы он и вправду родился под небом «вечного города», как тогда сложилась бы его судьба?

Наверно, какой-нибудь монах стал бы его учить грамоте и взял бы в церковный хор мальчиков за звонкий голосок. А потом начались бы те же мечты и те же горести… И, может быть, неудачная любовь привела бы его, наконец, к дверям монастыря. Нет уж! Андерсен даже вздрогнул от такой мысли. Это же просто преступно замкнуться от жизни в мрачной келье, зарыть в землю свои способности, стремления, надежды… Никогда он не сделал бы этого!

…Мимо промелькнула стайка босоногих загорелых ребятишек в лохмотьях, щебечущих на звучном незнакомом языке. Андерсен долго смотрел им вслед: может быть, и среди них есть мальчик с беспокойной душой и дремлющим талантом

поэта или художника, и ему предстоят дни тяжелых испытаний. Наверно, да… Как ни отличаются друг от друга разные страны и разные города, а судьба талантливого бедняка всюду одинаково горька. Какую правдивую и печальную книгу можно было бы написать на эту тему!

Нахохлившись, как больная птица, Андерсен сидел в углу небольшого кафе, где обычно собирались датские путешественники. Все вокруг казалось ему подернутым туманом, и даже ослепительное итальянское небо потеряло свои яркие краски. Никогда еще, кажется, с такой силой не подступали к сердцу одиночество и тоска! Давящая усталость сковывала тело, а мысли вертелись в одном и том же безысходном кругу. Нетерпеливо ожидаемая почта из Дании принесла вместо радости горе: старый Коллин осторожно и участливо сообщал о смерти матери, а письмо Эдварда было посвящено уничтожающему разносу «Агнеты», на которую возлагалось столько радужных надежд. «Любимый друг» не пожалел резких выражений, чтоб их разрушить! Досадой, холодом, высокомерием была пронизана каждая строчка письма. Ну хорошо, пусть даже «Агнета» действительно не удалась (как больно об этом думать!), но неужели это достаточная причина, чтоб третировать автора, поучать его, как зазнавшегося мальчишку? Да, все ложь, фальшь, иллюзия: и дружба Эдварда и ласковые взгляды голубых глаз его сестры. Чужой он им был, чужим и остался, всем, кроме старого Коллина. Ну что ж! Хватит. Он не желает больше выпрашивать как милостыню жалкие крошки тепла и участия, молча глотать оскорбительные назидания! Если отношения не могут быть равными, надо их порвать раз навсегда, другого выхода нет. Все, что у него накипело на сердце, он высказал прямо, без смягчений в ответном письме Эдварду. Конверт запечатан и отправлен отцу Коллину: надо, чтоб он тоже знал все. Пусть прочтет письмо и передаст его сыну. Кончено, все кончено. Дружба мертва, надежды умерли…

И матери нет в живых. Умерла в нищете, в богадельне, чужие равнодушные руки закрыли ей глаза, и могилы ее не найдешь на кладбище для бедных. Нет теперь на земле ни одного человека, который любил бы его не за какие-нибудь достоинства, а просто так, без рассуждений, то есть единственной настоящей любовью. В памяти оживали одна за другой картины детства, и в каждой улыбалась ему темноглазая женщина с красными сморщенными от вечной стирки руками, неутомимая, неунывающая, любящая и заботливая…

Андерсен не знал, долго ли он просидел так, за нетронутым

стаканом вина, погруженный в свои мысли. Он очнулся только, когда кто-то окликнул его. Худощавый низенький человек в очках приближался к нему, приветливо улыбаясь. Генрик Герц! Автор «Писем с того света», беспощадно насмехавшийся над Андерсеном, соперник по заграничной стипендии. Что ж, мир странно устроен: вчерашний друг нанес тяжелую обиду, а былой враг может оказаться приятелем… И Андерсен сердечно пожал протянутую Герцем руку.

В первые же дни пребывания в Риме Андерсен навестил своего знаменитого земляка, скульптора Бертеля Торвальдсена, уже много лет жившего в Италии. Тот встретил молодого поэта с большим радушием; искренность и чистосердечие Андерсена, его горячая любовь к искусству, его трудный жизненный путь — все это было близко Торвальдсену. Покачивая седеющей головой, он сочувственно слушал взволнованные рассказы Андерсена о себе. Да, знакомая история. Самому Торвальдсену тоже достаточно пришлось хлебнуть горя в юности. Он охотно делился с Андерсеном воспоминаниями о тех днях, когда маленький Бертель в больших деревянных башмаках относил отцу на верфь скудный обед, аккуратно завернутый в старый платок. Отец был резчиком по дереву, и, глядя на чудо превращения куска дерева в затейливые фигуры, Бертель загорался желанием самому научиться вырезать… И голод, и холод, и косые взгляды, и насмешки — все бывало. Но он не вешал носа — и вот, наконец, добился своего! Здесь, в этой самой мастерской, из глыб мрамора родились статуи, завоевавшие признание во всей Европе! Главное — не сдаваться, не падать духом.

Поддержка и участие Торвальдсена очень помогли Андерсену в тяжелые минуты, пережитые им в Риме, и он на всю жизнь сохранил благодарность, восхищение и привязанность к этому крепкому, юношески жизнерадостному, несмотря на свои шестьдесят три года, человеку с острым проницательным взглядом. Узнав о нападках Мольбека на стихи Андерсена и о разгроме, постигшем «Агнету», Торвальдсен нахмурился.

— Знаю я этих копенгагенских мудрецов… Чем они меньше понимают в искусстве, тем строже судят. Нечего на них оглядываться, ищите свой собственный путь и смело идите по нему.

Он попросил Андерсена прочесть ему «Агнету». На чтение были приглашены еще несколько датчан, в том числе и Герц, присутствие которого порядком пугало Андерсена. Он начал читать неуверенным голосом, все время поднимая глаза от страницы, чтобы видеть выражение лиц слушателей. Уж не

улыбался ли насмешливо Герц? Нет, пока нет… А взгляд Торвальдсена светился такой теплотой и дружелюбием, что поэт почувствовал прилив мужества. Право же, «Агнета» не так уж плоха! Когда чтение окончилось, слушатели дружно подтвердили это мнение. Торвальдсен не скупился на похвалы: ему понравились задушевность и музыкальность стихов, поэтичность многих сцен.

— А главное, все это очень родное, наше, датское… — вздохнул он. — Я как будто получил привет с родины, от буковых лесов и озер.

Разумеется, Герц высказался куда более сдержанно, но без всякой враждебности. Он не без основания думал, что старая песня об Агнете вряд ли была подходящим материалом для такой лирико-драматической обработки, кроме того, вещь недостаточно отшлифована, но многие места, безусловно, удачны.

В противоположности распространенному мнению Андерсен вовсе не обижался на любую критику своих произведений. Он мог спорить, не соглашаться, но острое чувство справедливости никогда не покидало его, и именно оно заставляло его возмущаться, когда критика была пристрастной и окрашенной личной враждебностью.

Поэтому ни мнение Герца, ни полученные несколько позже дружеские письма Эрстеда и фру Лэссе с критическими замечаниями об «Агнете» нисколько не обидели его. Притом же «Агнета» уже перестала быть центром, где сосредоточивались его мысли и надежды.

Новый замысел приобрел реальные очертания: написать повесть о судьбе нищего итальянского мальчика Антонио, наделенного чудесным талантом поэта-импровизатора; здесь будут и живописные итальянские пейзажи, и быт простого народа, и пышные палаццо вельмож. Антонио придется пережить те же горькие испытания, через которые прошел сам Андерсен, его будет преследовать желчный и недалекий критик, похожий сразу на Мейслинга и на Мольбека, и небрежно швыряемые подачки меценатов будут доставлять ему постоянные страдания. А в конце концов он все-таки поставит на своем и докажет свое право называться поэтом.

Далеко внизу, в лиловой тени гор, остался спящий Неаполь. Группа датских путешественников, среди которых были Герц и Андерсен, верхом на мулах поднималась по крутой тропинке. Земля вокруг была выжжена лавой. Впереди высился кратер Везувия. Густое облако дыма над ним было похоже на дерево с огненными корнями — струями лавы, медленно текущими по

склонам.

Темнело, и мулы шли все медленнее и осторожнее.

— Все, синьоры! — сказал, наконец, проводник. — Дальше подниматься опасно.

Внезапный грохот почти заглушил его слова. Багровая вспышка озарила небо, раскаленные камни вылетели из вулкана, как стая огнекрылых птиц.

— Берегись! — закричал проводник.

Порыв душного ветра обдал путешественников запахом гари и тучей золы.

— Дальше, пожалуй, и незачем идти! — сказал Герц, протирая очки и близоруко оглядываясь. — Отсюда все прекрасно видно.

— Ну что вы! — запротестовал возбужденный Андерсен. — Мы вполне можем пробраться пешком еще немножко, ну хоть до того уступа!

И, таща за собой маленького спотыкающегося Герца, длинноногий поэт храбро зашагал вперед по колено в пепле. Подошвы начало припекать — лава под ногами еще не совсем остыла, — но что за беда! Зато вот она, прямо перед ними, грозная красота огнедышащего чудовища.

Андерсен замер на месте, бормоча родившиеся тут же стихи:

Снег в расщелинах сверкает,
Будто стая лебедей,
Грозный конус потрясает
Прядью огненных кудрей…
Месяц меркнет в клубах дыма,
Мы стоим не шевелясь.
Гром и пламя, камни мимо
Низвергаются, дымясь…

— Нет, это невозможно, — взмолился Герц. — Ради бога, вернемся. Похоже, что я уже вывихнул ногу!

Осторожно поддерживая спутника, Андерсен отвел его в безопасное место.

Спустившись вниз, путешественники не нашли в спящем городке ни одной открытой лавочки, где можно было бы раздобыть еды, ни одного экипажа. Голодные и усталые, покинутые другими спутниками, Андерсен и Герц медленно шли к Неаполю. Дорога была тиха и пустынна, домики с плоскими кровлями ярко белели под луной. Позади в темной глубине моря отражались багровые отсветы пламени.

— Просто как в сказках «Тысячи и одной ночи»! — вздохнул

Герц, забыв на миг о больной ноге. — А расскажешь дома, упрекнут в романтическом преувеличении… У вас уже, кажется, готово стихотворение, Андерсен?

— Да, разумеется! Как же можно видеть перед собой такое потрясающее зрелище и не попытаться воплотить его в слова? Слушайте! — И поэт прочел только что сложенные стихи.

— Неплохо, — сочувственно сказал Герц. — Вам всегда удавались описания природы, так же, впрочем, как и юмористические картинки… Но все-таки сознайтесь, что Гейберг был прав, когда назвал вас импровизатором. Минутного вдохновения недостаточно, необходима тщательная отделка, шлифовка каждой строчки.

— А я и не отрицаю правоты Гейберга! — горячо воскликнул Андерсен. — Только слово «импровизатор» мы с ним понимаем по-разному. Он хотел этим словом уколоть меня: поверхностные, дескать, у него стихи! Но ведь дело-то в том, что нельзя всех поэтов мерить одной меркой. Некоторые пишут медленно, подолгу раздумывая над каждой строчкой. У других замысел созревает молниеносно, но он тоже не рождается на пустом месте, а опирается на чувства и впечатления, накопленные раньше. Сколько мы с вами встречали в Италии уличных импровизаторов, мгновенно сочиняющих стихи на заданную тему! Вы видели, с каким воодушевлением они декламируют и как жадно их слушает собравшаяся толпа? У Гейберга такой успех вызвал бы только ироническую усмешку, он хочет писать прежде всего для знатоков, ну и пусть, это его дело. А мне… мне дороже всего было бы, если б меня слушали и понимали такие вот простые рыбаки и ремесленники. Уверяю вас, эти люди великолепно отличают плохое от хорошего! Скажу вам откровенно, Герц: я недавно начал новую вещь, и она так и называется: «Импровизатор». Посмотрим, сумею ли я в ней выразить то, что мне хочется, и убедить читателей в своей правоте…

— Что ж, могу только пожелать вам удачи, — заметил Герц, слегка пожав плечами.

Снова в Копенгагене. За окном — холодная зеленая вода залива и мачты кораблей, готовых отправиться в далекое плавание. И сентябрьское небо, низкое, свинцово-серое.

От донимавшей его тоски по Италии и от мыслей о денежных затруднениях Андерсен спасался за работой. Рукопись «Импровизатора» росла с каждым днем, и было уже ясно, что это не повесть, а целый роман.

Детство Антонио, проведенное под крылышком любящей

матери, раннее сиротство и горькая зависимость от знатных покровителей, годы учения в иезуитской коллегии и пробуждение поэтического таланта — все это было написано еще в Италии. Теперь Андерсен вместе со своим героем переживал его неудачную любовь к кроткой Фламинии, дочери римского вельможи, покровительствующего Антонио. Фламиния была добра к Антонио, с ней он делился своими заветными мечтами, ей он читал свои стихи. Но родные девушки с детства предназначили ее в монахини, и она должна была умереть для мира. Да и в любом случае разве потерпели бы гордые аристократы, чтоб нищий поэт стал членом их семьи? При всей своей доброте они относились к Антонио сверху вниз, о равенстве не могло быть и речи! А в светских гостиных каждый вылощенный франт, разбирающийся только в скаковых лошадях, каждый пошляк с «положением в свете» брался поучать молодого поэта, никто не верил в его талант, лишь смирение и послушание ставились ему в заслугу. Он чувствовал себя связанным по рукам и по ногам властной опекой своих покровителей, но не находил в себе сил порвать тягостные путы… В эту правдивую картину вдруг врывался пестрый хоровод романтических приключений: роковая дуэль, бегство, дни, проведенные в плену у разбойников, неожиданные встречи и разлуки с черноглазой певицей Аннунциатой и таинственной слепой нищенкой дивной красоты. Здесь Андерсен отдавал дань распространенному в те времена вкусу к «загадочному и необычайному». Но при этом он пользовался любым случаем, чтобы нарисовать еще одну живописную картинку из своих итальянских впечатлений, строго следуя истине в своих описаниях постоялых дворов, старинных храмов, шумных улиц Неаполя, народных праздников.

Слепая красавица в нищенских лохмотьях тоже не была плодом его воображения: он действительно видел ее во время посещения древнего города Пестума, где растения поразили его своей пышностью, а жители — ужасающей бедностью. Нежное задумчивое лицо девушки, ее роскошные темные волосы, украшенные фиалками, врезались ему в память. Не могло быть сомнений, что она так же добра и благородна, как прекрасна! С какой радостью он помог бы ей, сделал ее богатой, счастливой! Но что может сделать бедняк-поэт, который и сам-то с трудом перебивается со дня на день? Только одно: перенести прекрасную незнакомку на страницы своего романа и хотя бы там позаботиться о ее благополучии.

И слепая нищенка попала в роман, получив имя Лара. В конце романа Андерсен щедрой рукой осыпал героя и героиню всеми возможными благами: Лара прозреет, станет приемной

дочерью богатого вельможи, Антонио женится на ней, и оба будут безоблачно счастливы — надо же наградить их за все перенесенные и в жизни и в романе горести!

23 сентября 1835 года в «Копенгагенской почте» было напечатано такое объявление:

«Роман Х. К. Андерсена «Импровизатор» должен выйти в свет в марте; немецкий перевод романа уже готовится г-ном проф. Крузе. Желающим подписаться на роман предлагается возможно скорее посылать соответствующие заявления университетскому книготорговцу г-ну Рейцелю. Цена для неподписавшихся будет, в виду того что роман превысил предполагавшиеся размеры, значительно выше, чем подписная цена, т. е. 1 ригсдалер 64 скиллинга за обе части».

Это был результат длительных битв за устройство романа в печать, которые пришлось вынести Андерсену. Издатель Рейцель, напуганный дурными отзывами критики об «Агнете» и слухами в гостиных о «полном упадке таланта» Андерсена, требовал, чтоб автор заранее обеспечил «хотя бы сотню» подписчиков. Но их оказалось всего восемнадцать. В конце концов Рейцель согласился рискнуть, и теперь уже корректуры романа шли полным ходом. Во всех этих хлопотах Андерсену, по обыкновению, помогал Эдвард (наметившийся между ними разрыв не состоялся благодаря усилиям старого Коллина), хотя успех «Импровизатора» казался ему более чем сомнительным. Роман об Италии! Мало ли их написано? Неужели Андерсен надеется сказать что-нибудь новое, интересное? Вряд ли! Ведь он опять пишет о самом себе. Осудила роман за «ребячливость» и фру Вульф, едва прослушав несколько страниц из начала. А постоянной заступницы и утешительницы Андерсена, Иетты Вульф, не было рядом: она, в свою очередь, отправилась путешествовать по Италии… Как завидовал ей Андерсен!

Но, несмотря на сомнения друзей, он сохранял бодрость. Были уже у «Импровизатора» и горячие защитники, мнение которых имело вес: Эрстед, Ингеман. Да и сам он чувствовал, что сделал крупный шаг вперед. Столько заветных чувств и мыслей вложено в этот роман, столько ярких, живых впечатлений в нем отразилось. Нет, что ни говори, а книга должна иметь успех!

Странное дело, он совсем не ощущал усталости после нескольких месяцев напряженного труда. Напротив, в нем кипела лихорадочная энергия, искавшая выхода. Посещая знакомые дома, он охотно растрачивал ее избыток в импровизированных рассказах. Особенно хорошо эту его способность построить интересную историю из ничего, из пустяка знали дети. Когда он

приходил в гости к Ингеборг Древсен, на него устремлялись темные глаза его любимицы, маленькой Ионны. «Будет сегодня сказка?»— спрашивала она.

— Подожди-ка, поищем… — он рылся в кармане, делая вид, что сказка завалялась где-то там. — Нет, не здесь… Ну, ладно, вот увидишь, она сейчас сама явится. Самые лучшие сказки всегда приходят сами!

И сказка никогда не заставляла себя долго ждать. Ее героями становились синий дракон, нарисованный на большой китайской вазе, пролетевший за окном воробей, старая лайковая перчатка.

Иногда Андерсен брал ножницы, и — раз, два, три! — лист бумаги превращался в старую ведьму на помеле, у которой на носу сидел крошечный человечек, изящную балерину, стоящую на одной ножке, длинноногого аиста в гнезде. В этом искусстве, усвоенном в детстве, он достиг исключительного мастерства! И, разумеется, о каждой вырезанной фигурке ему было что рассказать.

Зайдя однажды в гости к поэту Тиле, Андерсен увидел, что шестилетняя Ида Тиле с огорчением рассматривает увядший букет цветов.

— Разве они умерли, мои цветочки? — со слезами спросила она. И Андерсен тут же сочинил для нее великолепную историю о ночных балах, которые устраивают цветы и игрушки, о том, как цветы превращаются в бабочек и как они разговаривают между собой. Даже старой фру Лэссеон рассказывал сказки: они так и теснились у него в голове! А чудесные рассказы, слышанные когда-то от старой Иоганны и других старух из богадельни, от бабушки, от крестьян во время сбора хмеля! Положительно надо попробовать заняться всем этим.

Он чувствовал себя законным наследником народного сказочного богатства, заветного старого клада. Не просто записать слышанные сюжеты с точностью и бесстрастием кабинетного ученого — нет, совсем нет! Ему хотелось подойти по-своему к этим коротеньким, мудрым и забавным историям. Вера в победу добра и справедливости, уважение к честным, мужественным, находчивым беднякам и насмешка над чванными тунеядцами — это та почва, на которой растут сказки. Но ведь при этом каждая из них получает свое неповторимое выражение, свою окраску в зависимости от того, кто ее рассказывает! Вот он и перескажет их на свой лад. Прежде всего не приглаживать живой речи, напротив, подчеркнуть ее непринужденные интонации, то лукавые, то печальные, не укладывающиеся в строгие рамки книжных фраз (опять Мольбек будет шипеть, что Андерсен-де не умеет правильно писать! Но иначе никак нельзя). И потом в

рассказ надо ввести множество красочных подробностей, взятых из повседневной жизни, — детское воображение нуждается в них. А кроме того, в этом новом наряде лучше видна будет вечная молодость сказки. Для начала он отберет из своего огромного запаса совсем немножко — две-три сказки, и если они встретят живой отклик и одобрение, тогда можно будет двигаться дальше… И в ожидании решающего дня — появления в свет «Импровизатора» — Андерсен засел за свой первый сборник сказок.

Колышется пламя свечи, на стенах пляшут причудливые тени, а на дворе завывает ветер. «Послушай-ка хорошенько, может, поймешь, что он там распевает?»— говорила, бывало, старая Иоганна, сидя за прялкой. Ветер многое может порассказать, ведь он вечно летает по белу свету. Но и самой старой Иоганне есть что порассказать, недаром она прожила столько лет. Тянется вечер, мерно жужжит прялка, и сказка прядется, как нить, а маленький Ханс Кристиан, худой длинноногий мальчик, похожий на аистова птенца, слушает, боясь упустить хоть одно слово… И все, что рассказывает старуха, оживает в его воображении.

Вот, например, замечательная история про бывшего солдата-храбреца. Важные господа в шелку и золоте смотрели на него как на пустое место, проезжая мимо в роскошных каретах: ведь у него не было ни гроша за душой, а всего-то имущества обгорелая трубка да старое огниво, добытое в ведьмином подземелье. И все-таки солдат сделался королем и женился на прекрасной принцессе из медной башни. Старое огниво сослужило своему хозяину хорошую службу… Уже судьи и королевский совет совсем было собрались казнить солдата за то, что он осмелился полюбить принцессу, да не тут-то было! Ударил солдат по кремню огнива — и вмиг появились три огромные собаки, похватали они судей, придворных да и самого короля с королевой за ноги и за руки и подбросили их высоко-высоко. Ну, те упали и разбились. Совсем ли? Ясное дело, совсем, на мелкие кусочки. Тут народ и объявил солдата королем. Вот оно как бывает на свете!

А то еще история про двух Клаусов — бедняка и богача. Бедняк Клаус был тоже парень не промах: так одурачил жадного, злого богача, что лучше не надо! Да, умную голову на плечах куда важнее иметь, чем туго набитый карман или герб на дверцах кареты — все сказки об этом говорят, а в сказках-то куда больше правды, чем некоторые думают.

…Андерсен вспомнил старого профессора ботаники Хорнемана: этот корчит кислую гримасу, заслышав слово

«сказка». «Нечего забивать детям голову пустыми фантазиями», — ворчит он. Нет, уважаемый профессор, простите, что сын сапожника осмеливается с вами спорить, но только вы дальше своего носа ничего не видите со всей вашей высокой ученостью. Как вы ни старайтесь, а вам не удастся похоронить сказку, сказка никогда не умирает! Вся беда в том, что ворчливые степенные чиновники и скучные обыватели, помешанные на «трезвом благоразумии» и рассудительности, видят мир вывернутым наизнанку: служебные интриги, растущий счет в банке, благосклонная улыбка высокопоставленного ничтожества — вот что они считают настоящей жизнью, а любовь, искусство, красота природы для них просто пустой звук, бельмо на глазу. Как кроты, они роются в земле и бранят солнечный свет за то, что он их ослепляет. И чем ввязываться с ними в ученые споры, лучше вставить их в сказки: там сразу станет ясно, что к чему. Например, господин Хорнеман, профессор ботаники, очень подойдет для сказки о цветах, той самой, которая была придумана для маленькой Иды. Ну и достанется же этому старому брюзге! Сначала он ударит по листьям крапиву — как она смела влюбиться в соседнюю гвоздику?! — и пребольно обожжется при этом. А потом ночью на цветочном балу он превратится в желтолицую восковую куколку. «Нечего забивать детям голову глупыми россказнями!» — кричит она, участвуя против воли в танцах, а бумажные цветы хлещут ее по тоненьким ножкам. И веселый студент, мастер вырезать бумажные фигурки и сочинять забавные истории, попадет в сказку, и сама маленькая Ида. Так и начнем, как было на самом деле.

«Бедные мои цветочки умерли! — сказала маленькая Ида…» Правда, в середине сказка будет немножко похожа на «Щелкунчик» Гофмана, но и своего в ней тоже будет немало!

Весной 1835 года две книги Андерсена одна за другой вышли из печати и появились в витринах книжных лавок: роман «Импровизатор» и «Сказки, рассказанные для детей». Судьба их в первые годы была резко противоположной. Роман быстро пошел в гору и завоевал общее внимание, его читали, о нем спорили, ему посвящались большие критические статьи, и, хотя в них были отдельные кислые замечания, ни одна не отрицала таланта автора.

Первой ласточкой, несущей весть об успехе, была рецензия в «Воскресном листке», появившаяся через несколько дней после выхода в свет «Импровизатора»:

«Поэт Андерсен пишет уже не так хорошо, как раньше, он исписался, — да, я этого давно ожидал», — так говорили там и

сям в некоторых кругах столицы, может быть, прежде всего в тех, которые особенно хвалили первые шаги поэта. Но он не исписался, напротив, именно теперь он поднялся так высоко, как никогда: это блестяще доказывает роман «Импровизатор», — писал Карл Баггер, старый товарищ слагельсейских дней, и Андерсен с волнением читал и перечитывал эти дружеские строчки. Большое сердечное письмо с разбором художественных достоинств «Импровизатора» прислал из Сорэ Ингеман. Приходили радостные вести из Германии: там роман был встречен общим одобрением. Издатель Рейцель с довольным видом подсчитывал свои растущие доходы.

— Если дело так пойдет и дальше, можно будет подумать о втором издании! — говорил он Андерсену. — Читателям книга очень нравится, критики в общем благосклонны, если не считать мелких стилистических замечаний…

— Да, но «Литературный ежемесячник» упорно молчит, а ведь к этому журналу многие прислушиваются, — огорченно замечал Андерсен. — Неужели я опять чем-нибудь не угодил этим строгим господам?

— Ну-ну, не расстраивайтесь попусту, — ободряюще улыбался Рейцель. — Успех у публики — вот что для нас с вами самое важное.

— Да, это верно… Кстати, а как расходятся мои сказки? Я ведь и на них возлагал кое-какие надежды!

Улыбка исчезала с лица Рейцеля, и он неопределенно пожимал плечами.

— Как вам сказать… Кое-кто покупает, конечно, детишкам почитать на сон грядущий… Цена книги дешевая, так что, пожалуй, и сказки разойдутся понемногу. Но особого успеха ожидать не приходится. Это же все-таки пустячок… То ли дело роман!

Так же думали многие другие. Журнал «Даннора», называвший «Импровизатор» «великолепным поэтическим произведением», разнес сказки в пух и прах: «Огниво» — за «безнравственность», «Принцессу на горошине» — за «отсутствие соли», «Цветы маленькой Иды» (чуть-чуть мягче) — за недостаток ясно выраженной «морали». Ингеман, от души радовавшийся успеху романа, к сказкам относился очень сомнительно. Эдвард Коллин, смеясь, упрекнул приятеля: «Что-то вы раньше времени впадает «в детство, Андерсен!»

Да, выходило, что ошибся такой умнейший человек, как Эрстед! Ведь он еще до появления обеих книг сказал Андерсену:

— Вот увидите, «Импровизатор» прославит вас, а сказки сделают ваше имя бессмертным!

— Эдвард, дорогой, можно к вам на минуточку? Подумайте только, я получил письмо из Германии от Шамиссо, и он в восторге от «Импровизатора»! Конечно, я понимаю, что его похвалы даже преувеличены: он ставит меня выше Гюго и Бальзака, перед которыми я преклоняюсь. Но все-таки я очень рад, что Шамиссо нравится мой роман. И мои стихи он очень охотно переводит. Ведь это же такой талантливый писатель, — чего стоит хотя бы история о Петере Шлемиле, потерявшем тень! — и сияющий Андерсен протянул своему приятелю письмо от немецкого поэта.

— Ну что ж, вы можете быть довольны, — сказал Эдвард Коллин с легкой иронической улыбкой. — Теперь вам нечего жаловаться, что вас на каждом шагу бранят и порицают. Смотрите только, как бы вас не избаловали излишними восторгами, это очень серьезная опасность. Возомните, пожалуй, себя непогрешимым, захотите почить на лаврах…

— Ну нет! — прервал его Андерсен. — Почить на лаврах — это совсем не в моем характере. Поднялся на одну ступеньку — хорошо, значит надо двигаться дальше, вперед, пока хватит сил. Если бы вы знали, сколько у меня новых планов!

— Прекрасно, только пишите не торопясь, обдумывайте каждое слово. Критического отношения к себе — вот чего вам недостает!

— Ах, ну зачем вы это говорите? — с укором отозвался Андерсен. — Право же, у вас какое-то предвзятое мнение обо мне, и оно далеко не всегда справедливо. Мы с вами очень разные люди, но все-таки мы стали друзьями, а друзья должны постараться понять друг друга! Вы боитесь, что похвалы меня испортят… Боже мой, да разве вы не замечали, что от суровых порицаний у меня опускаются крылья, пропадает всякая вера в себя, а от доброго слова я весь расцветаю? И потом этот вечный упрек в спешке — если б вы знали, как мне больно его слышать именно от вас… Ведь вы-то знаете мое положение, для вас не секрет, что я должен писать быстро, если хочу прокормить себя своим пером. И все-таки, как бы я ни спешил, я десятки раз переделываю неудачные места, просиживаю ночи над ними, пока рука не откажется держать перо. Мои недостатки — да я их знаю лучше, чем все эти педанты-критики, которые тычут мне в глаза всякие мелочи. Вот я когда-нибудь сам напишу на себя критическую статью, и вы увидите, что она будет похлеще чужих.

— Ну, хорошо, хорошо, поверьте, что я вовсе не в расположении ссориться с вами и обижать вас! — смеясь, перебил его Эдвард. — Вы забыли, что говорите со счастливым женихом,

который как раз собирается нанести визит невесте.

— Ах, вы едете к фрекен Генриэтте? Ну, не буду вас задерживать. Пожалуйста, передайте от меня огромнейший привет и в сотый раз скажите, что я завидовал бы вам, если б любил вас хоть немножко меньше.

Андерсен не преувеличивал: невеста Эдварда, Генриэтта Тюберг, действительно вызывала у него горячую симпатию и искреннее восхищение. Хорошенькая, добрая, приветливая, она сразу отнеслась к нему с дружеским участием и глубоким пониманием, так что предстоящая свадьба не только не грозила отдалением Эдварда, но, напротив, Андерсен имел все основания надеяться, что влияние Генриэтты будет благотворным для их дружбы.

Теперь, когда острые углы в его отношениях с Эдвардом несколько смягчились, Андерсен мог более или менее беспристрастно размышлять о резкой разнице их характеров. Это его интересовало с литературной точки зрения: стоило бы показать, как в различной среде и условиях жизни формируются две противоположные натуры. Замысел разрастался, соединялся с другими впечатлениями и воспоминаниями, и уже осенью 1835 года Андерсен с головой ушел в работу над новым романом. Успех «Импровизатора» воодушевил его. «Я хочу быть первым романистом Дании», — признавался он в письме к своей оденсейской приятельнице Генриэтте Ханк, всегда сочувствовавшей ему. Но вместе с тем он понимал справедливость упреков критики, что Антонио — вовсе не итальянский характер, а северянин, искусственно перенесенный автором под небо Рима. «Автор должен описывать то, что он знает, среду, в которой он живет», — эти слова Андерсен вложил в уста мечтательного студента Отто, своего нового героя. И действие романа переносилось с шумной вечеринки копенгагенских студентов в графское поместье на острове Фюн, где хозяева и гости вели споры о роли идеи и формы в поэзии, о нападках Герца на Андерсена и Ингемана в «Письмах с того света». А оттуда автор уводил читателя на берег оденсейской речки: там прачки говорили о судьбе юной служанки, несправедливо обвиненной в воровстве и умершей в тюрьме. Эта служанка была матерью Отто, мальчик стал приемышем строгого нелюдимого помещика в суровых степях Ютландии, потом остался круглым сиротой. А его друг Вильгельм, самоуверенный и жизнерадостный, с детства был окружен улыбающейся природой Фюна, ласковыми лицами родных, роскошью.

Немудрено, что в характере и взглядах друзей оказалось немало различий. Глубокие тени омрачают душу Отто, характер

его противоречив, его любовь к светской красавице Софи, сестре Вильгельма, безнадежна: Софи принимает предложение соперника Отто, человека пошлого и посредственного, но одетого в камер-юнкерский мундир. Наглая, вороватая служанка грозит Отто рассказать всем, что она его родная сестра, и он полон тревог. Но понемногу тени рассеиваются, сестрой Отто оказывается вовсе не эта служанка, а бедная, но добрая и прекрасная Ева; разочаровавшись в ветреной Софи, он завоевывает сердце кроткой Луизы, и все кончается благополучно.

Сначала Андерсен называл роман «Два студента», но потом тема противопоставления Отто и Вильгельма отодвинулась на второй план, и надо было придумывать новое заглавие. В январе 1836 года, закончив роман, Андерсен писал Генриэтте Ханк: «Он называется просто «О. Т.». Заглавие вовсе не надуманное, а самое что ни на есть естественное». Отто Торступ — имя героя, но О. Т. значило еще и «оденсейская тюрьма», где умерла его мать, — эти две буквы были вытатуированы на плече ребенка.

Роман «О. Т.» удостоился похвальной рецензии «Литературного ежемесячника», а это не случалось с Андерсеном с далеких времен «Путешествия на Амагер».

Бывает иногда, что большие деревья начинают свою долгую жизнь среди скромных трав и цветов, и в первое время соседи никак не подозревают, что из маленького ростка выйдет лесной великан. «Он довольно мил», — снисходительно замечает клевер, покачивая розоватой душистой головкой. «Ничего особенного, заурядный кустик! — сердито возражает лопух. — Никогда у него не будет таких широких листьев, как у порядочного растения». «Бери пример с нас!» — слышит малыш назидательные советы кругом. Но росток тянется да тянется вверх, выпускает все новые листочки, а там, глядишь, и начинает понемногу обгонять своих высокомерных советчиков.

Как раз такая история случилась со сказками Андерсена. Неодобрение, которым был встречен первый сборник, порядком обескуражило поэта, но все-таки он потихоньку двигался по открывшейся тропинке. Работая над романом «О. Т.», он в то же время писал сказки для второго сборника, вышедшего в конце 1835 года. Из лепестков тюльпана выглянула крохотная Томмелиза (Дюймовочкой назвали ее в России) и отправилась в плавание на листке водяной лилии. Ее считали уродливой майские жуки — ведь она была не похожа на них! — а важный крот в бархатной шубе и хлопотливая мышь, рассуждавшие точь-в-точь как копенгагенские обыватели, внушали ей свою убогую

«мудрость». Преодолевая страх, девочка спасла замерзшую ласточку от смерти, а та в благодарность унесла ее в солнечную Италию, где в больших белых цветах у обломков мраморных колонн живет воздушный народец эльфов. Томмелиза и сама была похожа на эльфа, но думала и чувствовала она совсем не как загадочное волшебное существо, а просто как маленькая слабенькая девочка с верным любящим сердцем.

Когда Андерсен писал эту сказку, он думал об Иетте Вульф, которую он в письмах звал «своим лучезарным эльфом».

Крохотная больная девушка с веселой улыбкой столько раз ободряла и согревала измученного невзгодами поэта! А теперь она была в Италии и, может быть, бродила там, где однажды ночью у древних развалин, Андерсену почудились пляшущие эльфы в лунном свете…

Это была вторая сочиненная им самим сказка, и если в «Цветах маленькой Иды» можно было говорить о влиянии Гофмана, то здесь уже он двигался совершенно самостоятельно. Но критики не удостоили своим вниманием маленькую Томмелизу, и Андерсен снова не встретил поддержки и одобрения, в которых так нуждался. И он продолжал главные надежды возлагать на писание романов. Одно время у него мелькала мысль написать о прекрасной и трагической судьбе французского мальчика, погибшего в боях за свободу в 1830 году. Но такой роман требовал глубокого знания темы, беглых же парижских впечатлений хватило только, чтобы написать сцену смерти маленького героя. Нет, надо писать о том, что пережил сам, что знаешь до мелочей! И Андерсен начал роман о жизни датской бедноты, о детстве и юности Кристиана, сына портного из маленького городка. Мальчик был наделен живой фантазией и большим музыкальным талантом, и старый чудак крестный научил его играть на скрипке.

Отец Кристиана мечтал о далеких краях и ушел в солдаты, мать, прачка Мария, горячо любила сына и мужа, но их мечты считала простым чудачеством, первая детская любовь Кристиана, черноглазая Наоми, уехала куда-то далеко… Рисуя детство Кристиана, Андерсен вспоминал все, что когда-то происходило на улице Монастырской мельницы, но, как и в «Импровизаторе», добавлял к этим правдивым картинам необычайные, романтические события: чудесное спасение из пламени, бегство из дому, таинственное убийство, превращение Наоми в дочь графа… Юноша Кристиан жил в каморке на чердаке, терпел голод и холод, сталкивался с черствостью и равнодушием знатных господ, и в конце концов его чудесный талант погиб, не развернувшись. Роман назывался «Только скрипач».

Андерсен писал его, как всегда, быстро и с увлечением, но когда он отрывался от рукописи и шел пройтись, совсем другие картины и образы всплывали в его воображении. Весенний воздух тревожил похороненные воспоминания о «немой любви» к Луизе, будил тоску о дальних странствиях. Снова вспоминалась «Агнета», где героиня была одержима этим смутным беспокойством, тягой вдаль, в таинственные морские края. Много лет провела она в подводном царстве, а потом вернулась к людям и бросила морского царя и своих маленьких детей… Андерсен рисовал себе дальнейшую судьбу этих крошек: их воспитывает старая бабушка — русалка, они играют жемчужными раковинами и кормят из рук золотых и серебряных рыбок, как дети в копенгагенских садах кормят лебедей… А потом тоска по чему-то прекрасному, далекому, неведомому вспыхивает в сердце дочери Агнеты. Маленькая русалочка стремится к чудесам земли, к солнечным лучам, к пению птиц, жизнь морского дна угнетает ее будничным однообразием — ведь это только для нас подводные деревья и раковины кажутся чем-то необыкновенным!

Фантастичны там только сами русалки, но в том-то весь интерес, чтобы описать подводное царство без всякой таинственности, придать ему сходство с земным миром. Старая королева-бабушка гордится знатностью рода, сестры-русалочки с увлечением танцуют на балах и делятся с подругами дворцовыми сплетнями и сердечными тайнами, все они довольны собой и жизнью, а глубокое, сильное чувство кажется им лишним беспокойством. И только сердце маленькой русалочки полно тревожными мечтами о большой, настоящей любви, дающей бессмертие.

Русалки в старых легендах и балладах холодны и коварны, они заманивают на дно полюбившего их человека.

Ну что ж, а тут будет как раз наоборот: бедная русалочка, любящая и самоотверженная, пожертвует жизнью ради «немой любви» к прекрасному Принцу, беспечно принимающему ее преданность.

И Андерсен в письмах к Иетте Вульф делится замыслом написать сказку «Дочери моря». Он принимался за нее и снова откладывал в сторону: нет, надо писать роман, это, как видно, верный путь… Но ведь Эрстед, умный, серьезный человек, знаменитый ученый, советует писать сказки! Андерсену очень хотелось поверить Эрстеду: сказки открывали столько новых заманчивых возможностей! И грусть, и мечты, и надежды можно выразить в них не хуже, чем в лирическом стихотворении, и украсить действие живописными картинками леса, речки, моря. И потом ведь сказочный сюжет можно повернуть по-разному. На вид

будет безобидная история о цветах или принцессах, а для внимательного читателя откроется совсем другое, поважнее… Зимой 1837 года. Андерсен получил письмо из Сорэ от писателя Гауха, страстного поклонника Эленшлегера и приятеля Ингемана. Речь шла о новой «звезде» датской литературы, молодом поэте Палудане-Мюллере. Гейберг и Герц безоговорочно хвалили его за изящество и тщательную отделку драм и стихов. Мнения публики разделились. Гаух сообщал в письме, что старый генерал Гульдберг из Оденсе ставит Палудана-Мюллера куда выше, чем Андерсена. «Я же настаиваю на том, что вы гениальнее, — писал Гаух. — Палудан-Мюллер просто натягивает на себя красивые поэтические наряды, чтобы щегольнуть перед публикой; у Вас же сердце настоящего поэта». Сравнение Гауха оказалось семечком, из которого вырос цветок. Давно хотелось Андерсену написать историю, где высмеивался бы всякий ложный блеск, прикрывающий внутреннюю пустоту, всякое преклонение перед «модой» и боязнь иметь свое мнение, чтобы не прослыть дураком. Но где об этом скажешь так хлестко, коротко и наглядно, как это можно сделать в сказке?

И в апреле 1837 года вышел третий сказочный сборник — с «Русалочкой» и «Новым платьем короля»: два ловких обманщика-ткача перекочевали сюда из старой испанской сказки, но все остальное было чисто андерсеновское.

Предисловие сборника «детских сказок» было адресовано «взрослым читателям» (ведь он писал и для тех и для других). Андерсен делился здесь своими сомнениями: сказки вызывают очень противоречивые отзывы, писал он. Одни говорят, что это лучшее из всего им написанного, другие советуют не тратить время на пустяки, а критики предпочитают обходить сказки молчанием. Теперь этот вопрос должен решиться: если и третий сборник встретит лишь равнодушие публики, он останется последним.

Но в заключительных словах предисловия сквозила надежда завоевать публику: «В маленькой стране поэт всегда бедный человек, поэтому ему особенно приходится гоняться за золотой птицей славы. Увидим, поймаю ли я ее, рассказывая сказки».

Рецензент «Копенгагенской почты» откликнулся на это предисловие снисходительным разъяснением, что не все взрослые могут интересоваться сказками, благосклонно отозвался о «Томмелизе» и «Русалочке» и ни звука не проронил насчет «Нового платья короля».

А маленькие книжечки расходились все лучше и лучше, и Рейцель стал относиться к ним с интересом. Неожиданную поддержку встретили они в театре. Копенгагенский актер Фистер

выбрал «Новое платье короля» для чтения со сцены, и Андерсен, настороженно приглядывавшийся к залу, увидел, как лица постепенно оживляются, расплываются в улыбки, а затем раздаются взрывы смеха… Смеется королевская ложа, дружно хохочет галерея, трясутся от смеха соседи в партере.

Ну, теперь весь Копенгаген будет знать историю про голого короля!

Нет, он никогда не бросит писать сказки. В сказочном королевстве, созданном неутомимой фантазией его прапрадедов, отдыхавших за лукавыми и мудрыми историями после длинного трудового дня, он завоюет себе право на собственный уголок!

ГЛАВА VIII
СВЕТ И ТЕНИ

Уныло выглядел Копенгаген в декабре 1839 года. На заснеженных улицах не слышно громкого смеха и веселых разговоров, у прохожих на шляпах черный креп, вечерами у подъезда театра темно и пусто. В городе был объявлен траур: умер король Фредерик VI. Многие искренне оплакивали своего старого короля, ухитрившегося снискать популярность, несмотря на полную бездарность в управлении страной народ еще хранил веру в «доброго монарха».

Но в стране слышались не только унылые звуки похоронного пения, а и новые голоса, полные надежды, оживления, протеста. В деревне, особенно в степях нищей Ютландии, зашевелились крестьяне: не пора ли покончить с гнетом помещиков, с непосильными налогами, с бесправием народа?

В либеральных кругах столицы открыто обсуждались проекты реформ и вопрос о конституции: абсолютизм стоял поперек дороги буржуазии. Эти разговоры велись еще при жизни Фредерика VI, но он всячески старался пресечь их, запрещал продажу прогрессивных норвежских газет, держал под надзором полицейской цензуры либеральную печать Копенгагена и особенно строго преследовал «вольнодумцев» в Шлезвиге и Гольштейне, требовавших самостоятельности обоих герцогств.

Но вот седоголовый упрямый король, уверенный, что он один

знает нужды своей страны, умер. Не будет ли его наследник, Кристиан VIII, сговорчивее? Ведь в 1814 году, став регентом Норвегии, он снисходительно отнесся к прогрессивному движению, и норвежцы получили самую передовую из всех европейских конституций. Чиновники и коммерсанты, студенты и крестьяне готовили петиции новому королю.

Однако надежды на его либерализм были напрасны: хотя Кристиан VIII прекрасно понимал, что двухсотлетний лед датского абсолютизма порядком подтаял и кое-где дает трещины, в его намерения совсем не входило помочь этому разрушительному процессу.

Тогда, в Норвегии, принц Кристиан был еще молод, а молодость чужда излишней осторожности, да и, кроме того, речь шла о чужой стране, по Кильскому договору отходившей к Швеции. А теперь пятидесятитрехлетний король, с опаской глядя на растущее крестьянское движение, на волнения в герцогствах, видел надежную опору именно в сохранении абсолютизма.

«Искусство управления состоит в том, чтобы противиться болезненной тяге к реформам, которые могут повести к вредным изменениям, и в то же время так направлять консервативный дух, чтобы он не мешал некоторым улучшениям», — говорил Кристиан VIII, и в этих словах явственно звучала симпатия именно к «консервативному духу».

Но осторожная рука нового монарха не в силах была остановить маятник времени, каждый взмах которого неуклонно приближал датский абсолютизм к его последнему часу.

Когда в копенгагенских гостиных велись споры о прогрессе — это была модная тема, оттеснившая толки о роли формы в изящных искусствах, — Андерсен активно поддерживал сторонников «нового времени» против любителей старины.

Вздохи о «поэтическом средневековье» возмущали его до глубины души: хорошенькая «поэзия» в кострах для еретиков и травле крестьян собаками, в мраке невежества и диких предрассудках! Нет, он горячо верил в завтрашний, а не вчерашний день. За это лучшее завтра всегда боролись ученые и поэты, за него проливал кровь народ на парижских баррикадах. Андерсен вспоминал французского мальчика, погибшего при штурме королевского дворца, — хорошо бы написать роман о его прекрасной и трагической судьбе! Но для этого недоставало глубокого знания материала, — беглые парижские впечатления не могли его дать! — и написана была только сцена смерти маленького героя…

Однако, сочувственно отзываясь о парижском «дереве

свободы», Андерсен со страхом останавливался перед мыслью о возможности увидеть баррикады в Копенгагене. Там, за границей, другое дело, а в Дании лучше бы обойтись без этого, думал он.

Защищая прогресс в разговорах и в сказках (в «Калошах счастья» он зло высмеял тупых и самоуверенных поклонников «милой старины»), Андерсен опирался на авторитет Эрстеда. Знаменитый физик, страстно влюбленный в свою науку, рисовал своему молодому другу грандиозные картины грядущих технических открытий: воздушные корабли бороздили небо и переносили людей с чудесной быстротой через моря и материки; телеграф связывал между собой самые отдаленные точки земного шара; сидя в Копенгагене, люди будущего слушали концерт, дающийся где-нибудь в Веймаре… Пар, «великий мастер Бескровный», электричество — вот те волшебные силы, которые сделают жизнь радостной, легкой, гармонической! Андерсен слушал эти пророчества с восторгом: да, сама жизнь — чудеснейшая из сказок… И вслед за Эрстедом он верил, что развитие техники устранит нужду и страдания, неравенство и угнетение без помощи баррикад. Почему бы разумным, добрым людям, которые есть и в высших классах, не оттеснить в сторону хищников и мошенников, не договориться мирно об улучшении жизни простых честных тружеников, чтобы они могли не только на небе, но и на земле получить свою долю счастья? А уж сам король-то и подавно мог бы обеспечить благо народа, если б только захотел! Конечно, вокруг трона теснятся льстецы, лицемеры, раззолоченные ничтожества и высокомерные болтуны. Но король может прислушиваться к голосам честных советников, а многое узнать и от поэтов, долг которых — говорить правду о том, что делается на свете. И, узнав эту правду, король, наверно, сделается поборником справедливости, а тогда уж постепенно все пойдет на лад.

Эти наивные рассуждения казались Андерсену — да и не ему одному! — очень убедительными. Правда, поэт смутно чувствовал, что есть глубокие противоречия между его верой в науку и в бессмертие души, между надеждой на «добрые намерения» господ и реальным знанием об их хищническом произволе и народной нищете, но ему так хотелось верить, что все разрешится гармонически с помощью времени, техники и «просвещенного монарха»!

В дни траура по Фредерику VI мало у кого в целом Копенгагене был такой огорченный и встревоженный вид, как у Андерсена. Но жестоко ошибся бы тот, кто приписал это скорби по усопшему монарху. У поэта были совсем другие причины

горевать: ведь старого короля угораздило скончаться в тот самый день, когда в театре должна была состояться премьера пьесы Андерсена «Мулат»! Конечно, спектакль был отменен, и автор чувствовал горькое разочарование. «Мулат» уже стоил ему многих бессонных ночей и волнений, а теперь, на самом пороге заветной цели, новая оттяжка…

Почти весь 1839 год Андерсен провел за работой над драмой, а затем в борьбе за ее постановку. Сюжет «Мулата» основывался на новелле «Невольники» французской писательницы Рейбо. Андерсена привлекла гуманная направленность темы — защита угнетенных чернокожих рабов, а страдания героя драмы, великодушного и мечтательного мулата Горацио, были так близки его собственным! Мулат с острова Мартиника сталкивается с высокомерием и жестокостью белых рабовладельцев, о нем судят не по его достоинствам, а по его происхождению: все это было очень знакомо сыну датского сапожника. От цепей рабства Горацио спасла полюбившая его молодая француженка Сесилия, восторженная поборница равенства и справедливости, — и Андерсен еще не потерял надежды встретить свою Сесилию… Он писал драму с вдохновением и подъемом. «Бр-р-р, какая жуткая погода!» — как-то пожаловался ему встретившийся приятель. «Разве? — изумленно огляделся поэт и, засмеявшись, пояснил: — Меня-то греет тропическое солнышко, ведь я сейчас живу скорее на острове Мартиника, чем в Копенгагене!»

Но вот закончен последний акт, «Мулат» прочитан в нескольких знакомых домах и осыпан похвалами, теперь слово оставалось за театральным цензором, а на этой должности все еще сидел Мольбек, ненавидевший Андерсена. В длинных письмах к Генриэтте Ханк Андерсен описывал завязавшуюся борьбу. Мольбек объявил драму «тривиальной и безыдейной», кроме того, его возмущало, что сюжет взят «из какого-то французского романа этой развращенной новой школы, не имеющей понятия о благопристойности и морали». В довершение всего он ядовито замечал, что и обработка-то этого сюжета сделана Андерсеном из рук вон плохо. Эта явно несправедливая оценка привела в негодование многих, не говоря уже об авторе. Эрстед и Эленшлегер высоко оцепили «Мулата», ведущие актеры бранили Мольбека и выражали желание играть в этой драме, и сам Гейберг, хоть и защищал Мольбека от яростных нападок, все же соглашался, что «Мулат» заслуживает попасть на сцену.

Горячо сочувствовал Андерсену и Торвальдсен, недавно с триумфом вернувшийся на родину.

В ночь на второе апреля 1839 года, когда затих двенадцатый

удар часов, поэт Тиле поднялся с бокалом в руке и предложил гостям выпить за здоровье новорожденного: ведь с этой минуты Андерсену исполнилось тридцать четыре года. «Здоровье Андерсена — и да погибнет Мольбек!» — весело подхватили вокруг. «Держу пари на бутылку шампанского, что скоро мы увидим «Мулата» на сцене!» — вскричал актер Нильсен.

Торвальдсен подошел к Андерсену и сердечно обнял его: «За ваши успехи, за ваше счастье, друг мой! Верю, что все будет хорошо!» Растроганный Андерсен незаметно смахнул слезинку: хоть он давно уже научился сдерживаться и не пускать зря «воду из глаз», но сегодня это было слишком трудно.

«Побольше бодрости!» — говорили ему взгляд и улыбка немногословного Торвальдсена. Старый скульптор терпеть не мог «этой модной мировой скорби».

— Помню, как Байрон явился ко мне позировать, когда я делал его бюст! — рассказывал он. — Сел передо мной и сразу стал делать страдающее лицо. «Не гримасничайте!» — сказал я ему напрямик. «Но у меня всегда такой вид!» — отвечает он. «Ах, вот как!» — и я изобразил его по-своему. Все говорили, что вышло похоже, только сам Байрон утверждал, будто у него на самом деле куда более несчастное лицо… Нашел, видите ли, достоинство! — и Торвальдсен с полушутливым негодованием пожимал плечами. Зато хорошая, острая шутка приводила его в восхищение, и он нередко просил Андерсена «прочесть новую сказочку, да посмешнее!»

— Нет новой? Ну, что вы! — удивился он однажды. — Вы же можете сочинить ее о чем угодно — хоть о штопальной игле! (Несколько лет спустя, уже после смерти Торвальдсена, Андерсен выполнил этот заказ, и нет сомнений, что забавная хлесткая история о гордой штопальной игле понравилась бы его знаменитому другу.)

Андерсен любил в Торвальдсене и его непринужденную простоту. Признанный гений, окруженный поклонением, держался со своим молодым приятелем с отеческим добродушием. В нем не было ни малейшей тени высокомерия, которое так часто уязвляло поэта в отношении к нему людей «с положением в обществе». Ах, если б все вокруг так тепло ободряли его, так верили в его поэтический талант, как Торвальдсен, как Эрстед, насколько легче было бы переносить любые невзгоды!..

Итак, общественное мнение Копенгагена сложилось в пользу «Мулата», но театральная дирекция еще некоторое время колебалась. Камергер Хольстейн, главный директор, не давал определенного ответа: при дворе кто-то заметил, что направление

драмы, пожалуй, сомнительно: ведь и у Дании есть колонии! Кроме того, сам Хольстейн, как и Мольбек, не жаловал «развращенную французскую школу».

— Я, право, удивляюсь, Андерсен, зачем вам понадобилось брать чужой сюжет! — выговаривал он автору. — Ведь сочиняете же вы романы. Ну и взяли бы материал для драмы оттуда, это было бы куда лучше.

У члена дирекции Адлера были свои соображения: его меркой был кассовый успех пьесы и ее «постановочные» эффекты.

— Есть у вас там какая-нибудь свеженькая, не избитая сцена? — спросил он Андерсена.

— Я думаю, да. Вот сцена бала, например…

— Ах, бал — это не ново. А еще?

— Еще есть невольничий рынок! — отвечал поэт, сдерживая улыбку.

— Невольничий рынок? Да, это уже кое-что! Что ж, я думаю, тогда мы можем рискнуть поставить вашего «Мулата». Так я и скажу Хольстейну.

И вот, наконец, начались репетиции! Героиню согласилась играть сама фру Гейберг, а это уже наполовину обеспечивало успех.

Но серый зимний день 3 декабря принес весть о смерти короля. «Так я и знал! — мрачно шептал Андерсен, глядя из окна своей комнаты в отеле «Норд» на здание театра, куда, как нарочно, в это время вносили части новых декораций к «Мулату». — Ну что бы ему стоило прожить лишний денек? А теперь жди, когда еще разрешат снова открыть театры!»

…Декабрь и январь тянулись невыносимо медленно. Андерсен пробовал сесть за работу, но мысли снова возвращались к «Мулату», и перо выпадало из руки. Наверно, часы отстают! Неужели день еще в разгаре? Нет, невозможно сидеть дома, надо куда-нибудь пойти рассеяться… заглянуть к Рейцелю, например, чтобы узнать, прислали ли уже из типографии «Книгу картин без картин». Это была новая вещь Андерсена, построенная, по его собственному определению, «в манере тысяча и одной ночи»: поэту, живущему на чердаке, луна каждый вечер рассказывает какую-нибудь сценку, на которую упали ее лучи. Одна из них происходила в Индии, другая в Париже, третья в Германии, — ведь луне нипочем наши расстояния, она все видит! Живописные картинки сменяли друг друга, и каждая переливалась своими особыми красками, как маленькая жемчужина. (Впоследствии этой «Илиаде в ореховой скорлупе», как назвал книгу один английский критик, суждено было стать одним из популярнейших

произведений Андерсена.) Успех она завоевала сразу же после выхода в свет, и это помогло поэту скоротать томительные месяцы ожидания премьеры.

3 февраля 1840 года. Зал копенгагенского театра переполнен: публика стосковалась по спектаклям, а о «Мулате» ходят заманчивые слухи! В первых рядах «придворного паркета» — той части партера, куда, кроме важных чиновников и вельмож, получают право входа и знаменитости из мира искусства, — уже заняли свои места Эленшлегер, Гейберг, Герц. Вот и львиная грива Торвальдсена. Он оборачивается и с улыбкой кивает Андерсену, еще не имеющему доступа в «обиталище богов». Мольбек не явился. Ну, народу и без него больше чем достаточно!

Плавно открывается занавес, на сцене бушует южная гроза, две прекрасные дамы ищут убежища в скромном домике мулата Горацио…

«Фру Гейберг обаятельна, как всегда», — шепчут зрители, слушая гибкий, нежный голос своей любимицы: она читает трогательное стихотворение «Дочь негритянского короля», вставленное Андерсеном в драму.

События развиваются, но публика еще остается прохладной, а сердце Андерсена замирает от ужаса… И вот уже близится развязка. Жестокий плантатор Ла-Ребельер раскрывает тайную влюбленность своей жены в Горацио и грозит убить «презренного мулата» на ее глазах. Горацио закован в цепи. Позорная картина продажи «живого товара»… И смелое заступничество Сесилии. Она объявляет о готовности вступить в брак с Горацио, а это согласно закону делает его свободным человеком! Занавес опускается. Секунда молчания, такая тяжелая и бесконечная для автора… и оглушительный взрыв аплодисментов, буря уже не на сцене, а в зрительном зале. Эленшлегер аплодирует вяло. «В драме есть удачные места», — говорит он Торвальдсену. «Вся драма — прелесть!» — решительно отвечает скульптор, изо всех сил работая своими мощными руками.

На другой день газеты полны хвалебных отзывов о премьере, Андерсена все поздравляют, в театре Кристиан VIII милостиво кивает ему головой из королевской ложи, дирекция дает ему право входа в «придворный паркет», и Торвальдсен сажает его рядом с собой со словами: «Добро пожаловать к нам, в зелень» (кресла здесь обиты зеленым плюшем).

Сияющий Андерсен, одетый в щегольской костюм («Вы теперь совсем как какой-нибудь камер-юнкер… У, какой важный господин!» — оглядев его, сказала Иетта Вульф), смотрит со своего почетного места на скамью фигуранток, где когда-то девочки смеялись над долговязым подростком, и мысленно

пробегает взглядом по прошедшим годам. Да, кое-чего он все же сумел добиться! Нищета и голод больше не грозят ему: с 1838 года он получает небольшое ежегодное пособие, «хлебное деревце, выросшее в моем саду», как он его называет. Да и книги стали приносить верный доход. Но главное — это то, что никто больше не оспаривает его прав на волшебную лампу — поэзию. Даже Мейслинг, встретив своего бывшего питомца на улице, сказал, что он был не прав тогда, в школьные годы.

И не только внешне все изменилось к лучшему — он чувствует важные перемены, незаметные для постороннего глаза: стройнее стали мысли, понятнее души людей. Когда он пишет, слова слушаются его, приходят по его зову — простые, прозрачные, единственно нужные. Из подающего надежды подмастерья он превратился в настоящего мастера, честно заслужившего право сидеть между Торвальдсеном и Эленшлегером! И в голову ему приходит яркое, точное сравнение: неуклюжий молодой лебеденок, которого раньше безжалостно щипала каждая встречная утка и поучала глупая курица, сменил свой серый невзрачный юношеский наряд на белоснежные перья и на широких шумящих крыльях уверенно взлетел к весеннему небу.

Свет и тени, как это чаще всего бывает на свете, шли вперемежку. Не успели отзвучать первые поздравления, как уже Андерсену сообщили, что редакции газет получают анонимные письма с требованием опубликовать перевод французской новеллы «Невольники»: это, дескать, докажет, что автора «Мулата» чествуют за чужой счет. Пришло приглашение на бал во дворец, и по этому поводу профессор Хорнеман ядовито заметил, что не к лицу сыну сапожника лезть в общество знатных людей.

— Да, мой отец был честным ремесленником, и всему, чего я достиг, я обязан самому себе, а не деньгам или происхождению. Думаю, что я вправе этим гордиться! — вспылил Андерсен.

Профессор пожал плечами и проворчал что-то нелестное. Ни тогда, ни позже ему не пришло в голову извиниться перед Андерсеном.

На стокгольмской сцене «Мулат» тоже стяжал бурный успех. Андерсен некоторое время спустя поехал в Швецию, и студенты там устроили ему настоящую овацию. «Когда вас будут чествовать во всей Европе, вспомните, что мы были первыми!» — говорили они. Одна из шведских газет писала: «Мы хорошо знаем, что компания завистников поднимает хриплые голоса в столице наших соседей против одного из достойнейших сынов Дании. Но теперь эти голоса должны умолкнуть — Европа кладет свое

мнение на чашу весов, а ее суждением еще никогда не пренебрегали».

Встретившись с Андерсеном после его возвращения из Швеции, Гейберг с любезной улыбкой сказал:

— Не пригласить ли мне вас с собой, когда я тоже поеду в Швецию? Может быть, тогда и мне перепадет что-нибудь из чествований…

— Зачем? — с невинным видом отпарировал Андерсен. — Лучше поезжайте вместе с вашей женой, и тогда уж, конечно, на вашу долю достанется часть ее успеха!

Удар попал в цель: побледневший Гейберг отошел, с трудом сохраняя улыбку, а окружающие зашептались, передавая друг другу меткий ответ Андерсена: в Копенгагене ценят удачные остроты!

Но затрагивать Гейберга было опасно: хотя в начале сороковых годов он уже и не был прежним «властителем дум», его острое перо имело еще достаточное влияние. Когда, окрыленный успехом «Мулата», Андерсен написал новую драму «Мавританка», Гейберг дал на нее уничтожающий отзыв. А хуже всего было то, что фру Гейберг не хотела играть главную роль: без ее имени на афишах пьеса не могла рассчитывать на успех. Доходили до Андерсена и ее насмешливые замечания по поводу «Мулата»; стихи драмы были, по ее мнению, вымученными, сама вещь чрезмерно лирической, а о своем успехе в роли Сесилии фру Гейберг говорила с иронической улыбкой. Андерсен был обижен и огорчен: он искренне восхищался игрой талантливой артистки, посвятил ей один из сборников сказок, а ока, оказывается, относится к нему с пренебрежением…

Он попытался объясниться с фру Гейберг, но ничего хорошего из этого не вышло: играть в «Мавританке» она отказалась наотрез, держалась холодно и гордо, а когда Андерсен, разгорячившись, высказал свою обиду, она просто указала ему на дверь.

С тяжелым сердцем Андерсен собирался в большое путешествие по Италии, Греции и Турции; он бежал от двух вещей, грозивших причинить ему боль: премьеры «Мавританки» и свадьбы Луизы Коллин с адвокатом Линдом.

Столько лет прошло, а воспоминания о неудачной любви, об «утраченной навек белой розе» нет-нет да оживали в душе…

Первые дни путешествия он чувствовал себя страшно одиноким и подавленным. Но скоро сказалась магическая сила новых впечатлений. В Германии он впервые видел железную дорогу и даже рискнул проехать по ней до Лейпцига (тогда еще многие опасались этого необычного способа передвижения). Да, вот еще одно волшебство нового времени! Лучше всяких

семимильных сапог, а уж о тряском дилижансе и говорить нечего. Шумно фыркает и пыхтит паровоз — огнедышащий дракон, запряженный людьми; за окном с невероятной быстротой мелькают леса и озера, люди и дома…

«Теперь я понимаю чувства перелетных птиц, летящих в облаках над землей!» — восторженно писал он Эдварду Коллину.

Он мог уже спокойно вспоминать о свадьбе Луизы, все это отодвинулось далеко-далеко и стало маленьким, точно игрушечным. Кукольный мирок, кукольная свадьба — прекрасная сцена для сказки!

…В Риме было холодно и сыро, на почте его не ждало письмо, которое он так надеялся получить, — письмо от милой, ласковой шведской девушки, чья нежная дружба, может быть, обещала счастье. Из Копенгагена писали о холодном приеме «Мавританки» публикой и о сатирической пьесе Гейберга «Душа после смерти», где драмы Андерсена оказывались орудием пытки для грешников в аду. Нет, надо стряхнуть с себя всю эту паутину! Беспокойный дух перемен звал его дальше, вперед, в Афины, где бродят тени героев древности, и по синим просторам теплого моря к минаретам Константинополя. Путешествовать — значит жить!

А вернувшись домой, он напишет большую книгу путевых очерков, поделится с соотечественниками своими пестрыми, живописными впечатлениями. И несколько семечек, из которых должны вырасти новые сказки, уже лежат в воображении, готовясь прорасти. Маленький Оле-Лукойе со своим волшебным зонтиком поможет сказочнику посмеяться над убогой рассудочностью обывателя и прославить живую, творческую фантазию, открывающую в будничной жизни неиссякаемый источник сказок, а история принца-свинопаса наглядно покажет разницу между настоящим искусством и мертвой искусственностью.

Никакие затейливые ухищрения не спасут поэта, если у него нет горячего любящего сердца, полного сострадания к людям, а взгляд его ограничен рамками узкого круга «избранных»!

Конечно, дети не смогут по-настоящему осмыслить этот второй план сказок: он предназначается для взрослых, но какие-то искорки западут в ребяческое сознание и, может быть, в свое время им пригодятся. Ведь так оно и следует, чтоб дети понимали поменьше, а взрослые побольше!

Впрочем, и у малышей есть свои драгоценные способности, которых часто не хватает их благоразумным, степенным родителям. В детских играх так легко оживают и начинают разговаривать любые предметы: старый гвоздь, сухая палка, сорванный цветок — все годится. А зоркие ребячьи глаза часто

подмечают интересные вещи: как хитро и довольно щурится кот после удачной экскурсии в кладовку, как улыбаются и хмурятся рисунки на обоях, какой озабоченный, строгий вид у стенных часов!.. Все это зародыши сказок, но, чтоб они обрели жизнь, надо еще вложить в них мысли и чувства, важные и нужные для людей, — тогда-то и вырастает из жизни прекрасный цветок настоящей сказки.

Пустенькая принцесса из сказки «Свинопас» пренебрегла любовью принца и с презрением отвергла его чудесные подарки — соловья и розу: «ведь они настоящие!» Зато хитроумно сделанная трещотка, играющая смесь из модных вальсов и полек, и горшочек, позволяющий узнать, какие обеды варятся в чужих кухнях, полностью заняли ум и сердце принцессы и ее фрейлин. Близорукие мудрецы из мира копенгагенской критики увидели в этой истории всего только «наивную ребяческую фантазию».

Любовь и поэзия становятся в «хорошем обществе» жертвами глупости и бессердечия, тщеславия и моды. Ах, это все романтические представления о жизни; благоразумный человек, занятый своими текущими делами, не станет волноваться из-за таких пустяков! Но Андерсена, конечно, не научишь благоразумию. Что ж, пусть себе пишет сказочки для детей… Бранить их уже стало как-то неприлично: датские читатели ими восторгаются и за границей их превозносят до небес, — но и всерьез принимать не стоит.

«Иной раз просто диву даешься, до чего глупы бывают признанные умники! — думал Андерсен, читая снисходительные и бессодержательные рецензии на сказки. — Беда мне с этими критиками: и бранят и хвалят невпопад. У них все определено заранее: книга озаглавлена «сказки для детей», значит это просто забавные пустячки. Ну да я не позволю запереть меня в детской!»

Сборник 1843 года, где были помещены «Гадкий утенок» и «Соловей», назывался просто «Новые сказки». Что там для детей, а что нет, пусть решают читатели.

…Хрупкий фарфоровый дворец китайского императора и его роскошный сад, где к цветам привязаны колокольчики, — это царство раболепия и высокомерия, бездушного этикета и безжизненной красивости. Именно здесь находит себе ценителей искусственный соловей, мертвый механизм, покрытый золотом и бриллиантами. «Он безукоризненно держит такт и поет как раз по моей методе!» — хвалит его придворный капельмейстер, а потом пишет ученый труд в двадцать пять томов, полный мудреных слов, где доказывается, что искусственный соловей превосходит живого (внимательный читатель-копенгагенец мог легко уловить

здесь кое-какое сходство с Гейбергом и Мольбеком). Все придворные с нчм согласны — и по искреннему убеждению и из страха прослыть дураками, — и механическая птица получает пышный титул: «императорского ночного столика первый певец с левой стороны».

Но бедные рыбаки понимают, что в его пении нет чего-то самого важного: оно не печалит и не радует. То ли дело настоящий соловей! Правда, он выглядит серењким и невзрачным, но чудесные, задушевные мелодии, льющиеся из его горлышка, украшают его лучше любых драгоценных уборов. И место серењкого певца не в золотой клетке, висящей в императорском дворце: он правильно сделал, что улетел оттуда. Его песни должны раздаваться в прохладном зеленом лесу на берегу моря, их слушает рыбак, тянущий невод, и девочка-кухарка, несущая объедки домой, больной матери. Настоящий соловей летает повсюду и видит все, он поет о злых и о добрых, о горе и о счастье, о роскоши дворцов и о нищих хижинах, потому-то его песни и могут взволновать и заставить задуматься.

На придворном балу победил механический соловей, но в час серьезного испытания он оказывается жалкой безделушкой, годной лишь для забавы, а пение настоящего соловья обладает такой неотразимой силой, что даже Смерть отступает перед ним, покоренная и очарованная.

Самые заветные мысли о силе и правде живого, истинного искусства, о его торжестве над изысканными подделками вложил Андерсен в эту сказку. А когда он работал над ней, его вдохновляла не только большая, беззаветная любовь к искусству, но и просто любовь — глубокая, неожиданная и последняя.

Давно уже копенгагенские сплетницы судили и рядили о том, на ком же в конце концов женится Андерсен. Блестящей партии ему, конечно, не сделать — беден, некрасив, и виды на будущее неопределенные, — но какая-нибудь старая дева с приличным приданым или богатая вдова могли бы пойти за него: все-таки поэт… Шутники спрашивали Андерсена, скоро ли состоится его помолвка с фру Бюгель, шестидесятилетней вдовой крупного коммерсанта. «Старуха явно к вам неравнодушна, — говорили они, — грех вам разбивать ее сердце». Андерсен смеялся, отшучивался, но про себя горько вздыхал. «Рассчитать шансы», «сделать приличную партию» — все эти словечки из арсенала «благоразумных людей» были ему противны. А черная ледяная вода одиночества порой подступала в горлу: неужто так и не спастись? Долгими вечерами, когда в комнате были только он да его тень, он позволял себе помечтать о «чуде из чудес». Вот вдруг

откроется дверь — и войдет нежная, ясноглазая девушка, та самая, которая мелькает в снах. Войдет и улыбнется ему. «Я так давно жду тебя!» — скажет он ей. И это будет счастье, огромное, прозрачное, переливчатое…

Вот оно растет, играет радугой красок — и лопается, как положено мыльному пузырю. Опять тишина и одиночество, только тень кривляется на стене. Неужели так и не сбудется никогда?

Облик девушки был зыбким, колеблющимся. Когда-то она напоминала Риборг, потом Луизу. Риборг успела за эти годы превратиться в бесцветную и жеманную провинциальную даму: под впечатлением этого он написал горько-шутливую сказку «Жених и невеста» — о сватовстве волчка к барышне-мячику и их встрече через несколько лет.

На короткое время черты воображаемой возлюбленной приобрели сходство с актрисой Люсиль Гран — это она была балериной в «Стойком оловянном солдатике», — с юной, миловидной Софи Эрстед, дочерью старого друга. Но полная безнадежность быстро гасила чуть загоравшиеся огоньки влюбленности, и поэт снова и снова утешал себя, что все еще впереди, что «она» появится.

И вот она появилась. Сказка о соловье, чарующем своим пением, неразрывно переплелась с жизнью: Андерсен полюбил певицу Иенни Линд, которую так и называли «шведский соловей».

Это случилось с ним осенью 1843 года. Он недавно вернулся из Парижа, где его имя уже стало известно в литературных кругах, и оживленно рассказывал друзьям о дружеских беседах с Генрихом Гейне (немецкий поэт был в восторге от его сказок!), с Александром Дюма и знаменитой актрисой Рашель. Виктор Гюго любезно прислал ему билет на свою новую пьесу «Бургграфы» («Жаль только, что в театре очень сильно свистели, — трудно было слушать», — лукаво добавлял Андерсен: копенгагенцам не мешает знать, что и знаменитому Гюго случается быть освистанным, причем в данном случае по заслугам). В одном из литературных салонов Парижа Андерсен вместе с Бальзаком стал жертвой какой-то «обожательницы поэзии»: она держала их возле себя на диване и трещала без умолку, а Бальзак за ее спиной подмигнул Андерсену и состроил уморительную гримасу. А через несколько дней, бродя по парижским улицам, Андерсен заметил оборванца в мятой шляпе, с улыбкой взглянувшего на него живыми карими глазами и скрывшегося в толпе. Это был, несомненно, Бальзак! Как видно, он переоделся, чтобы наблюдать шумную жизнь улицы, не привлекая к себе ничьего внимания: ведь оборванец может вести себя куда свободнее, чем хорошо

одетый господин!

Словом, впечатлений хватало, настроение было приподнятым и оживленным, на столе лежала начатая рукопись новой драмы «Грезы короля» — жизнь шла полным ходом! И тут в Копенгаген приехала Иенни Линд. Несколько задушевных разговоров, вечер ее первого выступления — и все побледнело вокруг, кроме ее серьезных глаз, ее медленной улыбки, ее чудесного голоса. На страницах дневника то и дело мелькало ее имя… Сомнений не было. «Я люблю», — кончалась запись 20 сентября. А она? Она была с ним ласкова и откровенна, вспоминала случаи из своего детства, говорила об искусстве и о боге — это были ее любимые темы. На прощание, благодаря всех собравшихся за сердечный прием, Иенни Линд с улыбкой протянула к Андерсену руку с бокалом шампанского: «Я хочу, чтоб здесь, в Копенгагене, у меня был брат. Хотите вы быть моим братом, Андерсен?»

Да, это было не совсем то, чего он хотел, но все-таки он с улыбкой кивнул головой: горло было слишком сжато, чтоб что-нибудь произнести!

Бокалы длинно зазвенели, «брат, брат!» — слышалось в их нежном звоне. Что ж, это лучше, чем чужой! И потом… потом он еще может объяснить ей все — не словами, этого он не посмеет, а в письме, которое она прочтет уже на пароходе…

Иенни Линд уехала, и город опустел. Хорошо еще, что повсюду толковали об очаровательном голосе юной певицы, о ее исполнении шведских народных песен, о серенаде, которую ей устроили копенгагенские студенты — неслыханная вещь! Никто из приезжих знаменитостей еще не удостаивался этого! Говорили также и о том, что аристократическая публика вначале пренебрегала пением Иенни Линд: какая-то безвестная стокгольмская девица! Лучше пойти в модную итальянскую оперу, там уже твердо знаешь, что надо хвалить. Разумеется, Андерсен принимал во всех этих разговорах живейшее участие. А вернувшись домой, он перебирал каждое слово, сказанное ему Иенни, старался понять и то, о чем не говорилось… Иногда ему удавалось явственно оживить в памяти звучание ее голоса, и тогда исчезало чувство одиночества. Вот она на концерте поет грустную народную песенку о любви, обманувшей бедную девушку… Вот она на оперной сцене, и ее юный свежий голос разливается по залу, просто и правдиво передавая чувства прекрасной Алисы, героини оперы…

Соловей, милый, чудесный соловей, как хочется писать только о тебе, только для тебя!

«Смеяться над людьми — это большой грех, — сказала она

ему однажды. — Я не люблю насмешников: они никого и ничего не уважают, некоторые посягают даже на господа бога!» — и ее выразительные глаза благоговейно устремились вверх. Да, она любила только трогательное, возвышенное и нравоучительное, смех внушал ей недоверие, и это ее тень витала над Андерсеном, когда он писал сентиментальную сказку «Ангел», совершенно лишенную юмора.

Мечтательная религиозность Иенни Линд, ее серьезность, ее нелюбовь к «светской суете» — все это очень напоминало взгляды Ингемана. И поэтому прежде всего с ним поделился Андерсен новым замыслом: написать о волшебном зеркале, которое для забавы сделал злой тролль, — оно все отражало в искаженном виде и осмеливалось передразнивать даже бога и ангелов, а когда разбилось, то его осколки разлетелись по свету и наделали немало бед. Попадет осколок в глаз — и человек начинает видеть только дурное и смешное, попадет в сердце — и оно превращается в лед…

Однако Андерсен сам слишком хорошо видел смешную сторону вещей, и даже влияние Иенни было тут бессильно: когда он начал писать о злом тролле, у него получились две странички не столько нравоучительные, сколько забавные. А потом тролль и вовсе исчезал со страниц сказки, его вытесняли другие картины, другие лица.

Разговоры с Иенни всколыхнули в памяти Андерсена множество воспоминаний детства: он рассказывал о них своей «названной сестре», а ее прозрачные серые глаза сочувственно смотрели на него — Иенни тоже выросла в нужде и с трудом пробила себе дорогу.

…Ящик-«сад» на чердаке, бабушкина картонная шляпа, размалеванная цветами, нагретая медная монета, приложенная к заледеневшему стеклу, ласточкино гнездо под крышей, белокурые косички и круглые глаза маленькой Лисбеты, затаив дыхание слушавшей рассказы Ханса Кристиана (тогда ее он звал своей сестричкой, — где-то она теперь?) — все эти драгоценные мелочи роились в его голове как снежинки. И постепенно из снежного тумана вырисовывались фигуры героев сказки: мальчик Кай, он был ужасно умный и знал все четыре действия арифметики, а кроме того, великолепно умел передразнивать людей… «Ну и голова у этого мальчугана!» — говорили о нем — точь-в-точь как когда-то о маленьком Хансе Кристиане. Кая держала за руку Герда — она была похожа на Лисбету, но только нежнее и бесстрашнее. А из крупных снежных хлопьев вырастала белая женщина необычайной красоты с холодными сияющими глазами. Это была «ледяная дева», которая когда-то забрала к себе отца

Ханса Кристиана, а теперь явилась за маленьким Каем, называвшим ее Снежной королевой. Ветры и вьюги были ее слугами, северное сияние освещало ее ледяной замок, она была могущественной феей, но маленькая босая девочка с чердака оказалась сильнее ее, потому что у нее было верное, любящее сердце. Заодно с Гердой были и ласточки, и вороны, и солнечные лучи, и олени. Принцесса и маленькая разбойница помогали ей в поисках Кая. И вот она смело прошла сквозь завесу метели в ледяной замок, поцеловала Кая и увела его к солнцу и розам, к любви и счастью.

Если бы Герде довелось встретиться с Элизой из «Диких лебедей», написанных Андерсеном пятью годами раньше, они бы, несомненно, подружились: Элизе тоже немало пришлось вытерпеть ради спасения своих братьев. И обе они были родными сестрами мужественных и любящих героинь народных сказок, которым тоже приходилось обойти полсвета, терпеть холод и голод, побеждать колдовские силы, чтобы выручить братьев или любимого из беды.

Но с Иенни все вышло иначе: она не спешила прийти на выручку «названному брату» и вырвать его из ледяного плена тоски и одиночества.

Конечно, она прекрасно поняла смысл письма, врученного ей Андерсеном при расставании, но ей нечего было ответить на него.

Через два года они увиделись снова: на этот раз в Копенгаген приехала уже не начинающая певица, а мировая знаменитость, окруженная восторженным поклонением. Впрочем, Иенни держалась по-прежнему просто и непринужденно. Они вместе бродили по улицам Копенгагена, оживленно беседуя обо всем на свете. Раз они зашли в кондитерскую и выпили по стакану молока с булочкой, а потом хозяин отказался брать у них деньги: нет, ни за что, он почитает за честь угостить таких выдающихся людей! Тогда Иенни спела ему несколько шведских песенок, и это была королевская расплата: люди не спали ночей и платили любые деньги, чтоб послушать пение «шведского соловья»…

О чем бы ни говорил Андерсен с Иенни, сквозь самые незначительные слова сквозило одно: люблю! Но произнести это вслух ему так и не удалось: Иенни умело отводила беседу в сторону от опасного места.

«Вы, наверно, ненавидите меня?» — полушутливо спросил он ее однажды, после того как забыл выполнить какое-то ее поручение. Задумчивый взгляд Иенни устремился прямо на него.

— Нет, — медленно отвечала она, — я не могу вас ненавидеть, ведь для этого надо сначала полюбить…

И все-таки он закрыл глаза на смысл этого ответа. Не любит?

Да… Пока не любит! Но в конце концов должна же его преданность тронуть ее сердце! Ведь у них столько общего, где еще она найдет человека, который так понимал бы ее душу, так восхищался бы и ее характером и ее талантом?

Зимой 1845 года, получив очередную копенгагенскую порцию насмешек и нападок, Андерсен помчался в Берлин — там Иенни, она поддержит его и утешит, не зря же она сама назвалась его сестрой! Но проникнуть к Иенни оказалось чуть ли не так же трудно, как в замок Снежной королевы. Едва удалось убедить упрямого привратника доложить о приходе гостя. «Фрейлейн Линд никого не принимает», — повторял тот в ответ на все красноречивые доводы Андерсена.

Наконец Иенни вышла к нему. Да, она так же прекрасна — или нет, еще лучше, чем была! И какой-то новый оттенок властности и уверенности в себе… Впервые он почувствовал холодок непреодолимого расстояния между ними. Они побеседовали с полчаса о Копенгагене, об общих знакомых, и вот уже Иенни с приветливой улыбкой поднимается с дивана — знак того, что аудиенция окончена.

Андерсен напрасно прождал обещанного ею билета в оперу и приглашения к ней в гости в сочельник. Город был полон свежим запахом хвои, в домах зажигались разноцветные огни, а он стоял один у окна унылого гостиничного номера, повторяя гейневские строчки:

…Но та, от которой всех больше
Душа и доныне больна,
Мне зла никогда не желала,
И меня не любила она.

Да, теперь он знал, что этому не суждено измениться.

Жара сводила с ума. Мостовые жгли подошвы, и даже стены домов казались раскаленными добела. Огонь был в воздухе и в вине, потоки огня вырывались из кратера Везувия. Даже привычные неаполитанцы соглашались, что солнце палит, пожалуй, чересчур. «Тени, хоть немножечко тени!» — тоскливо мечтал Андерсен.

Но тени домов были куцыми и прогретыми насквозь. Собственная тень, плетущаяся рядом, тоже явно изнемогала от жары. Дневные прогулки грозили солнечным ударом.

Придя в гостиницу, он валился на диван, приниматься за работу не было сил.

За окном бойко стучали молотки и весело переговаривались

уличные сапожники — их там сидело рядышком не меньше пятнадцати! Грохотали экипажи, дробно перезванивались колокола. Тишина и прохлада были недостижимой мечтой. А в Лейпциге издатель Лорк с укором смотрел на календарь: давно прошли сроки, назначенные Андерсеном для присылки рукописи.

Лорк взялся издать собрание сочинений Андерсена, которое должно было открываться биографией автора. Андерсен обещал, что напишет ее сам, и это будет еще одна сказка — так он ее и назовет «Сказка моей жизни».

Он приехал в Неаполь после целой вереницы триумфов и чествований в Германии. Короли и герцоги наперебой зазывали его в гости и умоляли прочесть «хоть одну сказочку»; в витринах магазинов красовались его портреты, незнакомые люди присылали ему восторженные письма, Шуман и Мендельсон стали его друзьями.

«Я здесь прямо-таки Иенни Линд в мужском роде», — шутливо писал Андерсен копенгагенским друзьям. Все это было очень подходяще для конца автобиографии. В соответствии с ним и вся книга писалась в светлых, примиряющих тонах, а слишком острые углы затушевывались, выравнивались по заданной линии сказки с благополучной развязкой. Но работа шла туго: мешали приступы тоски, когда вся эта слава «модного поэта» казалась пустой и никчемной, мешало и то, что под рукой не было никаких материалов для справок — все приходилось кое-как выуживать из памяти.

А теперь еще эта одуряющая жара. Солнце точно наказывало его за жалобы на прохладный и сырой климат Дании, где влюбленным следовало бы дарить друг другу не кольца, а зонтики. Только вечером на балконе можно было немного передохнуть. Огромная тень дремала у ног Андерсена, готовая встрепенуться при малейшем его движении.

«Я так исхудал, что, пожалуй, скоро и не разберешь, кто из нас тень, а кто человек!» — покачивал головой Андерсен, и тень качала головой в ответ.

«Что, хочешь поменяться местами?» Да, кажется, она была не прочь… Ну что ж, может быть, тень сумела бы устроиться в жизни лучше своего хозяина. Ведь многие люди, в сущности, не что иное, как скользкие, холодные тени, не имеющие ни сердца, ни совести. А посмотрите-ка, до чего им везет! Их гибкие длинные руки умеют цепко хватать золото, почести, ордена, их гибкий льстивый язык легко находит дорогу к сердцам важных особ и светских красавиц… Эти тени умеют изящно скользить по паркету, умеют иной раз поговорить и о поэзии — да еще как! — прямо будто побывали в ее царстве, хотя на самом-то деле им не

удавалось проникнуть дальше прихожей. Так они и живут, бесстыдно пользуясь чужими мыслями, набивая себе карман за чужой счет, хитро проникая в чужие секреты. И люди с уважением смотрят на них: ведь они одеты в модные костюмы, а на пальцах у них дорогие кольца с бриллиантами чистой воды…

Андерсен встал и, устало ссутулившись, шагнул к двери балкона. Тень метнулась позади, точно пытаясь оторваться и ускользнуть.

— Я тебя отпускаю, иди, — усмехнулся Андерсен. — Здесь, в жарком климате, так быстро все растет, — глядишь, и новая тень у меня вырастет! А когда ты войдешь в честь, приходи навестить своего старого хозяина.

Так рядом с солнечными страницами «Сказки моей жизни» росла грустная и горькая сказка «Тень».

Ласточки и аисты возвращались в Данию из-за моря, неся на крыльях весну, а их старый друг сказочник тем временем тоже готовился к большому заморскому путешествию. На этот раз он хотел посетить Англию: там уже были у него заочные друзья, полюбившие его романы и сказки.

— Собирайте там вволю лавры и улыбки и привозите их сюда, только не вздумайте заодно привести чопорную английскую мисс и представить нам как свою невесту! — шутил Эдвард Коллин.

— На этот счет вы можете быть спокойны, — вздохнул Андерсен, думая о Иенни Линд, с шумным успехом гастролировавшей в это время в Лондоне. На любви пришлось поставить крест, но остается все же радость встречи и задушевных разговоров на братских правах. Да и, помимо этого, путешествие сулит много нового и интересного. Увидеть своими глазами страну Шекспира и Вальтера Скотта, Лондон, слывущий «городом мира»… Датские либералы считают Англию образцовой страной. Как хорошо, если там действительно нет нищеты и страданий!

И вот он уже стоит на шумном лондонском перекрестке. Мимо несется густой поток кебов, карет, омнибусов, экипажей всех мастей, над головой туманное бледное небо, а воздух пропитан дымом фабричных труб. Пробираясь сквозь толпу, он жадно смотрел вокруг. Сколько бледных, изможденных лиц, какой страшный контраст между комфортабельной, уютной жизнью богатых кварталов и грязными, мрачными рабочими трущобами! Нищие то и дело попадались навстречу. Они шли молча — законом запрещено просить милостыню, — но взгляд, полный отчаяния и безнадежности, был яснее всяких слов. Вот худая как скелет женщина с двумя детьми. Вот человек с куском

картона на груди. «Я не ел два дня», — написано там. Маленький оборвыш усиленно скребет тротуар большой метлой: авось кто-нибудь из прохожих бросит ему на ходу мелкую монету… А вот и девочка с призрачным желтым личиком, продающая спички, — она будто сошла со страниц его собственной сказки, где он описал ее маленькую горькую жизнь.

Да, выходит, что «город мира» не может похвастаться отсутствием бедняков! А в гостиных знатных лордов и леди, с распростертыми объятьями встречавших модного писателя, ослепительный свет, водоворот шелка и кружев, золота и бриллиантов, веселое жужжание голосов. От ежедневных многочисленных визитов у Андерсена рябило в глазах, а в ушах стоял тонкий звон. Его осыпают комплиментами, его фотографируют, скульптор лепит его бюст, издатели предлагают ему крупные гонорары, сама королева Виктория хочет видеть его у себя…

Вместе со старым банкиром Гамбро Андерсен побывал в тихом загородном домике, где жила Иенни Линд. «Я вам говорила, что жить в атмосфере вечного праздника — это вовсе не такое удовольствие!» — сказала она, выслушав жалобы Андерсена на переутомление. Впрочем, знаменитая певица не так-то уж была далека от земной прозы, как иногда можно было подумать: Андерсен только диву давался, слушая, как она оживленно и деловито обсуждает с Гамбро вопросы о курсе акций, о выгодном помещении денег. Билеты в оперу и на концерты с участием Иенни Линд продавались по баснословным ценам, и одна из английских газет поместила рисунок, изображавший соловья с девичьим личиком, на которого сыплется дождь золотых монет.

Андерсену доставляло радость, что его имя часто упоминается рядом с именем Иенни Линд, что их портреты в витринах ставятся рядом. На улице и ее и его узнавали прохожие. Иенни даже опасалась выходить из своего домика, чтоб не собирать вокруг себя толпу. А когда Андерсен во время одной из поездок забыл в омнибусе свою трость, ее доставили ему на другой день: она переходила из рук в руки и добралась до него благодаря привязанной к ней лаконичной записочке «писателю Андерсену». Да, если б все это видели копенгагенцы, до сих пор считающие, что его «претензии на славу» чрезмерны до смешного!.. Нет, он не хотел зряшной, ложной славы, позолоченного воробья, выдающего себя за райскую птицу. Когда-то, может быть, он не вполне понимал эту разницу, но теперь другое дело. Его раздражают банальные комплименты, за которыми ясно сквозит, что «почитательница таланта мистера

Андерсена» никогда не прочла ни одной его строчки. Да и те, которые читали, часто говорят пошлости с понимающим видом, а он слушает и думает: «Завтра отшумит мода на мое имя, сменится другой — и все вы отхлынете к новому кумиру…» О чем-то похожем он думал и тогда, когда писал свою сказку «Ель». Но значит ли это, что поэт вообще не должен искать признания и понимания у читателей? С этим он не мог согласиться.

Два года назад он получил удар в спину от писателя Гауха, считавшегося в числе его друзей. В своем романе «Замок на Рейне» Гаух изобразил тщеславного безумца Эбингарда, мнящего себя гениальным писателем и кончающего жизнь в сумасшедшем доме. «Это Андерсен!» — радостно шептались знакомые и ждали ссоры, литературного скандала. Нет, он не доставил им такого удовольствия. В письме к Ингеману, соседу и приятелю Гауха, он честно признал, что видит в смешных и нелепых выходках Эбингарда преувеличенное, карикатурное, но не лишенное основания отражение своих слабостей. Трудно признавать такую вещь, но еще труднее лгать и клясться, что все это сплошная клевета. С тех пор он много передумал, многое узнал на опыте. И, право же, может утверждать, что это не просто тщеславие и мания величия — хотеть, чтобы твои книги были нужны людям, оставались у них в памяти надолго, может быть навсегда. Ведь он же пишет не для самого себя, а для других! Что же дурного, если ему хочется, чтоб его помнили и после смерти?

Во время путешествия по Шотландии он получил подтверждение, что его популярность в Англии не просто газетная шумиха, как думали многие в Копенгагене. Когда он с банкиром Гамбро посетил один старый замок и потом расписался в книге посетителей, привратник живо заинтересовался им. «Андерсен — это, наверно, вы?» — спросил он старого банкира. И, узнав о своей ошибке, удивленно воскликнул: «Как! Такой молодой? Я слыхал, что писатели становятся знаменитостями к старости, а то и после смерти». — «А вы читали книги мистера Андерсена?» — спросил Гамбро. «Ну как же! — ответил привратник. — Да и ребятишки во всей округе знают его сказки наизусть».

Вот это была та самая слава, какую ему хотелось иметь. Такой и гордиться не грех!

Гордился он и тем, что его книги нравятся Диккенсу. Автор «Оливера Твиста» и «Сверчка на печи» казался ему близким, любимым другом, каждое слово которого находит отклик в душе: и описание дуэта чайника со сверчком, и гневное обличение жестоких и лицемерных джентльменов из комитета благотворительности, и вера в силу доброго сердца, и умение

видеть «лица вещей». Оказывается, Диккенс читал его книги с тем же чувством. Правда, при встрече они не могли поговорить так, как им бы хотелось: Андерсен с трудом объяснялся по-английски. Но выразить обоюдную симпатию помогали жесты, взгляды, улыбки. Последним впечатлением Андерсена от Англии было дружеское лицо Диккенса, махавшего ему с пристани платком на прощанье. А в чемодане он увозил несколько томиков произведений английского романиста, полученных в подарок от автора. Там же лежала и рукопись новой сказки, посвященной одной из тем, волновавших обоих писателей: высокомерной кичливости и слепоте к окружающему, свойственных аристократии. Это была история вымирающего семейства улиток, гордых своим «высоким происхождением» и уверенных, что лопухи, в которых они живут, — это центр мира.

Вскоре после английского путешествия Андерсен написал маленькую сказку «Капля воды». Жил-был однажды старый волшебник Крибле-Крабле, рассказывалось в ней, и он очень хотел видеть в вещах их самую лучшую сторону, а когда это никак не получалось само собой, ему приходилось прибегнуть к колдовству. Вот однажды он навел увеличительное стекло на каплю воды из канавы. Ну и зрелище же открылось перед ним! Тысячи маленьких существ метались там, прыгали во все стороны, теснили и пожирали друг друга. «Фу, какая гадость! — огорчился добрый Крибле-Крабле. — Разве они не могут жить в мире и дружбе?» Но нет, это никак не получалось. Чтобы яснее все разглядеть, он капнул туда вина — и все крохотные создания стали розовыми, ну точно как толпа хищных голых человечков! Тут как раз в гости к Крибле-Крабле пришел другой волшебник. «Отгадай-ка, что это такое?» — спросил Крибле-Крабле, показывая на крошек, толкавших и разрывавших друг друга в клочья. «Ну, это легко отгадать! — уверенно сказал другой волшебник. — Это какой-нибудь большой город, все они похожи друг на друга!»

Добряк Крибле-Крабле, всегда старавшийся видеть лучшую сторону вещей, — это был, разумеется, Эрстед.

А как же звали другого волшебника? Ну, его имя легко было угадать, не труднее, чем этому волшебнику заметить печальное сходство жизни капиталистического города с грызней бактерий в капле воды.

1848 год. Звуки «Марсельезы» раздаются не только в Париже, но и в Вене, в Берлине, в Лондоне. «Король-буржуа» Луи-Филипп бежал в Англию под именем «господина Вильяма Смита», за ним

следовал его верный министр Гизо. А Карл Маркс, три года назад по требованию Гизо высланный из Франции, возвращался в Париж. Весть о парижских событиях была искрой, заставившей ярко вспыхнуть движение чартистов. «Да здравствует Франция!» — кричали толпы лондонцев. В Глазго безработные громили хлебные лавки с возгласами: «Хлеба или революции!» В Вене народ ворвался в императорский дворец с требованием отставки ненавистного Меттерниха и созыва национального собрания. На берлинских баррикадах борьба шла даже ночью, а когда король пошел на уступки, молчаливое шествие восставших двинулось к дворцу, неся трупы погибших в бою. «Шапку долой!» — закричала толпа, когда на балконе дворца показался король, и Фридрих-Вильгельм обнажил голову перед трупами людей, убитых по его приказу. Это был первый акт великой драмы. За ним следовал разгром чартистского движения, расстрел парижских рабочих, заявивших о своих правах. Пушки республиканского правительства оросили улицы кровью народа.

На собрании демократов в Кельне Маркс прочел телеграмму о венских расстрелах: австрийское национальное собрание тоже предало интересы народа. В Бадене и Пфальце армия преследовала последние группы повстанцев, в числе которых был Энгельс.

События 1848 года вскрыли непримиримость интересов буржуазии и народа в наиболее развитых странах, где на сцену истории уже выступил пролетариат. В Дании этого еще не произошло.

В королевском дворце в Копенгагене царило смятение: народ волнуется, либеральная печать в полный голос требует конституции, а король Кристиан VIII лежит при смерти.

«Что же это будет? Что же делать, если король умрет?» — растерянно спрашивал наследный принц Фредерик хмурых министров. Они молча переглядывались и вздыхали: да, кисельный характер у будущего правителя! Слабовольный, нерешительный… Впрочем, такого легко будет прибрать к рукам и действовать от его имени: усмирить народ неопределенными обещаниями, а потом попробовать договориться с расходившимися либералами. И, не теряя времени, министры принялись за составление первого послания нового короля к народу: там туманно говорилось, что Фредерик VII будет завершать проекты «своего возлюбленного отца» об упорядочении некоторых вопросов управления государством», сочетая «мягкость со справедливостью».

Либералы, группирующиеся вокруг газеты «Отечество», тоже

не дремали: новому королю немедленно была представлена петиция с требованием конституции. Толпы народа собирались на улицах, оживленно обсуждая политические вопросы. Депутации, несущие петиции Фредерику VII, встречались приветственными криками. В своей речи, обращенной к депутации муниципалитета, новый король уже прямо намекнул, что всегда советовал своему отцу дать конституцию. Газета «Отечество» цитировала только что вышедшую брошюру с либеральной программой. «Желательная уже в 1839 году, конституция стала необходимой», — писалось там. И эта конституция должна прежде всего решить запутанную национальную проблему так, как требует либеральная партия: герцогство Гольштейн может получить некоторую самостоятельность, а Шлезвиг с его смешанным датско-немецким населением должен стать просто датской провинцией. Исторически сложившиеся прочные связи между двумя герцогствами надо уничтожить. Граница между Шлезвигом и Гольштейном проходила по реке Эйдеру, и боевым кличем датских либералов было: «Дания до Эйдера!» Национальный вопрос играл такую большую роль в их программе, что партия получила название национал-либеральной. Из всех их рассуждений неизменно вытекало, что датский народ может получить конституцию только при условии лишения Шлезвига самостоятельности. Подкладка тут была простая: либералы были буржуазной партией, а датская буржуазия любой ценой хотела сохранить господство над такой экономически важной областью, как Шлезвиг. Кроме того, с помощью шлезвиг-гольштейнского вопроса либералы стремились увести народное движение от острых социальных проблем в русло «защиты национальных интересов». Не помещики, а немцы причина всех зол, внушали они народу.

Однако в герцогствах господствовали совсем другие настроения. Весть о том, что в Копенгагене «эйдер-датчане» берут верх, вызвала волну народного протеста и возмущения. Герцогства были против разъединения друг с другом и хотели получить отдельную конституцию. Для немецкого населения Шлезвига полное присоединение к Дании означало и потерю родного языка.

В Киле собрались депутаты обоих герцогств и выработали свою петицию Фредерику VII: они соглашались признавать его своим герцогом, но в остальном хотели быть независимыми. Группа делегатов повезла эту петицию з Копенгаген.

Там продолжались народные волнения, каждый день собирались толпы, возникали митинги. Из деревень прибывали крестьянские депутаты.

21 марта 1848 года представители политических партий, копенгагенской буржуазии и муниципалитета подали королю программу, составленную Орла Леманом, красноречивым адвокатом и кумиром копенгагенских дам: «Отдельная конституция для Шлезвиг-Гольштейна означала бы потерю Шлезвига для Дании, и об этом не может быть речи», — говорилось там. Для проведения в жизнь нового курса король должен избрать «правительство, пользующееся доверием народа» (практически тут имелись в виду вожди национал-либералов и умеренные консерваторы). На большом собрании в зале театра «Казино» Орла Леман сказал, что отказ короля принять эту программу заставил бы народ «взяться за оружие отчаяния», то есть пойти по стопам парижан.

Но это был чисто демагогический выпад. Рост народного движения и отречение короля (Фредерик VII был так напуган, что уже сам поговаривал об этом) никак не входили в расчеты либералов. Им нужна была умеренная конституция, которая передала бы управление страной в их руки, вот и все.

Король не замедлил ответить, что он на все согласен и уже считает себя конституционным монархом. С абсолютизмом было покончено!

Национал-либералы вошли в правительство, и лозунг «Дания до Эйдера!» стал официальным курсом. Фредерик VII ответил отказом на требования герцогств.

После этой неудачи с переговорами герцогства взялись за оружие. Сформировалась армия в семь тысяч человек. Принц Нор и герцог Аугустенборг возглавили образовавшееся в Киле правительство. Оно выпустило воззвание к народу, объясняющее, что «наш герцог (то есть датский король) более не свободен в своих поступках»; им командуют националлибералы, так что восстание не может рассматриваться как нарушение верности монарху.

Это разъяснение было адресовано той части народа, которая сохраняла уважение к королевской власти. Но национал-либералы использовали его как козырь в своей агитации против восставших герцогств. Датский народ был ослеплен словом «свобода», заманчиво сияющим в речах, стихах и памфлетах национал-либералов, и не замечал, что оно каким-то волшебным путем означает «порабощение», когда речь идет о Шлезвиге.

«Отечество в опасности! Все, без различия политических мнений, должны подняться на борьбу с мятежниками!» — призывали национал-либералы. Им удалось сыграть на патриотических чувствах датчан: в армию, спешно снаряжаемую новым военным министром Чернингом, хлынул поток

добровольцев. Конечно, среди них были и убежденные «эйдер-датчане», но добровольцы из народа просто не понимали, что идут убивать и умирать за интересы датской буржуазии.

9 апреля 1848 года армия герцогств с принцем Нором во главе встретилась с датскими войсками. Произошла кровавая битва, в результате которой повстанцы были смяты и отброшены далеко назад, а датская армия вышла к Эйдеру.

Тогда в дело вмешалась Пруссия, в свою очередь заинтересованная в захвате герцогств. По иронии судьбы на помощь восставшим пришла та самая армия, которая только что залила улицы Берлина кровью народа. Теперь черед отступать был за датчанами. Прусские войска заняли не только Шлезвиг, но и часть Ютландии.

Русский царь Николай I встал на сторону Дании: его возмутило, что прусский король поддержал восстание против законного монарха, когда Европа и так полна революционным брожением. После того как Пруссия заключила с Данией мир, датская армия в июле 1849 года разгромила армию герцогств и вернулась в Копенгаген. Война окончилась, но шлезвиг-гольштейнская проблема осталась неразрешенной.

«Поэт Андерсен думает только о себе, он не замечает того, что происходит вокруг», — говорили многие. Андерсена справедливо обижало такое мнение. Чрезмерная занятость собой — это была одна из болезней его юности, которую он преодолел. Она вызывалась прежде всего необходимостью бороться за себя каждый час, каждую минуту, чтоб не пойти ко дну. Иной раз некогда было оглянуться кругом. Но даже и тогда, конечно, он думал не только о самом себе. Если бы это было так, его талант давно бы перестал развиваться и сказки не могли бы возникать, ведь их источником была жизнь!

Всем существом он с необычайной быстротой откликался на малейшее впечатление и не умел быть равнодушным. Но далеко не на все, что его волновало, он находил ясный и четкий ответ. Противоречия обступали его с разных сторон. И в предвоенные годы он ощущал их с большой остротой.

В 1845 году, наблюдая растущий конфликт с Германией, он с болью писал Эрстеду: «Меня мучит, что прекрасные люди должны из-за обоюдного непонимания враждовать между собой». Поэт Хемниц подарил ему на память свою песню, призывавшую Шлезвиг и Гольштейн «теснее сплотиться», и он принял подарок, не видя в идее песни ничего дурного. Со своим немецким издателем Лорком он говорил о том, как хорошо было бы мирно решить все конфликты. У него было немало приятелей в Шлезвиге и Гольштейне (к их числу принадлежал и герцог

Аугустенборг). А в Копенгагене он встречался со своим старым товарищем по университету Орла Леманом, с которым они вместе когда-то «открывали» Гейне. Он стремился сохранить равновесие в отношениях, но это становилось все трудней.

В Германии он сидел как на иголках, когда разговор заходил о Шлезвиге: там возмущались датчанами и часто, по его мнению, преувеличенно.

В Копенгагене от него требовали, чтоб он кричал «Дания до Эйдера!» и поносил немцев, — этого он тоже не мог сделать: шовинизм был ему глубоко чужд. Германия была для него страной великих писателей и музыкантов, и это вовсе не мешало ему искренне и горячо любить Данию: родной народ, язык, природу. Но воинственные настроения национал-либералов были ему совсем не по душе.

Он вспоминал легенду о седобородом Хольгере Датчанине, который спит в подземелье замка Кронборг и поднимается тогда, когда его родине грозит серьезная опасность. В сказке «Хольгер Датчанин» он развивал свое понятие патриотизма: Дания может гордиться многими героями — это те, кто «любовно помогал людям словом и делом». Герб Дании — лев и сердце — это сила и милосердие, неразрывно слитые.

А сила — далеко не только сила меча. Можно сражаться пером и резцом, как Гольберг и Торвальдсен. «Да, Хольгер Датчанин может проявиться в разных образах и прославить Данию на весь мир».

Слава героям, пожертвовавшим жизнью, защищая Данию, а лучше всего, когда царит мир и взаимное понимание между людьми!

«Это все общие слова, — говорили ему, — а вот вы отвечайте прямо: кому должен принадлежать Шлезвиг, немцам или датчанам?

И тут Андерсен, конечно, становился в тупик: решить этот вопрос было не под силу не только поэту, но и многим искушенным политикам; к претензиям обеих сторон прибавлялись еще сложнейшие споры о престолонаследии в герцогствах.

Недаром впоследствии лорд Пальмерстон острил: «Во всей Европе было только три человека, разбиравшихся в шлезвиг-гольштейнском вопросе: принц Альберт, один старый датчанин и я. Но принц Альберт, к сожалению, умер, старый датчанин сидит теперь в сумасшедшем доме, а я совершенно забыл, в чем там дело».

Но Андерсену отказ от определенного ответа не прощался: окружающие то и дело корили его за «недостаток патриотизма».

Даже его юная приятельница Ионна Древсен, которой он недавно еще рассказывал сказки, говорила, что он недостаточно горячо относится к «датским интересам».

«Может быть, это следствие того, что я хочу быть справедливым ко всем, дорогая Ионна, — грустно отвечал он ей. — Разве это преступление?»

Слово «политика» прежде всего связывалось для него с запутанностью шлезвиг-гольштейнской проблемы, а «господа политики» — это национал-либералы, грызущиеся с консерваторами за «кусок пирога». Отсюда шли его жалобы, что «все теперь стало политикой», и уверения, что она «остается для него сплошным туманом». Он не сказал бы этого, если б защита равноправия наций и их мирного сотрудничества считалась тогда тоже определенной политической позицией.

Разразившаяся война была для него тяжелым испытанием. Конечно, он был всей душой против того, чтобы споры стран решались силой оружия. Но его поколебал вид возбужденных толп народа, рвущихся «защищать родину от опасности». И он вместе с ними поверил, что эта война справедливая, оборонительная. Все классы общества объединены патриотическим порывом, с этим нельзя не считаться, думал он, глядя, как добровольцы в солдатских мундирах гуляют под руку с дамами в изысканных туалетах. И он написал письмо в английскую газету о происходящих событиях: «Знатные люди и крестьяне, исполненные сознания правоты своего дела, идут добровольцами в армию», — говорилось там. Но в этом письме о войне прорывалась страстная мечта о мире: «Нациям — их права, всему доброму и полезному — процветание — это должно стать лозунгом Европы, с этим я смотрю с надеждой на будущее».

Он уехал из Копенгагена, охваченного военным угаром, в тихую усадьбу на острове Фюн, затем в Швецию, «подальше от грома пушек».

«Мне так хочется, чтоб война кончилась как можно скорее, чтоб я увидел людей свободными, стремящимися к единству и дружбе, — писал он Эдварду Коллину. — «У войны красивые цветы, но горькие плоды», — говорит пословица. Я теперь думаю, что у нее вовсе нет никаких цветов».

А в письмах к Иетте Вульф он называл войну «отвратительным чудовищем, которое питается человеческой кровью и горящими городами».

Газеты были полны сообщениями о военных действиях. Когда все интересовались подробностями битвы, Андерсен брал лист со списком убитых и раненых — сколько еще хороших людей погибло, сколько матерей и вдов осуждено на скорбь!

Тень войны лежала у него на сердце, омрачая даже светлые минуты. Нервы были слишком напряжены, радость оборачивалась чрезмерным волнением. Фабричные рабочие пришли к нему в городе Мотале, чтобы выразить свою любовь и уважение к датскому писателю; он благодарил их, пожимал руки, улыбался, а потом не спал всю ночь: мысли путались и лихорадочно перескакивали с одной темы на другую, сердце сжималось — не разберешь, от горя или от радости.

Орла Леман, Карл Плоуг и другие национал-либералы продолжали кричать, что Андерсен не настоящий датский поэт-патриот. Он ответил на это своим стихотворением «Дания, моя родина!». Месяц, встающий над буками и полями клевера, свежая зелень датских берегов, славные могилы предков, родной язык, звучащий сладкой музыкой, — как не любить все это? Когда-то Дания властвовала над Севером, теперь это маленькая, слабая страна, но силу ей дают звуки песен датских поэтов и мастерский удар резца ваятеля. У нее есть славное прошлое — она увидит и славное будущее!

Мелодичные, задушевные стихи эти скоро стали народной песней, и сто лет спустя, в тяжелые дни фашистской оккупации, она звучала в Дании, согревая сердца людей гордостью и надеждой.

Неясные, противоречивые чувства вызывала у Андерсена революционная буря, пронесшаяся по Европе. Жажда справедливости, мечта о свободе и счастье для всего народа сталкивались с боязнью слишком сильных потрясений. Законное недоверие к «господам политикам», буржуа и аристократам, перерастало подчас в недоверие ко всякой политической деятельности. Крики «Дания до Эйдера!», раздававшиеся на копенгагенских улицах в 1848 году, заглушали для него голоса протеста против социальной несправедливости.

Поэтому звуки «Марсельезы» в одно и то же время пугали и привлекали к себе поэта. В них он слышал голос бури, которая сносит на своем пути столько милого, привычного — и в то же время очищает мир от завалявшегося старого хлама. И даже если ты не решаешься выйти на улицу, присоединиться к грозному потоку, то как не почувствовать невольного трепета восхищения перед ним?

В 1850 году Андерсен написал небольшое стихотворение в прозе, лирическую фантазию «Птица Феникс». Здесь говорилось о всепроникающей силе и красоте поэзии, о ее глубочайшей связи с жизнью. Быстрая, как луч света, вечно юная, вечно свободная птица Феникс летает повсюду. Она сидит у постели ребенка,

которого убаюкивает мать, она наполняет запахом фиалок каморку бедняка, ее можно встретить и в ледяных пустынях Гренландии, и в угольных копях Англии, и на священных водах Ганга.

Это ее песни вдохновляли древних скальдов, это она сидела на плече Шекспира. Каждое столетие она возрождается из пламени… Что же поет птица Феникс сейчас? Поэт слышит ее голос в духовных псалмах, утешающих рабочего в его тяжелой доле.

Но птица Феникс летит дальше, и вот уже «она поет тебе Марсельезу, и ты целуешь перо, упавшее из ее крыла».

ГЛАВА IX
НА ВЕРШИНЕ

Оглядываясь назад на пороге нового десятилетия, Андерсен видел внизу крутой, тяжелый подъем. Слава за границей далась в руки легко, сказки в семимильных сапогах обходили мир и побывали уже за океаном: впервые Андерсен услышал об этом в 1847 году от знаменитого норвежского скрипача Оле Булля, вернувшегося из Америки. Но в Дании каждый шаг к всеобщему признанию делался точно по ступенькам, вырубленным одна за другой в гранитной скале. Теперь и это было позади.

Театр после успеха «Мулата» принес несколько тяжелых разочарований и провалов, но история с комедией «Первенец» прекрасно показала, что виною этому не всегда был сам автор. «Первенца» Андерсен послал в театр анонимно. Маленькая забавная вещичка понравилась даже строгому Гейбергу, а публика дружно аплодировала ей, и газеты рассыпались в похвалах, говоря о «новом сильном даровании», появившемся на датской сцене. Кто приписывал авторство Герцу, кто молодому писателю Гострупу. «Если бы пьесу написал Андерсен, он никак не удержался бы, чтоб не проговориться, особенно после такого успеха», — говорили кругом, и Андерсен, вздыхая, подтверждал: да, да, конечно, не удержался бы. Только Коллины да Эрстед знали его секрет, но они тоже молчали. Андерсен торжествовал: теперь ясно, что мнение критики и прислушивающейся к ней публики прежде всего зависит от имени автора.

А с конца сороковых годов на сцене театра «Казино», где

большая часть зрителей была из простого народа, с успехом шли пьесы-сказки Андерсена: «Дороже жемчуга и золота», «Оле-Лукойе», «Бузинная матушка».

Диккенс откликнулся теплым письмом на посвященный ему сборник новых сказок, на концертах пелись романсы Шумана на слова Андерсена, а в голове рождались уже новые замыслы, новые образы… Словом, лампа Аладдина светила во всю мочь, и свет ее был виден далеко за пределами Дании.

Обо всем этом Андерсен писал в новом, расширенном издании «Сказки моей жизни», предназначенном для датских читателей.

Легкой тенью проскальзывали по страницам автобиографии горечь неразделенной любви и нервная чувствительность к малейшему булавочному уколу. Но, как и в первом своем варианте, «Сказка моей жизни» обходила стороной многое, что не соответствовало представлению об Андерсене — «баловне счастья». Автор книги мог показаться куда более наивным и поверхностным, чем это было на самом деле.

Сказки сороковых и пятидесятых годов говорили совсем о другом: в них отражался человек, полный исканий и противоречий, жгучего сострадания к одним и растущего презрения к другим, страстно стремящийся найти ответ на сложные вопросы жизни.

С вершины успеха ему виделись совсем не только цветочные гирлянды празднеств в честь сказочника, слышались не только звонкие бубенчики похвал.

Достигнув славы и богатства, Андерсен продолжал смотреть на мир глазами обитателя нищих окраин, где люди сгорблены от непосильного труда, где в сырых подвалах чахнут дети, где праздником бывает миска горячего картофеля.

Его сила была силой этих людей, его слабость — их слабостью, его счастье зависело от их счастья.

Сказочные чудеса с самого начала жили у Андерсена в дружном соседстве с буднями и прекрасно помогали оттенить поэтическое, посмеяться над уродливым. При этом ведьмы, и эльфы, и тролли, и феи думали, чувствовали и действовали чисто по-человечески.

В разговорах домашних вещей с карикатурной четкостью выступали пороки их хозяев: безбожно врал, хвастал и волочился напропалую нищий щеголь-воротничок, спесиво выпрямлялась самовлюбленная штопальная игла, фарфоровый дедушка-китаец, плененный титулом и богатством, готов был упрятать внучку в темный шкаф к безобразному Козлоногу…

Пышные тюльпаны и толстые пионы презирали скромную ромашку, желтые лилии напоминали кислых, чопорных сплетниц и лицемерок, важный индюк издевался над аистом, а ученый попугай читал нравоучения певчей птичке, упрятанной в клетку: в мире птиц и цветов тоже легко было с помощью фантазии и юмора открыть сходство с людьми.

Сказочник вкладывал собственные мысли и чувства в стойкого оловянного солдатика с его немой любовью к бумажной балерине, в храброго фарфорового трубочиста, ведущего пастушку в широкий мир, в гадкого утенка и серенького соловья. Но случалось, что тема требовала в герои не птицу, не цветок, не игрушку, а человека. Это были чаще всего печальные истории с плохим концом, в них говорилось о нищете и одиночестве, о страданиях и о смерти.

Девочка в лохмотьях, продающая спички, замерзала в двух шагах от теплой печки, от елки, от жареного гуся, и ее не ждало в конце чудесное спасение.

Правда, при последней вспышке спичек девочке почудилось, что умершая бабушка уносит ее на небо, но ведь это было только видение умирающей, никак не уничтожавшее ужас этой смерти. В «Тени» сказочными героями были сама тень и глупая принцесса, уверенная в своей «зоркости». Им и доставался счастливый сказочный конец. А ученый, которому вначале принадлежала тень, жил в нищете, потому что он проповедовал любовь к истине, добру и красоте, и погиб в тюрьме жертвой коварства и жестокости.

В сказке «Мать» героиней была простая, бедная женщина, у которой смерть похищала единственного ребенка. Мать шла искать его сквозь ночную метель и ветер. Чтобы узнать дорогу, она отдала свои глаза озеру и согревала, прижав к груди, замерзший колючий терновник, так что он зазеленел и расцвел. Свои прекрасные черные волосы она обменяла на седые космы старухи привратницы, чтобы войти в волшебный сад смерти и спасти свое дитя.

Все эти сказочные испытания помогали раскрыть силу и величие самоотверженной материнской любви. И когда вконец измученная женщина все же склонила голову перед «божьей волей», в этом тоже была правда жизни: многие поколения бедняков страдала и роптали, но не могли перешагнуть через веру, что «богу виднее».

Воспоминание о собственной матери вдохновляло Андерсена, когда он писал эту сказку, полную скорби.

Чтобы подчеркнуть, что он не хочет ограничивать себя рамками сказки в обычном смысле этого слова, Андерсен с 1852

года стал называть свои сборники «Сказки и истории».

«В датском народном языке слово «история» может означать и самую фантастическую сказку и простой рассказ», — пояснял он.

Андерсен любил бродить по копенгагенским улицам. Он знал, как они выглядят в разные часы, в разное время года. Вот капризный апрель мешает улыбки со слезами, поливает улицы мимолетным дождичком и одевает людей то по-летнему, то по-зимнему. Вот сентябрь с кистью маляра, он дотрагивается до листьев, и они пестреют желтым, зеленым и красным. А вот унылый ноябрь, он плачет навзрыд, чихает, сморкается, и у домов и прохожих тоже хмурый, простуженный вид…

С городского вала видна морская даль и корабли, плывущие к шведскому берегу. А если пройти немного, увидишь два мрачных здания: тюрьму и богадельню. В темных камерах за решетками и в бедных комнатках, где доживают свой век нищие старухи, скрыто столько грустных историй! А на валу с громкими криками и смехом бегают босые ребятишки, — не приведет ли и их судьба когда-нибудь за эти толстые стены?

…Мимо прошли нарядная толстая дама с молодым человеком, похожим на сложенный зонтик. Дама держит губки бантиком и слушает, как ее спутник горячо рассуждает о добродетели и благочестии. Маленькая нищенка робко подходит к ним, но они слишком заняты разговорами, чтоб обратить на нее внимание.

Смеркается, ребятишки бегут домой, влюбленная парочка шепчется у ствола огромного дерева, где-то грохочут кареты, везущие «избранных счастливцев». Кто-то из них сегодня получил третий орден за уменье вовремя молчать со значительным видом, другой доволен итогами делового дня: его секретарь не имел ни минуты отдыха из-за потока бумаг, да и сам начальник утомился, подписывая их лихим росчерком… Вот вышла из дому на поиски добычи известная всему городу сплетница, похожая на сову: в ее устах самая невинная мелочь превращается в ужасающее происшествие. Молоденькая служанка с заплаканным лицом идет, ничего не видя кругом: может быть, ее выгнала сварливая хозяйка, а может быть, жених променял ее на вдову с небольшим капитальцем.

Эх, глупый парень! Да разве деньги когда-нибудь заменяли хорошему человеку настоящую любовь?

А у чердачного окна большого грязного дома стоит худенькая бледная девочка, с тоской глядя на стены и крыши вокруг. Она больна, ей нельзя выходить, а мать ушла на заработки и не

вернется до вечера…

Хорошо бы ей развести свой садик в ящике с землей, какой был когда-то у маленького Ханса Кристиана! И Андерсен медленно возвращается домой, неся в памяти несколько зернышек будущих сказок и историй обо всем, что он видел вокруг.

Раскрывая «Датский народный календарь» в 1852 году, читатели с радостью находили там имя Андерсена. Какая же будет новая сказка? Веселая или грустная? Но это была не сказка, а одна из тех историй, которые каждый мог встретить на своем веку: будничная и трагическая.

Бедная прачка стоит целый день по колено в холодной воде, колотит тяжелым вальком белье, полощет его, и течение рвет у нее из рук огромные надутые пузырями простыни. Она устала и замерзла, с утра во рту у нее не было ни крошки, а горы чужого белья еще ждут своей очереди. Худенький беловолосый мальчик приносит ей бутылку водки, и она подбадривает и согревает себя несколькими глотками. На сердце у нее тревожно и грустно: муж умер, сынишка мал, надо своими усилиями вывести его в люди, а сил становится все меньше… Когда-то она мечтала о большом счастье; молодой веселый студент из знатной семьи любил ее, и она любила его. Но госпожа советница не могла допустить, чтоб ее сын женился на простой служанке, — благоразумные люди так не поступают! И, поддавшись красноречивым уговорам, девушка вернула госпоже золотое колечко, полученное от ее сына.

Потянулись годы, и каждый приносил новую беду. И вот она, больная, измученная, плетется к реке в ветреный осенний день. «Прачка небось пьяна!» — ворчат знатные господа, провожая ее глазами. И когда она падает мертвая у самой воды, толстый, выхоленный бургомистр произносит свой приговор: спилась, дескать, ну и хорошо, что умерла, все равно была пропащая!

Кто мог представить себе все это ярче, живее, чем Андерсен, кому могли быть ближе горести бедной женщины? Ведь это была его мать, а он сам, худенький беловолосый мальчик, бежал к ней на речку, поеживаясь от осеннего ветра в своей старой курточке. И суровый голос пасторши: «Пропащая она, твоя мать!» — слышался ему сквозь все эти годы. Он вложил эти слова в уста важного бургомистра, хозяина города, — так еще резче выступала. пропасть между мирами бедняков и господ.

В рассказе не было никаких рассуждений автора, никаких его оценок — события сами говорили за себя, боль и негодование пронизывали простые, скупые фразы.

Давно уже затерялись на оденсейском кладбище для бедных

могилы прачки и ее неудачника-мужа, но ведь каждый день вырастают новые холмики над людьми с такими же судьбами — и в Оденсе и в других местах, повсюду… Когда же будет этому конец? Когда же восторжествует справедливость?

«Напишите сказку о чудесной флейте, которая все ставит по своим местам!» — посоветовал Андерсену однажды его приятель Тиле, поэт и фольклорист, собиравший датские народные поверья. Эта мысль понравилась сказочнику: в самом деле, интересная бы получилась картина! Как полетели бы вверх тормашками сытые спесивые богачи, как попадали бы в грязь, если б волшебная буря разместила всех не по знатности, не по богатству, а по человеческим достоинствам!

Андерсен всегда считал, что именно в моральных качествах человека ключ к решению всех проклятых вопросов. Сделать так, чтобы наверху оказались добрые, гуманные люди, а злые, жадные, жестокие полетели вниз, — и все будет хорошо… Беда только в том, что он не знал, как это сделать. Тут получалось как у волшебника Крибле-Крабле: чтобы наладить дело, необходимо прибегнуть к колдовству, ведь сами злые богачи ни за что не согласятся на такой обмен! Правда, совсем недавно в Европе бушевала очистительная буря. Но когда она кончилась, все снова оказалось на прежних местах. Почему это так, Андерсен не мог объяснить. Ему казалось, что корень зла во взаимной злобе, в ненависти, в льющейся крови. И на страницах сказки чудесная флейта должна была восстановить справедливость быстро и безболезненно, отдавая должное и графу и пастуху.

Учитель в богатой усадьбе вырезал эту флейту из ивовой ветки. А ива была не простая: она выросла из сломанной ветки, за которую когда-то цеплялась бедная маленькая пастушка, — знатный барон, проезжая мимо, толкнул ее в грязь. «Все на свое место!» — крикнул он. Барон этот вскоре пустил на ветер родовое добро, и в усадьбе замолкли дикие крики кутил и лай охотничьих собак, — новыми хозяевами были пастушка и ее муж, сумевший сколотить достаточно денег. Потомки пастушки сами стали баронами — ведь дворянский герб можно купить, если у тебя хватает золота! — и выбросили портреты прабабки и ее мужа из пышных зал заново отстроенной усадьбы: «Все на свое место! Это были простые люди, мы им не чета!»

И вот на празднике в усадьбе учитель по требованию знатных гостей, желавших над ним посмеяться, поднес к губам свою флейту. Раздался резкий, пронзительный звук, а затем поднялся вихрь: он каждого относил на подобающее ему место. Понятно, что раз дудка принадлежала учителю, то и вихрь действовал в соответствии с его мнениями. А учитель говорил то же, что и сам

автор сказки: дело, мол, не в знатности, а в душевных качествах. Не правы те поэты, которые объявляют все дворянское сословие никуда не годным, в нем есть прекрасные, благородные люди. Осадить же следовало бы только тех, которые зазнались и с презрением смотрят на «чернь».

Вот это самое и сделал вихрь: он подхватил папашу-барона и перенес его прямехонько в пастушью хижину, пастух же перелетел в усадьбу — не в залу, правда, — там ему не место, — но в лакейскую. В зале на почетном месте оказался сам учитель со своей дудкой, юная баронесса, скромная и добрая, и старый граф. Богатого же коммерсанта с его семьей и пару заважничавших крестьян, набивших себе карманы, вихрь побросал в грязь: «Все на свое место!» Тут флейта треснула и умолкла, и все вернулись на прежние места. Но придет еще время, когда все будет по справедливости. «Вечность длинна, длиннее, чем эта история!» — так кончалась сказка «Все на свое место!».

История усадьбы, описанная в ней, четко и наглядно показывала, что дворянство отживает свой век и уступает место новому «хозяину жизни» — буржуа с золотым мешком. Сказочник не становился на сторону ни тех, ни других — он был только за хороших людей и за справедливость. Но он не заметил, что весь ход сказки ставит под сомнение качество работы волшебного вихря. «Положим, все это так и произошло, — мог бы спросить Андерсена дотошный читатель, — учитель с молодой баронессой стали новыми хозяевами замка, а несколько жадных, надменных богачей остались барахтаться в грязи. Ну, а дальше-то что? Ведь пастушка и коробейник тоже были хорошими людьми, и это нисколько не помешало их детям и внукам стать высокомерными эгоистами и бездельниками. А у богача, попавшего в пастушью хижину, может вырасти добрый и хороший внук, за что же ему оставаться пастушонком?

Да и один и тот же человек вполне может измениться в течение своей жизни: попал в усадьбу справедливым, сострадательным, а там, глядишь, понемногу очерствел, зазнался, приохотился к роскоши… Выходит, что если б даже флейта не треснула, ей не под силу оказалось бы справиться с несправедливостью «домашними средствами», не трогая самого фундамента человеческих отношений». И Андерсену пришлось бы промолчать: он не знал ответа на эти вопросы.

С каждым годом датская буржуазия пускала корни вглубь и вширь: страна покрывалась железными дорогами, в городах дымили трубы новых фабрик и заводов, в деревне «крепкие» хозяева прибирали к рукам все больше земли и обрабатывали ее

машинами, а бедняки уходили в города, на фабрику; от берегов Дании отплывали торговые суда, бороздившие моря и океаны, а в Копенгагене возникали банки и акционерные общества.

Андерсен с болью в сердце смотрел, как приличные, образованные люди окружают вниманием и почетом какого-нибудь разжиревшего коммерсанта или промышленника. «Как же, нельзя иначе, ведь он так сказочно богат!» — оправдывались они. «Господин такой-то дал целых сто ригсдалеров на благотворительные учреждения», — восторженно шептали дамы. «Он и его супруга настоящие меценаты: они охотно кормят обедами голодных поэтов… Ах, такое богатство все же внушает уважение… Оно как золотой ореол вокруг головы…» А что, если стереть позолоту? — негодовал Андерсен. Тут-то и останется их истинная суть: свиная кожа. Хорошо, что хоть в сказке можно отвести душу и назвать свинью свиньей!

…В детской было много игрушек, но над ними всеми возвышалась свинья-копилка, она стояла на шкафу. Живот у нее был так туго набит монетами, что она уже и брякнуть ими не могла, а это и есть высшее, чего может достичь такая свинья.

Глядя на окружающее сверху вниз, она чувствовала удовольствие при мысли, что может купить все, чего только пожелает, и это у свиней называется иметь добрые чувства.

И вот лунной ночью игрушки затеяли играть в людей. Как же они это делали? Очень просто: каждый думал о самом себе да еще о том, что скажет свинья с деньгами.

Прежде всего послали пригласительный билет на вечер свинье-копилке: она слишком высоко стояла, чтоб ее можно было позвать запросто! Свинья ничего не ответила, но всем было ясно ее желание: надо позаботиться, чтоб она могла глядеть на все увеселения, не двигаясь с места.

Сначала игрушки развлекались содержательной светской беседой: лошадь-качалка рассуждала о чистоте породы, детская коляска — о железных дорогах, стенные часы — о политике (и всегда отставали!), а две пухленькие шелковые подушечки, разукрашенные вышивкой, премило молчали: они были такие глупенькие!

Затем началась кукольная комедия, восхитившая зрителей: куклы были на таких длинных нитках, что могли производить из ряда вон выходящее впечатление, к тому же они показывались публике со своей лучшей (раскрашенной) стороны. Даже свинье-копилке захотелось сделать что-нибудь великодушное: например, упомянуть в своем завещании лучшего из актеров — пусть его похоронят рядом с ней.

Разумеется, такая честь каждого должна осчастливить. Но —

вот беда! — свинья не успела заняться завещанием. Вдруг она упала и разбилась, и все скопленные ею монеты пошли гулять по белу свету. Но на другой день ее место заняла новая свинья, она так же важно молчала и так же набивала брюхо монетами — у всех этих свиней похожая история!

«Нас раздирают противоречия, мы видим несправедливость распределения жизненных благ, мы становимся свидетелями гибели талантов, триумфов злобы, глупости, порока…» — так говорит Эстер, героиня нового романа Андерсена «Быть или не быть?». В этих словах явственно звучал голос самого автора. Социальные противоречия мучили его своей неразрешимостью. Не видя выхода, он цеплялся за жившие в нем остатки наивной религиозной веры детских лет, веры, в которой его бабушка, его мать искали утешения в своей горькой судьбе. Прежде всего это была надежда на загробную жизнь. Как-то в конце сороковых годов, незадолго до смерти Эленшлегера, Андерсен завел с ним разговор.

— Столько хорошего вы получили на земле, — говорил старый драматург, посмеиваясь, — а вам еще подавай загробное блаженство! Не думаете ли вы, что претендовать на это слишком дерзко со стороны человека?

— Нет, я смотрю на это иначе, — грустно откликнулся Андерсен. — Ведь столько людей осуждены провести всю жизнь в беспросветной нужде и горе! Как же тут не верить, что хоть на небе их ждет что-то хорошее?

Нильс Брюде, герой романа «Быть или не быть?», проходил путь мучительных исканий: он отказался от религии, исповедуемой его отцом — пастором, религии мрачной, нетерпимой, фанатической. Героями Нильса стали Фауст и Эрстед. Чудес надо ждать не от прошлого, а от будущего, утверждал он, духи науки построят новый дворец Аладдина! И в этом он пытался найти доказательство божьего милосердия, приходя в конце романа к подновленному и смягченному варианту христианства.

К тому же пришел и сам Андерсен. Но с «научным обоснованием» религии дело шло туго, это напоминало попытку езды на двух лошадях, устремляющихся в разные стороны.

И в сказках, где на первое место выдвигалась религиозная идея, не оставалось места для прославления чудес науки. А эти чудеса великолепно существовали сами по себе, без божьего вмешательства. Кроме того, религия убийственно действовала на сказку, лишала ее живости и юмора, вела к слезливо-нравоучительным рассуждениям о добрых старушках,

попадающих в «божий рай» раньше важных господ, или к вымученным, натянутым аллегориям.

Там же, где речь шла о суровой правде жизни, идея «божьего милосердия» явно не вязалась с фактами, повисала в воздухе. Так было в истории «На дюнах». Сын богатых родителей, погибших при кораблекрушении, попал в семью нищего ютландского рыбака. Пока он бегал по берегу и по степи босоногим мальчишкой, у него было много радостей и забав. Но вот он вырос, стал корабельным юнгой, получал вдоволь брани и тычков, еще больше работы, а еды и сна самую малость, потом его несправедливо обвинили в убийстве и бросили в темницу без особых разбирательств: дело ведь шло всего лишь о бедном рыбаке! Так он и сидел в темноте, в сырости, в холоде, мечтая о свободе, пока случайно не нашелся настоящий убийца. Тут бедного Йоргена выпустили на волю. «Твое счастье, что ты невинен!» — вот была и вся награда за его страдания. То ли еще случалось переносить бедным людям! Совсем недавно господа отбирали у них без церемоний последний клочок земли, а какой-нибудь лакей, барский любимец, чинил над ним суд и расправу, приговаривая к плетям и штрафам за вину и без вины…

На короткое время улыбнулись Йоргену счастье и любовь, но сердитое северное море отняло у него возлюбленную, а он, пытаясь спасти ее, лишился рассудка. Все его богатые способности пошли прахом. «Только тяжелые дни, горе и разочарование были суждены ему», — с грустью писал Андерсен. И вдруг делал из этого совершенно неожиданные выводы, «Йорген твердо уповал на милость божию, а это упование никогда не бывает обмануто». Правда, вся история говорила об обратном… Но ведь в запасе оставалось еще вознаграждение на небесах! Туда и пришлось отправить бедного Йоргена под звуки призрачных хоралов.

«Ни одна жизнь не должна погибнуть напрасно!» — это восклицание в конце истории невольно для Андерсена оборачивалось горькой иронией. Да и сам он смутно чувствовал, что концы не сходятся с концами… И оживляющей струей была вновь и вновь возникавшая надежда, что в будущем люди сумеют все же разумно и справедливо устроить жизнь на земле. И тогда-то, среди грохота машин, свиста паровозов, среди приручённых разумом человека стихий, родится прекрасная Муза нового века. Не правы те, кто говорит, что люди будущего будут слишком занятыми, практичными, деловыми, чтоб нуждаться в поэзии! Все будет у этой Музы: любящее сердце, ясный разум, живая фантазия. Дитя народа, она получит от него в наследство здоровые мысли и чувства, серьезные глаза, веселую улыбку. Она

сумеет соединить в себе все лучшее, что дали ее предки: поэзию народных песен, задорную иронию Гейне, величие Шекспира и Бетховена. Пока что она еще в детской, эта Муза будущего, но ее стол уже завален книгами, у стен стоят прекрасные статуи, она хочет быть простой, ясной, глубокой, а на голове у нее гарибальдийская шапочка, потому что она любит свободу. Из какой страны зазвучит ее голос впервые? Из Америки — этой «страны свободы, где коренные жители стали гонимой дичью, а африканцы превращены в рабочий скот?» Или из Египта, загадочной страны сфинкса и пирамид? А может быть, из Англии, из Дании, из Австралии… Да мало ли еще откуда! Но приход ее неотвратим, как смена зимы весной, и поэт радуется ему. Привет тебе, Муза нового века!

1864 год был тяжелым годом для датского народа. Национал-либералы давно уже перестали изображать из себя «защитников свободы», в дружном союзе с консерваторами они старались ущемить права ригсдага и продолжали шовинистическую политику по отношению к Шлезвигу и Гольштейну. Этим воспользовался «железный канцлер» Бисмарк, давно собиравшийся «округлить» границы Пруссии за счет датских владений. Прусские войска двинулись на Данию, и датская армия отступала все дальше под их натиском.

В результате войны Пруссия захватила оба герцогства, и их надежды на самостоятельность потерпели крушение. Положение прусских провинций не принесло им никаких преимуществ, напротив, конституция Пруссии была еще ограниченнее датской.

Целый год Андерсен ничего не писал: на сердце у него было слишком тяжело. В воображении вставали мрачные картины горящих домов, вокруг которых с криком кружились аисты, полей, вытоптанных тяжелыми сапогами неприятеля, женщин в трауре с омертвевшими бледными лицами…

Но вот, наконец, в стране снова был мир, снова спокойно зеленели весенние поля и смеялись дети. Теперь, может быть, и новые сказки начнут стучаться в дверь? Нет, все тихо, видно, они забыли к нему дорогу… Временами он чувствовал себя старым и бесконечно усталым. Даже верное, испытанное средство — путешествия — не всегда помогало теперь стряхнуть это чувство. За последние годы смерть унесла многих дорогих ему людей: тихую Генриэтту Ханк и Иетту Вульф, Эрстеда и старого Коллина. Неужели и его жизнь близится к закату? Как не хотелось в это верить!

Славы было хоть отбавляй: ордена и чествования, почетные звания, хвалебные статьи, новые и новые издания его книжек

дома и за границей. Когда он путешествовал по Испании и Португалии, его спутник Йонас, сын Эдварда Коллина, даже жаловался на утомительность всевозможных знаков внимания, которые дождем сыпались на «короля сказки». Да и сам Андерсен уже не так радовался им, как прежде.

«Вам я могу в этом сознаться, — писал он в 1865 году Эдварду Коллину, — я совсем не чувствую себя счастливым. Это неблагодарность с моей стороны, но я все больше и больше убеждаюсь в суетности, в ничтожности славы, знаменитости…» Ах, если бы можно было снова стать босоногим мальчишкой, собиравшимся завоевывать мир! «Неужто нам с тобой остались только воспоминания?» — обращался он к оловянному солдатику, полученному двадцать лет назад в подарок от маленького Эрика, сына немецкого поэта Мозена.

«Это чтоб Андерсен не чувствовал себя таким ужасно одиноким», — сказал тогда мальчик. И оловянный солдатик честно выполнял свой долг, сочувственно тараща глаза на хозяина, бравшего его в руки в минуты грусти.

А какой-то студент прислал Андерсену засохший четырехлистник клевера, который, по народному поверью, приносит счастье: он нашел эту былинку еще в детстве, объяснял молодой человек в письме, когда услышал от матери, что Андерсену пришлось испытать много горя. Но мать не решилась отослать этот подарок, а вложила его в книгу. Пусть же он хоть теперь отправится по назначению!

Да, все-таки легче жить, когда у тебя много друзей повсюду — и знаменитых и безвестных… И далеко не все позади, сказки придут, непременно придут и постучатся в дверь, и что-то хорошее, интересное должно еще с ним случиться, и мир станет со временем лучше, а люди добрее. Многих старых друзей нет на свете, но подросли их дети и внуки, а он еще не так стар, чтоб не находить удовольствия в обществе молодежи. Нежная дружба связывала его с темноглазой Ионной, дочерью Ингеборг Древсен, на товарищескую ногу были поставлены отношения с Йонасом Коллиным-младшим. Да и, кроме них, у него было немало молодых друзей, сопровождавших его в путешествиях, с интересом слушавших его воспоминания.

Словом, жизнь все-таки прекрасная вещь!

По-настоящему плохо, пожалуй, только то, что здоровье временами сильно сдает. Невзгоды, волнения, напряженная лихорадочная работа расшатали его нервную систему. Зубная боль доставляла ему страшные мучения. Живое воображение, бывшее прежде таким верным слугой, вдруг срывалось с цепи и выкидывало всякие фокусы: когда он плыл на корабле, ему вдруг

с удивительной ясностью представлялась картина кораблекрушения; когда он засыпал, его охватывал страх перед летаргией, а во сне преследовали кошмары из прошлого. Грозное лицо Мейслинга снилось ему до самой смерти!

Но снова и снова невероятным усилием воли он стряхивал с себя уныние, болезненную раздражительность, тяжелые воспоминания, шел в театр и в гости, живо интересовался всем, весело и остроумно шутил, и только самые близкие друзья знали, с какими мрачными тенями борется подчас «счастливый сказочник».

Когда Андерсен проходил по улицам Копенгагена, некоторые прохожие почтительно здоровались с ним, другие смотрели вслед: многие из них выросли на его сказках, знали о его трудном пути, гордились его всемирной славой.

С годами сгладились недостатки внешности поэта, когда-то навлекавшие на него насмешки салонных остряков.

«Это был высокий, статный человек, с лицом, которое делал прекрасным отпечаток напряженной духовной жизни, — вспоминал о нем впоследствии один датский писатель, в шестидесятые годы бывший еще молодым студентом. — Он держался с большим достоинством, но был в то же время безгранично внимателен и дружелюбен по отношению к любому человеку, хотя бы то был совершенно неизвестный ему начинающий литератор». Андерсен слишком хорошо помнил, как это больно и тяжело, если на тебя смотрят сверху вниз, да и, помимо этого, всякое высокомерие, так же как и подобострастие, были глубоко чужды его натуре.

В Копенгагене с 1859 года возникло «Рабочее общество», ставившее культурно-просветительные цели, и Андерсен был первым из датских писателей, предложивших обществу свои услуги. В зале, битком набитом рабочими и ремесленниками, собравшимися послушать знаменитого писателя, который вышел из их среды, звучал его ясный, гибкий, глубокий голос. Он очень волновался перед этими выступлениями и всей душой радовался их успеху. Читал он удивительно просто, без всякой «театральности», но с бесконечным богатством оттенков, донося до слушателей каждое слово, и всем знакомые сказки каждый раз казались новыми и свежими.

…Его немножко обижало, когда ему говорили, что последние сказки не так значительны, как прежние. Но ничего не поделаешь, приходилось примириться с тем, что в общем восприятии он прежде всего автор «Нового платья короля», «Русалочки», «Соловья», «Гадкого утенка», «Тени», «Матери», «Пропащей», а не «Старого колокола» или «Сына привратника»…

Ветряная мельница, старый чайник, серебряная монетка и мотылек не отказывались рассказать ему свои истории, в которых было кое-что интересное и забавное. Но этим историям недоставало большого обобщения, в них не было сатирической остроты или глубокого, захватывающего волнения. Иногда в них повторялись мотивы более ранних сказок: «Блуждающие огоньки в городе» перекликались с «Тенью», «На утином дворе» — с «Гадким утенком». Буря, ставящая все по местам, снова разыгралась в сказке. «Ветер перемещает вывески», но ее «ручной» характер был виден еще яснее, чем раньше, хотя сказочнику она казалась значительной. «Вряд ли такая буря повторится при нас, разве что при наших внуках», — заканчивал он сказку и давал внукам «благой совет» сидеть дома, пока бушует вихрь.

Это было написано за шесть лет до Парижской коммуны! Да, в старости трудно понять то, что и в молодости было неясным… Новая расстановка борющихся сил была за пределами зрения Андерсена, для растущего рабочего движения на его палитре не нашлось красок.

Но с теми, кто «паровозы оставлял и шел на баррикады», у его сказок были общие враги, и маленькие крылатые истории перелетели за ту границу, которую время начертило их автору.

В начале декабря 1867 года город Оденсе выглядел ликующим, праздничным и принаряженным.

Толпы народу на улицах, песни и приветственные возгласы, факельное шествие, иллюминация, фейерверк… Все это на первый взгляд напоминало праздники, устраивавшиеся в честь королевских особ, но эти торжества бывали официальными, они не вызывали такого общего оживления, такой радости и гордости на лицах. Еще бы! Ведь на этот раз оденсейцы чествовали не короля, не губернатора, а своего земляка Андерсена, которого старики еще помнили мальчишкой в заплатанной курточке.

Гадалка предсказала этому мальчику, что когда нибудь родной город будет иллюминирован в его честь. Что ж, мудрая старуха на этот раз не ошиблась; оденсейцы, знавшие это пророчество из «Сказки моей жизни», выполнили его.

Андерсен стоял у окна ярко освещенного зала ратуши и смотрел на взволнованную толпу внизу. Бургомистр и другие важные господа окружали его, на столе лежали груды приветственных телеграмм, а в толпе народа были его старые товарищи школьных лет и их дети и внуки, теперешние школьники.

В богадельне он нашел сгорбленную старушку с огрубевшими руками, изуродованными ревматизмом, — это была Анна-

Лисбета, которую он помнил милой смешной девочкой с тугими белыми косичками. «Это моя приемная сестра!» — сказал он директору богадельни, наблюдавшему их встречу.

Андерсен много раз бывал в Оденсе за эти годы, особенно пока живы были Генриэтта Ханк и ее мать, но, кажется, никогда еще вид знакомых узких уличек, старого домика, где прошло его детство, высоких стен старого собора не вызывали стольких воспоминаний. В них мелькнула и тень упрямицы Карен, которую он не хотел называть сестрой. Двадцать пять лет назад она пришла к нему в Копенгагене, он дал ей немного денег, поговорил с ней, пытаясь подавить непреодолимую, застрявшую в сердце с детства неприязнь. Больше он ее не видел. «Сегодня я мог бы встретиться с ней по-дружески», — подумал он, не зная о том, что своенравная Карен давно лежит в безыменной могиле на копенгагенском кладбище для бедных.

Волнение и усталость вызвали мучительную вспышку зубной боли. Она терзала Андерсена, когда детский хор пел посвященную ему песню, когда произносились приветственные речи и поздравления, когда ему торжественно вручался диплом почетного гражданина Оденсе. Зубная боль рисовалась ему в виде отвратительной тощей старухи, которая злорадно приговаривала: «Великому поэту — великая зубная боль! Ничего не дается даром. За все надо расплачиваться!» «Ну, погоди, я напишу о тебе сказку!» — мысленно обещал он ей. И вдруг она исчезла так же неожиданно, как появилась. Андерсен вздохнул свободно: теперь ничего не мешало ему насладиться своим праздником. Эх, если б еще не седые волосы да не морщины…

В начале семидесятых годов он совершил свои последние путешествия — в Париж, в Норвегию, в Швецию. Слабость, кашель, опухшие ноги мешали снова отправиться в путь, но он надеялся, что все это пройдет, и строил новые планы.

— Погоди, я немного окрепну, и тогда мы с тобой опять поедем куда-нибудь! — говорил он Йонасу Коллину-младшему. Йонас не спорил, чтобы не огорчать старика, но про себя думал, что вряд ли эти поездки смогут состояться.

Написаны были и последние сказки: «Что рассказывала старая Иоганна», «Тетушка Зубная боль», «Профессор и блоха». Гостя в старинных усадьбах, Андерсен напрасно бродил по липовым аллеям, по берегам озер, по цветущим полянкам в поисках новой сказки. Вот чудесная цветущая яблонька, а под ней скромный одуванчик, но он уже писал, что каждый из них по-своему прекрасен, что «существует разница между растениями, как и между людьми: одни служат для пользы, другие для

красоты, а без третьих и вовсе можно было бы обойтись».

Белый дымок вьется над болотистым лугом — это там старуха болотница из народных поверий рассказала ему о коварных, бессовестных блуждающих огоньках, которые прикидываются людьми — кто пастором, кто государственным деятелем, а кто писателем — и сеют зло, раздор, ложь…

На широком кусте кувшинки давным-давно странствовала крохотная Томмелиза, а улитка, важно ползущая по стеблю розы, уже объяснила, что ей плевать на весь мир, она признает только свою раковину… Ветер, шевелящий листья старого дуба, рассказал когда-то сказочнику о надменном, расточительном Вальдемаре До, знатный род которого пришел в упадок и вымер. А новых историй не слышно в его шуме…

Нет, новой сказки нигде уже не сыскать, и это очень грустно. Но зато старые кивают и улыбаются со всех сторон — ох, как же их много! — надо утешаться этим. Кое-кто из молодежи поговаривает, что сказки отжили свой век, что писателю нужно только бесстрастно и точно описывать факты — все подряд, ничего не выбирая! — а от вымысла отказаться. Это, мол, будет строго научный подход. Неправда, сказка никогда не умрет!

2 апреля 1875 года Андерсену сообщили, что закончена подписка на сооружение ему памятника, и принесли составленный скульптором проект. Там изображался сказочник, со всех сторон облепленный ребятишками. Андерсен забраковал проект.

— Мои сказки адресованы столько же взрослым, сколько и детям! — волновался он. — И потом, когда я читал их вслух, я ни за что бы не потерпел, чтоб дети висели у меня на плечах. Зачем же изображать то, чего не было?

И проект был переделан по его желанию.

Чествование в день семидесятилетия было последним прижизненным триумфом Андерсена. Летняя духота и пыль заставили его переехать из Копенгагена на виллу «Отдых», принадлежавшую семейству его друзей.

Но ни свежий воздух, ни чудесный вид на пролив, ни заботы гостеприимной хозяйки не могли уже поправить дела: Андерсен совсем расхворался.

— Ничего, это ненадолго! — говорил он и еще в конце июля продиктовал ухаживавшей за ним приятельнице письмо к Йонасу Коллину — снова о планах путешествия. А вечером 3 августа у него начался жар, он беспокойно метался, и обрывки каких-то картин проносились перед ним… Тонкий рог месяца — он видел его когда-то… Ах, да, это было в Константинополе… И потом, в придунайских степях, скрипучие плетеные телеги, запряженные

белыми волами… Все заволакивается туманом, смутно мелькает желчное лицо Мейслинга… Он жалуется старому Коллину на своего нерадивого ученика, надо остановить его, сказать, что это неправда… Но голос не слушается, да и Мейслинг уже исчез куда-то… Теперь слышится скрипка — громче, яснее вырисовывается фигура Оле Булля со смычком в руке, скрипка жалуется, негодует, со струн соскакивают крохотные голубые огоньки, их все больше, больше… И снова темно, а музыка звучит еле слышно, это уже не скрипка, это мать мурлычет ему сквозь сон старую колыбельную… И становится легко и спокойно, можно хорошенько вытянуться и спать, спать… В одиннадцать часов утра хозяйка виллы, дежурившая всю ночь у постели больного, ненадолго вышла из комнаты: Андерсен спал глубоким тихим сном. Незаметно его дыхание становилось слабее, слабее, а потом совсем затихло. Свежий ветер залетел в комнату, полный вестей о море и кораблях, дотронулся до неподвижного лица и умчался своей дорогой: здесь некому больше слушать его истории.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

За два месяца до смерти Андерсен прочел в одной из английских газет, что его сказки принадлежат к числу наиболее читаемых во всем мире книг.

Шли годы, и слава сказочника выдерживала проверку временем. Больше ста лет прошло с тех пор, как появились первые сборники сказок. И по-прежнему имя Андерсена — одно из первых в перечне самых популярных писателей.

В Королевском саду в Копенгагене стоит памятник. Вокруг него раздаются крики и смех играющих детей, шелестят высокие деревья (самые старые из них, наверно, могли бы рассказать внимательному слушателю историю о голодном и оборванном мальчике, бродившем когда-то по этим аллеям), и по худощавому лицу бронзового Андерсена пробегают легкие тени. Он сидит с книгой в руках, окруженный сменяющимися поколениями своих верных читателей, которые не забывают приносить цветы и зелень к подножию памятника.

Если же пройти по оживленным копенгагенским улицам на берег пролива, то там можно увидеть фигуру маленькой русалочки, сидящей на большом камне, с глазами, устремленными в морскую даль.

Датские школьники, раскрывая свои хрестоматии, находят там сказки и стихи Андерсена и историю его жизни. Но и для миллионов читателей во всех уголках земного шара, никогда не видевших памятника, музея и статуи русалочки на берегу, не изучавших в школе сказок Андерсена, автор «Дюймовочки», «Гадкого утенка», «Огнива» и «Снежной королевы» быстро становится близким и любимым другом. Эти читатели ничего не знают о трудном пути, пройденном мальчиком из Оденсе, о его характере, о его привычках и вкусах, и все-таки они знают о нем очень много, знают главное, потому что в сказках Андерсена всегда звучит его живой голос, по интонациям которого мы безошибочно угадываем, смеется сказочник или грустит, лукаво щурит глаза или негодует.

Итак, главные черты облика сказочника выступают перед нами, когда мы читаем его произведения: ведь человека судят по его делам, а что же с большим правом может называться делами Андерсена, если не его сказки?

Но знакомство с жизнью писателя и его эпохой позволяет нам понять, как сложился этот своеобразный талант. Если бы Ханс Кристиан вырос не на нищей городской окраине, а в графском замке или купеческом особняке, он бы уберегся от многих

жестоких уроков жизни. Но нет ни малейших сомнений, что тогда мы бы не прочли его сказок. Если бы, вместо того чтобы слушать песни и сказки старух из богадельни, он с детства засел бы за латинскую грамматику, то Мейслинг, бесспорно, не имел бы оснований сетовать на своего питомца, но Андерсен в лучшем случае стал бы дельным филологом, а не знаменитым сказочником.

Широкое же знакомство с книжной литературой обогатило его эстетику, развило его вкус. Впечатления от книг, слившись с народным восприятием жизни, присущим Андерсену, с образами фольклора, жившими в его фантазии с детства, и дали тот «чудесный сплав», из которого состоят его сказки.

Исследователи давно подсчитали, что лишь немногие сказки Андерсена основываются непосредственно на фольклорных сюжетах. Но дело не в прямом использовании или обработке народной сказки. За долгие лета своего существования сказка выработала определенные понятия о красоте и добре, их неразрывной связи между собой, о враждебных народу силах и конечном торжестве справедливости, о трудных испытаниях, неизбежно предшествующих счастливой развязке. И вот этот определенный взгляд на мир, отражающий опыт многих поколений создавшего сказку народа, лежит в основе сказок Андерсена.

Меткость насмешки, бьющей по врагам, и лукавый юмор, составляющие значительную часть андерсеновского обаяния, тоже развились на основе «фольклорной школы», пройденной поэтом. Андерсен отнесся к народному творчеству не как ученый-собиратель, чувствующий себя не вправе переставить слово, чтобы не совершить «насилия над текстом», а как законный наследник поэтических сокровищ фольклора: он внес в сказку немало новых черт.

Описания природы, множество конкретных бытовых деталей, лиризм повествования, перенесение действия из прошлого в современность — все это, как правило, несвойственно народной сказке. Но связь Андерсена с народным творчеством и не сводится только к сказке: его вдохновляли и баллады, и лирические песни, и древние саги, и местные легенды.

Народу обязан Андерсен своей силой. Но и слабости патриархальных датских крестьян и ремесленников: вера в божье милосердие и в доброго короля, нечеткость в оценке классовых отношений, неясность путей к освобождению — не могли не отразиться в его творчестве. Эти противоречия исторически обусловлены и непосредственно связаны с судьбами маленькой Дании, где капитализм во времена Андерсена только начинал

свое развитие. Но глубоко неверно было бы слабости, присущие Андерсену и породившие ряд неудачных сказок, объявлять ведущими чертами его творчества. Одной сказки «Новое платье короля» достаточно, чтобы Андерсен мог претендовать на звание мастера острой социальной сатиры.

Лев Толстой, очень любивший Андерсена, на протяжении ряда лет обращался к этой сказке. Обобщающий характер сказки позволил использовать ее для обличительной характеристики различных общественных ситуаций. В 1904 году Толстой воспользовался образом «голого короля» для критики ложного блеска, которым маскируются «сильные мира сего». В 1909 году, выступая против подготовки империалистической войны, он призывает всех «сказать то, что все знают, но только не решаются высказать, сказать, что как бы ни называли люди убийство, убийство всегда есть убийство, преступное, позорное дело». При этом он снова напоминает о сказке Андерсена: ребенок сказал, что царь — голый, и внушение исчезло, люди перестали себя обманывать. А в 1910 году Толстой записывает в своем дневнике: «Революция сделала в нашем русском народе то, что он вдруг увидал несправедливость своего положения. Это — сказка о царе в новом платье».

Коротенькие истории Андерсена имеют многозначный смысл, который всегда несет демократический заряд. Народность — это и есть та живая вода, которая не дает стареть сказкам Андерсена.

«Нет сказок лучше тех, которые создает сама жизнь», — недаром эти слова так полюбились Горькому (который, как и Толстой, высоко ценил Андерсена), что он взял их эпиграфом к своим поэтическим и жизнеутверждающим «Сказкам об Италии».

Андерсен без устали призывает своих читателей оглянуться хорошенько вокруг себя и понять, сколько яркого и интересного можно найти в самых будничных предметах и явлениях. Надо только уметь взглянуть как следует.

…Жил однажды молодой человек, которому ужасно хотелось стать поэтом, рассказывает Андерсен, но почему-то у него это никак не получалось. «Ах, как непоэтично наше время! — вздыхал юноша. — Вот если б я жил в средние века, тут-то бы у меня дело пошло на лад…» Наконец он обратился за советом к старушке, жившей в крохотном домике у городских ворот. Мудрости у нее было побольше, чем у важных господ, разъезжающих в каретах, она сразу поняла, в чем беда молодого человека, и одолжила ему свои очки и слуховую трубку. Сразу ожило все вокруг него, мир наполнился новыми красками и звуками, в каждой картофелине, в кусте терновника и пчелином улье открылось что-то интересное, а уж если взглянуть на проходящих людей, так

просто в ушах начинало звенеть от разных историй, и каждая была лучше другой. Так молодой человек чуть было не стал поэтом, только одно помешало: когда старушка взяла у него свои очки и трубку, он опять не мог услышать и увидеть ничего достойного внимания…

«Волшебные очки» — это творческая фантазия, она помогает сказкам расти из жизни. «Реальные представления чрезвычайно поэтически принимают в них фантастический характер, — говорит Добролюбов о сказках Андерсена, — не пугая, однако, детского воображения разными буками и всякими темными силами».

«Темные силы», враждебные человеку, Андерсен рисует смешными, уродливыми, вызывающими презрение, они не могут устрашить, потому что писатель-гуманист твердо верит в неизбежность их поражения.

По решению Всемирного Совета Мира в 1955 году отмечалась стопятидесятилетняя годовщина со дня рождения Андерсена. В голосах советских читателей и писателей, откликнувшихся на эту памятную дату, звучали горячая любовь и глубокое понимание творчества сказочника. «Можно сказать с полной уверенностью, что в своих волшебных сказках Андерсен рассказал больше и правдивее о реальном мире, чем многие романисты, претендующие на звание бытописателей», — писал Самуил Маршак. И эту оценку разделяют миллионы советских людей. Новые и новые издания сказок Андерсена появляются у нас и раскупаются нарасхват. Неизменным успехом у зрителей пользуются талантливые инсценировки Е. Шварца «Тень» и «Снежная королева». С большим интересом встретили читатели романтическую новеллу, навеянную некоторыми эпизодами из жизни Андерсена, в «Золотой розе» К. Паустовского.

«Сказка никогда не умирает!» — и вместе с ней живет память о поэте-сказочнике Хансе Кристиане Андерсене.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА АНДЕРСЕНА

2 апреля 1805 года в городе Оденсе на острове Фюн у сапожника Ханса Андерсена и его жены Анны Марии родился сын Ханс Кристиан.

1807, сентябрь — Английские войска без объявления войны бомбардируют Копенгаген. Дания вступает в войну на стороне Франции.

1816, апрель — Смерть Ханса Андерсена.

1819, сентябрь — Ханс Кристиан едет в Копенгаген искать счастья. Первые шаги в столице.

1822 — Юношеские трагедии Андерсена «Разбойники в Виссенберге» и «Альфсоль». Члены театральной дирекции Раабек и Коллин хлопочут о стипендии начинающему драматургу и о праве бесплатного обучения в латинской школе. Андерсен едет в Слагельсе.

1826, май — Переезд в Хельсингер вместе с ректором Мейслингом.

1827 — Возвращение Андерсена в Копенгаген. Знакомство с Гейбергом. Публикация стихотворений «Вечер» и «Умирающее дитя».

1828 — Андерсен выдержал вступительные экзамены в Копенгагенский университет.

1829 — Опубликовано романтическое произведение Андерсена «Путешествие пешком от Хольмен-канала до южного мыса острова Амагер». В Копенгагенском театре поставлен его водевиль «Любовь на Николаевой башне».

1830 — Выходит в свет сборник стихов Андерсена с приложением сказки «Мертвец».

1831 — Первое заграничное путешествие (по Германии), сборник стихов «Фантазии и эскизы» и «Теневые картины» — книга путевых очерков.

1833 — Андерсен отправляется в годичное путешествие. Знакомство с Парижем. Первая встреча с Г. Гейне. Швейцария и Италия. Смерть матери.

1834 — Напечатана драматическая поэма «Агнета и Водяной».

1835 — Закончен и издан первый роман Андерсена «Импровизатор». В *мае и декабре* появляются первые два выпуска «Сказок, рассказанных для детей».

1836 — Издан роман «О. Т.».

1837 — Андерсен печатает третий роман («Только скрипач») и третий выпуск сказок.

1840 — Успех драмы Андерсена «Мулат». Андерсен отправляется в большое путешествие по Греции и Турции. Успех «Книги картин без картин».

1843 — Гастроли в Копенгагене Иенни Линд. Изменение названия сказочных сборников на «Новые сказки». Поездка в Париж и новая встреча с Гейне. Дружеские отношения с А. Дюма (отцом), знакомство с Гюго, Рашель, Бальзаком.

1846 — «Сказка моей жизни» — первый написанный для печати вариант автобиографии Андерсена, впоследствии дополненный и расширенный в датском издании 1855 года.

1847 — Путешествие по Англии. Знакомство с Диккенсом.

1848 — Революционные события в Европе. Волнения в Дании. Восстание в Шлезвиг-Гольштейне. Дания вступает в двухгодичную войну. Выход в свет (одновременно в Англии и Дании) романа «Две баронессы».

1857 — Напечатан роман «Быть или не быть?».

1864 — Датско-немецкая война и поражение Дании.

1867 — В *декабре* город Оденсе устраивает праздник в честь Андерсена.

1871–1873 — Последние путешествия и последние сказки.

2 апреля 1875 года — Чествование сказочника в день его семидесятилетия. Сказка «Мать» издана на пятнадцати языках.

4 августа 1875 года — Смерть Х. К. Андерсена.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

1. Основные русские издания сочинений Андерсена

Полное собрание сказок. Вып. 1–3. Спб., 1863–1864.

Сказки и истории. М., Гослитиздат, 1955.

Избранные сочинения в переводах русских писателей. Ч. 1–2. Спб., 1899.

Сказки и рассказы. Т. 1. М. — Л., «Academia», 1937.

Сказки и истории. М., Госполитиздат, 1955.

Сказки и истории. М., «Московский рабочий», 1955.

Сказки, М., Детгиз, 1955.

2. Основные труды зарубежных ученых, посвященные жизни и творчеству Андерсена

H. C. Andersen, mennesket og digteren, Udgivet af H. C. Andersens hus, Odense, Flensted, 1955.

G. Brandes, Fem danske digtere. Kbhn, 1902.

H. Brix, H. C. Andersen og hans eventyr. Kbhn, 1907.

F. Böök, H. C. Andersen. Stockholm, 1938.

R. Grönbech, H. C. Andersens eventyrverden. Kbhn, 1945.

K. Larsen, H. C. Andersens Leben ohne Dichtung. Berlin und Leipzig, 1926.

Le livre sur le poète danois. H. C. Andersen, sa vie et son oeuvre. Copenhague, 1955.

C. M. Woel. H. C. Andersens liv og dlgtning. Bd. 1, 2. Kbehavn, 1949.

3. Работы об Андерсене русских авторов

В. Г. Белинский, «Импровизатор или молодость и мечты итальянского поэта». Роман датского писателя Андерсена. Полное собрание сочинений, т. VIII. М., изд-во АН СССР, 1955.

Н. А. Добролюбов, Французские книги. Полное собрание сочинений в 6 томах, т. 3. М., Гослитиздат, 1936.

В. М. Важдаев, Ганс Христиан Андерсен. М., Детгиз, 1957.

Е. А. Лопырева. Андерсен и его творчество (предисловие к

книге «Сказки и рассказы», М.-Л., «Academia», 1937).

В. П. Неустроев, Ганс Христиан Андерсен и его сказки (послесловие к книге «Сказки и истории»). М., Гослитиздат, 1955.

К. Паустовский, Великий сказочник (предисловие к книге «Сказки и истории»). М., Гослитиздат, 1955.

А. С. Погодин, Классик датской литературы Ханс Кристиан Андерсен. М., «Знание», 1955.

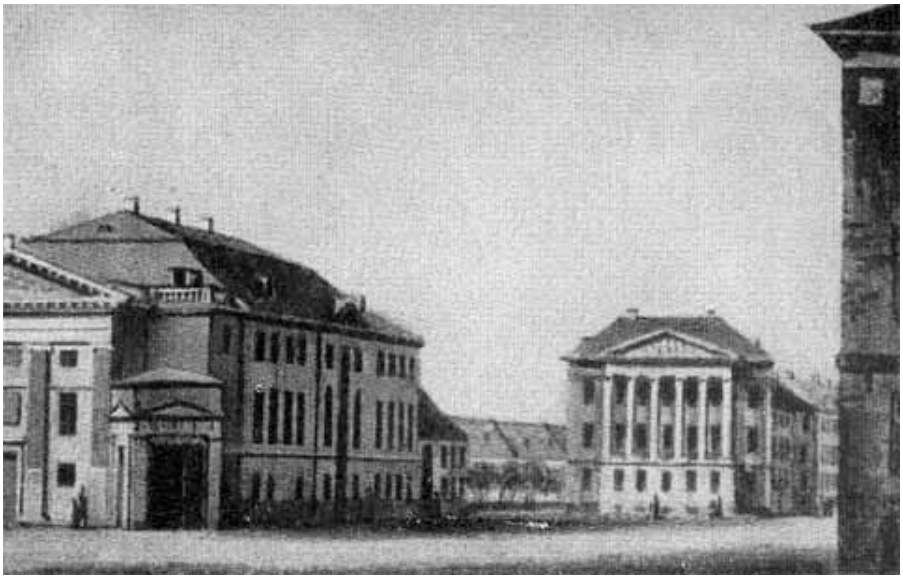
А. С. Погодин, Ханс Кристиан Андерсен — новеллист (диссертация). М., 1955.

Ю. Яхнина, Г. Х. Андерсен и его сказки (послесловие к книге «Сказки и истории). М., «Московский рабочий», 1955.

Иллюстрации

Пейзаж Оденсе.

Копенгаген. Дом, где жил Андерсен в юности.



Копенгагенский театр.

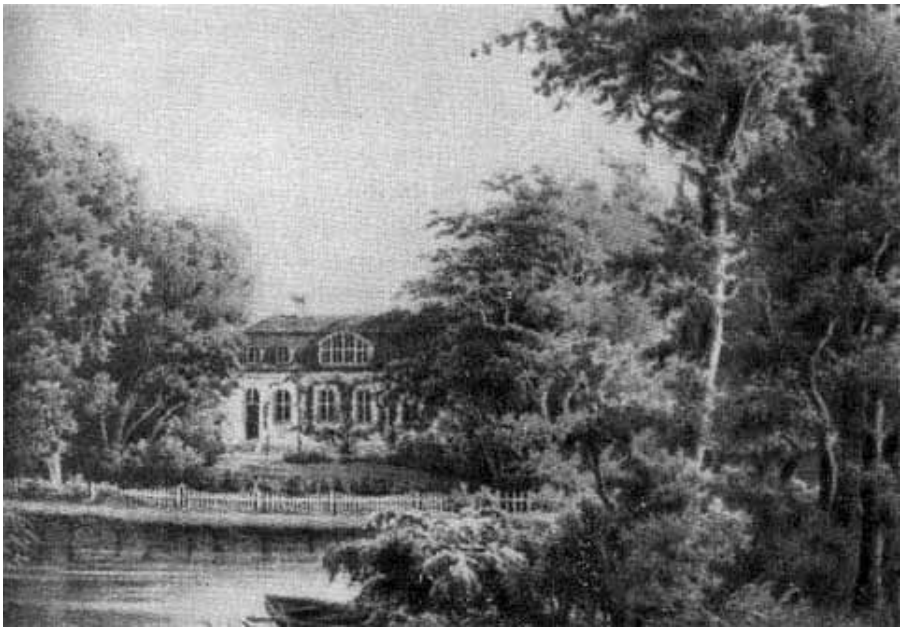
Сибони.

Гульдберг.

Раабек.

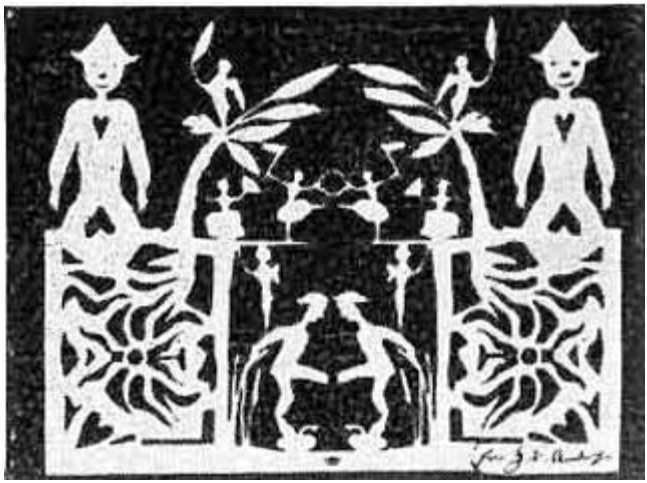
Мейслинг.

Карикатура на Мейслинга.

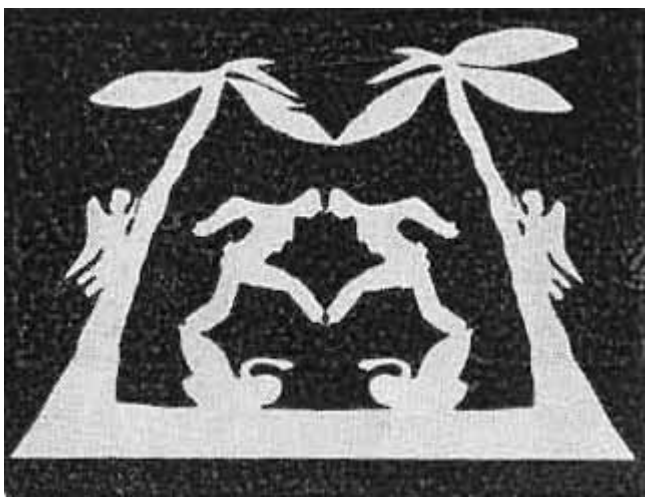


Фюнский пейзаж.

Иетта Вульф.



Китайская вырезка Андерсена.



Вырезка с лебедями.

Йонас Коллин.

Эрстед.

Эленшлегер.

Галерка театра.

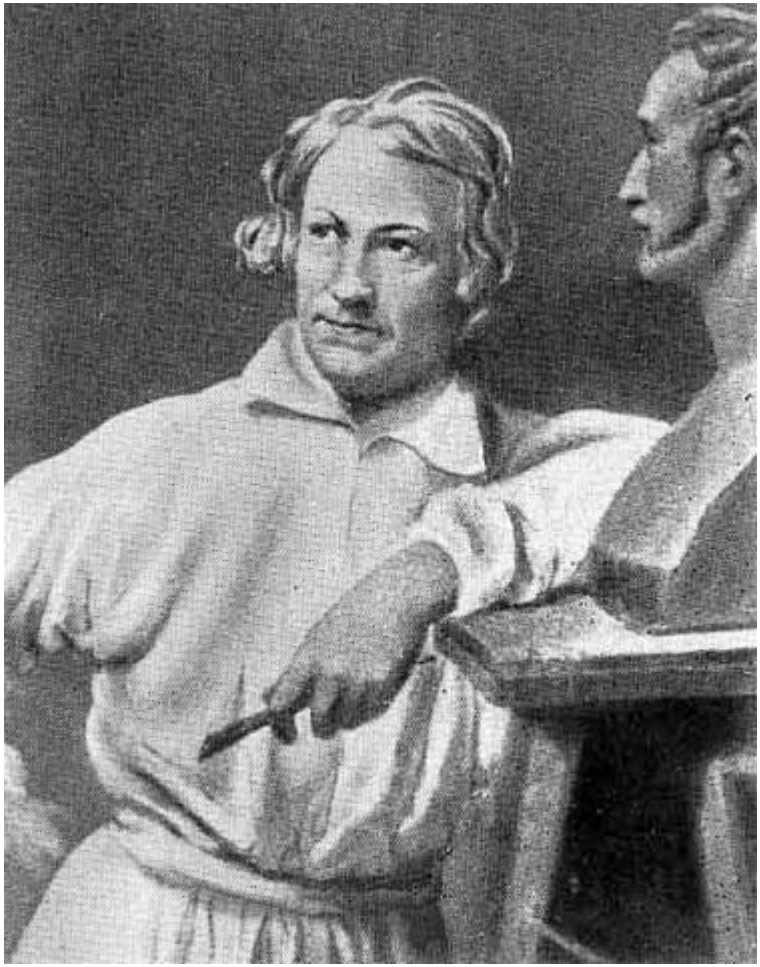
Герц.

Гейберг.

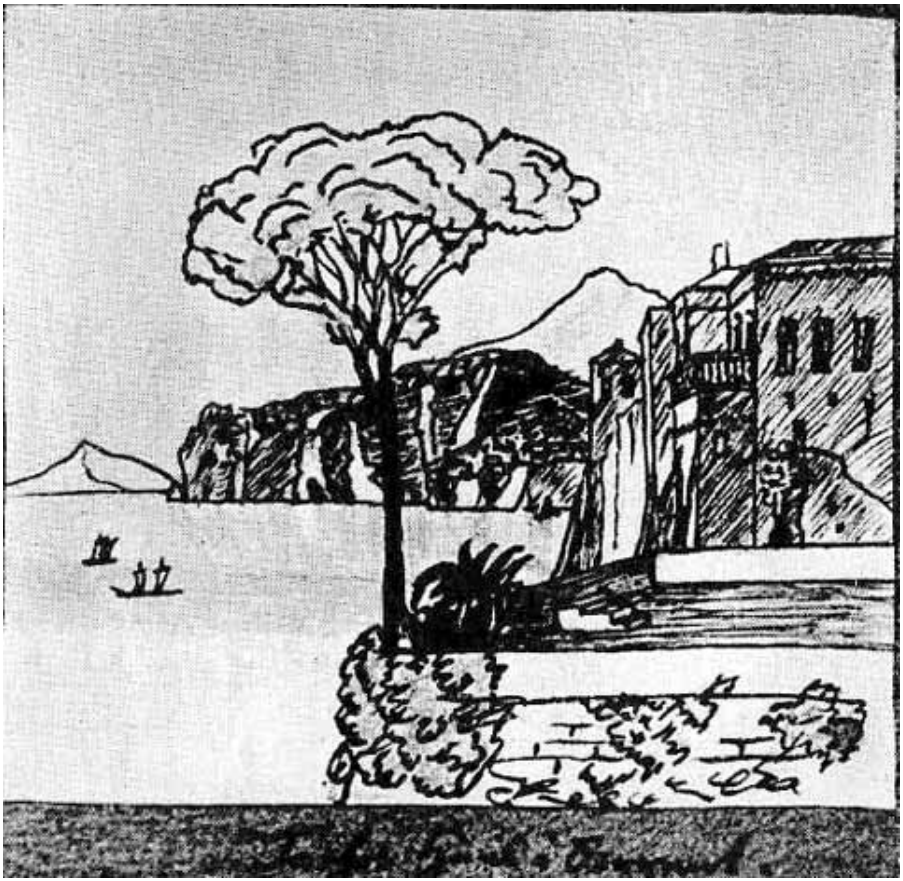
Андерсен в 1836 году.

Риборг Войт.

Обложка Импровизатора» и Луиза Коллин.



Торвальдсен.



Итальянский пейзаж.

Первый сборник сказок (обложка). Вырезки Андерсена.

Андерсен в 40-е годы.

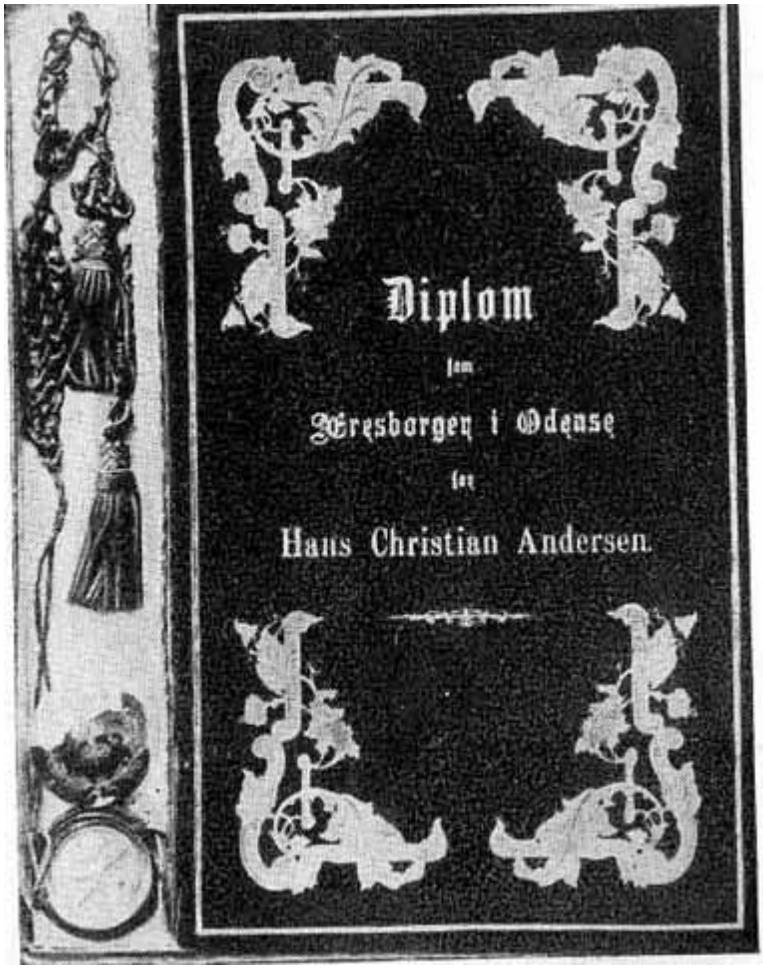
Иенни Линд.

Диккенс.

Иллюстрация к «Тени».

Андерсен в 60-е годы.

Оденсе. Дом, где провел детство Андерсен.



Диплом почетного гражданина Оденсе.

Различные издания сказок. Памятник в Оденсе.